

Министерство культуры и молодёжной политики Самарской области
и Самарская областная писательская организация
представляют в проекте

**«Народная библиотека Самарской губернии»
книгу**

Вадим Баранов

Сергей Есенин.

Роман с Петроградом

Роман-хроника

в документах и воспоминаниях



**Русское эхо
2009**

Баранов В.С.

Б 24 Сергей Есенин. Роман с Петроградом: Роман-хроника в документах и воспоминаниях. — Русское эхо: Самара, 2009. — 240 с.

978-5-909319-14-4

Книга Вадима Баранова «Сергей Есенин. Роман с Петроградом» повествует о становлении поэта, о важнейшем этапе его жизни — встрече юного Есенина с Александром Блоком (1915 г.), «смотрюнах», устроенных ему столичным литературным миром, его первых успехах и признании. Перед читателем проходят: эпоха «Серебряного века» с бурной, несмотря на военные годы, литературной жизнью; Петроград и Царское Село; вихри двух революций, перевернувших Россию.

Роман-хроника соткан из воспоминаний современников поэта, близко и долго знавших его.

Эти самоценные и уникальные воспоминания, объединяясь с биографией поэта, событиями эпохи и постоянством действующих лиц, сливаются в романе-хронике в единое документально-художественное полотно, дающее подлинный образ непридуманного Есенина.

ОТ АВТОРА

К жанру романа-хроники я обратился после выхода в свет моей художественной прозы о детстве и юности Сергея Есенина, тепло встреченной читателями и есениноведами. Это – повесть «В селе, под Рязанью» (1985 г.), роман «Алый свет зари» (2003 г.), повесть о московской юности поэта «Адрес мой: Москва, Большой Строченовский... Сергей Есенин» (2005 г.).

Новая книга «Сергей Есенин. Роман с Петроградом» повествует о становлении поэта, о важнейшем этапе его жизни: встрече юного Есенина с Александром Блоком (1915 г.), «смотринах», устроенных ему столичным литературным миром, его первых успехах и признании. Перед читателем проходят: эпоха Серебряного века с бурной, несмотря на военные годы, литературной жизнью; Петроград и Царское Село; вихри двух революций, перевернувших Россию.

Роман-хроника соткан из воспоминаний современников поэта, близко и долго знавших его.

Эти самоценные и уникальные воспоминания, объединяясь с биографией поэта, событиями эпохи и постоянством действующих лиц, сливаются в романе-хронике в единое документально-художественное полотно, дающее подлинный образ непридуманного Есенина.

«Роман с Петроградом» не закончится для Есенина и после отъезда в Москву.

Через семь лет город на Неве призовет его снова... уже навсегда...

Читателям романа-хроники хочу пожелать, сопереживая, прочувствовать, пропустить через своё сердце и душу эти три года из жизни великого русского поэта.

Вадим Баранов

Часть первая

С ЛЁГКОЙ БЛОКОВСКОЙ РУКИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ВСТРЕЧИ

1

Александр Блок проснулся с серым мартовским рассветом. Утро было обычным, как и все тоскливые предыдущие дни: осторожная возня кухарки, тишина пустой квартиры, одиночество... Война...

Вот уже полгода, как идёт война: победы и поражения в боях с Германией и Австро-Венгрией, гибель целой русской армии в Мазурских болотах, взятие Львова войсками Брусилова... Его жена, его Люба, окончив курсы сестёр милосердия, уже с сентября в Львовском госпитале.

Он писал ей: «Чувствую войну и чувствую, что вся она – на плечах России, и больше всего – за Россию, а остальные – Бог с ними – им бы только выпутаться из своих бед, а для нас они пальцем не шевельнут». Провожая Любу, он видел уже многое:

Петроградское небо мутилось дождём,
На войну уходил эшелон.
Без конца – взвод за взводом и штык за штыком
Наполнял за вагоном вагон.

В этом поезде тысячью жизнью цвели
Боль разлуки, тревоги любви,
Сила, юность, надежда... В закатной пыли
Были дымные тучи в крови.

И, садясь, запевали «Варяга» одни,
А другие – не в лад – «Ермака»,
И кричали ура, и шутили они,
Рот смеялся, крестилась рука...

Газеты пишут о боях под Перемышлем – «последней австрийской твердыне в русской Галичине». Сообщения «...с Галицийских кровавых полей» отмечались Блоком: «Хорошие вести с войны»... «Дурные вести с войны».

Все последние строчки в его записной книжке – об одиночестве, усталости и тревогах: «*28 февраля*. Плохо в России. – Гулянье, шлянье, апатия. *1 марта*. ...Брожу, ленюсь, тоскую. *2 марта*. Нашёл равновесие в работе над стихами... *3 марта*. Корректурa Григорьева и «Стихов о России». – Бодро,

хоть почти не спал. 5 марта. ...Усталость. Стихи. 6 марта. ...Опять тревога. 7 марта. Тоска, хоть вешайся...».

Вчерашняя запись была такой же: «8 марта. ...Усталость». Не обещал облегчения Блоку и день грядущий. Пора отнести корректуру в редакцию журнала «Отечество», где скоро выходит такая важная для него книга – «Стихи о России». А прибыль от издания будет направлена «для помощи жертвам войны».

Поднявшись с постели, он долго смотрел в окно на засыпанную снегом Пряжку, на дымящие трубы фабрики, на отражающие солнце кресты и купола церкви на Гутуевском острове и темневшую за ними, вдали, полосу лесов на Балтийской дороге.

Его ждал *его Петербург*. Петербург, хотя и переименованный недавно в Петроград, но всё ещё сохраняющий своё имя для большинства жителей столицы Российской империи.

Поезд вполз под крышу дебаркадера Николаевского вокзала и остановился. Прибывшие из Москвы пассажиры, выходя из вагонов, громоздили на платформе багаж, шумно обнимались с встречающими, окликали носильщиков, выделявшихся белыми фартуками и бляхами на груди. Не давая Сергею оглядеться, толпа увлекла его за собой мимо паровоза, окутанного паром, через вокзал, и вытолкнула на большую площадь.

Вот он и в городе, где живёт лучший поэт России – Александр Блок! А первым, кого увидел Есенин, был царь Александр III, грузно восседающий верхом на битюге. Массивный постамент окружала невысокая ограда, за которой неожиданно ярко среди разъезженной и затоптанной площади белел нетронутый снег.

Пересекая площадь, Сергей пробирался меж извозчичьих санок, автомобилей, звенящих трамваев, огибающих памятник по рельсовому кольцу. От памятника уходила прямая и широкая улица, в конце которой слабо поблескивал шпиль Адмиралтейства. Есенин догадался, что это... Невский. По нему-то он и направился на встречу со своим будущим...

Сразу поразили простор и величие столичных улиц, столь непохожих на древние улицы Москвы, в которой он прожил последние три года. Вспомнить только Тверскую – узкую, изогнутую и горбатую. По Невскому же, потоками в обе стороны, неслись лошади с санками, бежали трамваи, а высокие дома сплошь пестрели над головами прохожих вывесками, висящими друг над другом.

Петербург Есенин знал давно по гравюрам и фотографиям из журналов, но сейчас ему было не до красот. Если он не встретит Блока сегодня, то в столице не задержится. Придётся ехать ему до Ревеля, где работает управляющим нефтебазой родной брат матери – Иван Фёдорович Титов. Может, из-за этого и выглядел Сергей так странно: в поддёвке и сапогах, с деревянным сундучком, заброшенным за плечо. Да ещё на главной улице! Это он чувствовал сам и адрес поэта Блока спрашивал у прохожих с некоторым смущением. Каково было его удивление, когда оказалось, что о поэте Блоке никто из них ничего не слышал...

Вот уже и вздыбленные красавцы-кони на знаменитом Аничковом мосту через Фонтанку. Возле него Сергей зашёл в книжный магазин – «Попов М.В.», в первый, встреченный им по пути. Блока здесь знали и он заимел, наконец, его адрес.

Теперь вела Есенина «Адмиралтейская игла», воспетая ещё Пушкиным: сначала по Невскому, до канала; второй раз он увидел её, свернув влево и переходя мост по Гороховой. В третий раз «игла» возникла в конце Вознесенского проспекта, с которого он и ступил на Офицерскую улицу. Дом Блока был последним. Серый четырёхэтажный, стоял он на углу, над берегом Пряжки.

За парадной дверью – высокие лестничные пролёты с литыми чугунными перилами. Звонок возле квартиры на четвёртом этаже. Сергей протянул к нему руку... и не решился. Сбежав вниз, повернул он во двор и поднялся к квартире по чёрному ходу. Кухарка, открыв ему, сказала, что Блок ушёл и вернётся не скоро.

Сергей облегчённо вздохнул: «Слава Богу, что Блок никуда не уехал и надежда ещё остаётся!». Обрадованный, оставил он записку:

«Александр Александрович.

Я хотел бы поговорить с Вами. Дело для меня очень важное. Вы меня не знаете, а может быть где и встречали по журналам мою фамилию. Хотел бы зайти часа в 4.

С почтением С. Есенин».

Коротая время, Сергей добрался до Исаакиевского собора, до Невы, ещё скованной льдом. Оживлённое движение было не только по мостам, но и по унавоженным переправам, убегающим к Васильевскому острову. Вот и «Медный всадник» – изрядно позеленевший. И золочёный шпиль Адмиралтейства, устремлённый в небеса, от которого и рассекают «град Петров» три луча: Невский, Гороховая и Вознесенский проспект.

В Петроград Сергей стремился. Ещё в конце прошлого года Суриковский кружок отправил столичному критику Клейнборту рукописи стихов Есенина, Ширяевца и других своих членов. А в начале января и сам Сергей отослал стихотворение «Вечер» в «Ежемесячный журнал». Ответов на всё-то так и не было.

Позже Есенин рассказывал: «Блока я знал уже давно, но только по книгам. Был он для меня словно икона, и ещё в Москве я решил: доберусь до Петрограда и обязательно его увижу. Хоть и робок был тогда, а дал себе зарок идти к нему прямо домой. Приду и скажу: вот я, Сергей Есенин, привёз Вам свои стихи. Вам только одному и верю. Как скажете, так и будет».

В кармане он нащупал адрес земляков, которые жили на Преображенской улице, поблизости от Николаевского вокзала. Но думать об этом сейчас не хотелось. Часы на башне Адмиралтейства показали половину четвёртого и он отправился к дому Блока.

Блок встретил его сам. Раздевшись, преодолевая смущение, Сергей прошёл с ним в кабинет. Вдоль стен довольно большой комнаты строгие шкафы

с рядами книг, белые изразцы высокой печи в углу. В лёгких ореховых креслах, за круглым столом, сидели они напротив друг друга.

*Пахнет рыхлыми драчёнами,
У порога в дежке квас,
Над печурками точёными
Тараканы лезут в паз...*

– Есенин читал, запинаясь, но вскоре справился с волнением:

*Вьётся сажка над заслонкою,
В печке нитки попелиц,
А на лавке за солонкою –
Шелуха сырых яиц...*

Блок слушал внимательно, и с интересом разглядывал кудрявого паренька в косоворотке, который постепенно загорался от собственных стихов:

*Сылет черёмуха снегом,
Зелень в цвету и росе.
В поле, склоняясь к побегам,
Ходят грачи в полосе.*

.....

*Сыть ты, черёмуха, снегом,
Пойте вы, птицы, в лесу!
По полю зыбистым бегом
Пеной я цвет разнесу.*

Потом Сергей наблюдал, как Блок, перебирая его листочки, читал сам: что-то откладывал, о чём-то спрашивал. Об этих минутах Сергей вспоминал: «Когда я смотрел на Блока, с меня капал пот, потому что в первый раз видел живого поэта».

Разговор продолжился в столовой, за самоваром. «С умилением и чуть-чуть хитрецей...», как вспоминал позже Чернявский, Есенин рассказывал, как Блок «Не столько говорил, сколько вот так, объяснял руками. Искусство – это, понимаете... (он <Есенин> сделал несколько подражательных кругообразных жестов). А сказать так и не умел...»

Они вернулись в кабинет и Блок, сев за письменный стол, написал рекомендательные записки литератору Мурашёву и поэту Городецкому.

«Дорогой Михаил Павлович!

Направляю к Вам талантливого крестьянского поэта-самородка. Вам, как крестьянскому писателю, он будет ближе, и Вы лучше, чем кто-либо, поймёте его. Ваш А. Блок

P.S. Я отобрал 6 стихотворений и направил с ними к С. М. <Городецкому>. Посмотрите и сделайте всё, что возможно».

Блок объяснил, как найти их квартиры: Городецкого – на Петроградской стороне, и Мурашёва (Сергей, оказывается, уже был рядом с ней сегодня, на той же Офицерской улице, возле Мариинского театра). На прощание он надписал Есенину один из томов своего «Собрания стихотворений» и тепло проводил.

На есенинской записке Блок пометил для памяти:

«Крестьянин Рязанской губ., 19 лет. Стихи свежие, чистые, голосистые, многословные. Язык. Приходил ко мне 9 марта 1915».

Этот день отмечен и в его записной книжке:

«9 марта. Перемышль сдался. – Усталость. – Днём у меня рязанский парень со стихами».

2

Известие о падении Перемышля «облетело Петроград, – писала газета, – с быстротой молнии». В полдень, 10 марта, состоялось торжественное богослужение в Казанском соборе. Отдельные группы с национальными флагами появились сперва на Невском, а затем начались грандиозные манифестации, не прекращавшиеся на улицах Петрограда в течение всего дня.

Ближе к вечеру Сергей отправился к Мурашёву и скопления ликующих горожан ему пришлось преодолевать не раз. По уже знакомой Офицерской улице добрался он до Театральной площади.

«Помню тот вечер, – рассказывал Мурашёв, – когда в первый раз пришёл ко мне Сергей Александрович Есенин, в синей поддёвке, в русских сапогах, и подал записку А.А. Блока. Он казался таким юным, что я сразу стал к нему обращаться на «ты»».

Узнав, что Сергей ещё не обедал, Михаил Павлович провёл гостя в столовую. «...Сели за стол. Я расспрашивал про деревню, про учёбу, а к концу обеда попросил его прочесть свои стихи. Есенин вынул из свёрточка в газетной бумаге небольшие листочки и стал читать. Вначале читал робко и сбивался, но потом разошёлся».

С разговорами перешли в кабинет. Снова Сергея поразили полки с книгами, кипы журналов и газет, но особенно – портреты Блока и Куприна – с автографами хозяину. Михаил Павлович показал ему в журналах – «Жизнь для всех» и «Панорама» – свои рассказы, напечатанные под псевдонимом – «Михаил Вихрев». В свежей газете «Биржевые ведомости», в редакции которой работал Мурашёв, рядом с сообщением о победе над австрийцами Сергей углядел стишок:

Дорога к Кракову свободна,
Над Перемышлем русский флаг!
Всю силу радости народной
Поймёшь ли ты, наш вечный враг?

Имя поэта – Рюрик Ивнев – было ему знакомо.

«...Время близилось к полуночи. Есенин заторопился. Я его удержал и оставил ночевать. Наутро я ему дал несколько записок в разные редакции и, прощаясь, предложил временно пожить у меня, пока он не подыщет комнату».

Интересно заметить, что только... «спустя некоторое время» Сергей расскажет Мурашёву о том, как он «...перед приездом в Петроград жил в Москве, учился в университете Шанявского и уже имеет жену и сына».

После встреч с Блоком и Мурашёвым Есенин шёл к Сергею Городецкому уже увереннее. Книгу его стихов «Ярь», наполненную былинной стари-

ной, картинами древней, языческой Руси, он полюбил давно. Как и стихотворение «Нищая» из сборника Городецкого «Русь»:

Что же ты, Русь, нерадивая,
Вьюгам бросаешь детей?
Ласка твоя прозорливая
Сгнула где без вестей?

Или сама ты заброшена
В тьму, маету, нищету?
Горе, незвано, непрошено,
Треплет твою красоту?..

Сергей надеялся, даже почти верил, что и его стихи будут Городецкому близки и понятны.

С Марсова поля, минуя памятник полководцу Суворову, перешёл он на Троицкий мост. К лёгкому морозцу добавился ветерок. Поперёк широкой Невы темнели санные дороги, проложенные по льду. Слева от моста приближалась, постепенно вырастая, Петропавловская крепость. И уже можно подробно разглядеть высокий золочёный шпиль на соборной колокольне, увенчанный крестом с летящим ангелом.

Перейдя небольшую площадь возле церкви, коротким переулком вышел он на Малую Посадскую. Дом Городецкого – в семь этажей, был словно зажат двумя громоздкими соседними домами. Не обращая внимания на лифт, Есенин поднялся к квартире на пятом этаже.

Их встречу Сергей Митрофанович описал ярко:

«Он пришёл ко мне с запиской Блока. Стихи он принёс завязанными в деревенский платок. С первых же строк мне было ясно, какая радость пришла в русскую поэзию. Начался какой-то праздник песни. Мы целовались, и Сергунька опять читал стихи, он торопился спеть рязанские «прибаски, канавушки и страдания». Тут восторги удвоились. Тут же мне Есенин сказал, что, только прочитав мою «Ярь», он узнал, что можно так писать стихи, что и он поэт, что наш общий тогда язык и образность уже литературное искусство. Застенчивая, счастливая улыбка не сходила с его лица. Он был очарователен со своим звонким озорным голосом, с барашком вьющихся льняных волос... синеглазый».

Как объяснял Городецкий позже: «И я, и Блок увлекались тогда древней. Я, кроме того, и панславизмом. В незадолго перед этим выпущенном «Первом альманахе русских и инославянских писателей» – «Велесе» уже были напечатаны стихи Клюева. Блок тогда ещё высоко ценил Клюева. Факт появления Есенина был осуществлением долгожданного чуда, а вместе с Клюевым и Ширияевцем, который тоже около этого времени появился, Есенин дал возможность говорить уже о целой группе крестьянских поэтов».

Городецкий надписал свой только что вышедший стихотворный сборник «Четырнадцатый Год»: «Весеннему братику Сергею Есенину с любовью и верой лютой».

Признание, которым одарил Есенина этот человек: с открытым взглядом и певучим голосом, пылкий и заразительно хохочущий, покорило и убедило. Он был уже влюблён в Городецкого. В этой светлой гостинной, с высокими окнами над Невой, с роялем и многочисленными портретами талантливого кисти хозяина, и поселился Есенин.

Петроградский «Ежемесячный журнал» был первым, куда Городецкий направил Есенина. Сергей волновался, хотя записка Виктору Сергеевичу Миролюбову, редактору-издателю, очень обнадеживала:

«Дорогой Виктор Сергеевич.

Приласкайте молодой талант *Сергея Александровича Есенина*. В кармане у него рубль, а в душе богатство. Посылаю и своё стихотворение, может быть, понравится Вам. <...> С. Городецкий

Если можно, оплатите по рукописи стихи Есенину».

Сергей уже знал, от Городецкого, что Миролюбов в 90-х годах пел на сцене Большого театра. Потом издавал и редактировал «Журнал для всех», который пять раз закрывался правительством, но продолжал выходить под другими названиями. В 1908 году журнал закрыли окончательно и Виктор Сергеевич вынужден был эмигрировать, жил в Париже. И только амнистия 1913 года, в связи с празднованием 300-летия Дома Романовых, вернула его в Россию.

До редакции на Серпуховской улице, за Царскосельским вокзалом, Сергей добирался долго. Миролюбов принял его радушно и расположил к себе сразу: 55-летний, но всё ещё черноволосый и черноусый, много повидавший на своём веку, с внимательным, всё понимающим взглядом.

В первую очередь, Сергей передал ему многострадальную поэму «Галки», конфискованную московской цензурой в январе, ещё в наборе журнала Суриковского кружка «Друг народа». Как вспоминал один из руководителей кружка Деев-Хомяковский, в этой поэме Есенин «отобразил ярко поражение наших войск, бегущих из Пруссии, и плач жён по убитым».

Миролюбов отобрал для журнала несколько стихотворений, в том числе – из отмеченных Блоком, но оплаты «по рукописи», к сожалению, не последовало.

Поэт Георгий Иванов иронично описывал приёмный день у Городецких: «Там – в центре комнаты – большой круглый стол. На столе розы в хрустальном цилиндре, дынное варенье, дымящиеся гарднеровские чашки. В окружении литераторских дам жена Городецкого, «Нимфа», сияя несколько тяжеловесной красотой, разливает пухлыми пальчиками чай. <...> Вдоль канареечных стен гостинной – в два ряда размещаются поэты.

В два ряда. Внизу на тахтах гости. На стенах их портреты в натуральную величину, работы хозяина дома.

Если вы познакомились с Городецким, начали у него бывать и вы поэт – он непременно вас нарисует. Немного пёстро, но очень похоже и «мило».

Как признался Городецкий, он нарисовал Есенина «...в первые же дни и

повесил рядом с моим любимым тогда Аполлоном Пурталесским, – а дальше над шкафом висел мной же нарисованный страшный портрет Клюева».

Теперь, сидя за чаем с хозяином, его женой Анной Алексеевной – «Нимфой» и их шестилетней дочерью Рогнедой Сергеевной, по-домашнему – «Наей», Есенин видел на стене гостиной и свой портрет, тоже в натуральную величину.

В беседах Городецкий делился с Сергеем планами создания литературной группы «Краса», в которой, кроме себя и Есенина, видел Клюева, живущего в глухом Заонежье, и Ширяевца – из далёкого Туркестана; находящегося в армии Клычкова и петербуржцев: Ремизова и Вячеслава Иванова. Рассказывал он и о сборнике, составляемом им «в духе русского народного искусства; в пользу Лазарета деятелей искусства в Петрограде». В нём Городецкий собирался опубликовать и народные частушки, которые пел ему Есенин, и его же стихотворение «Ус».

3

О литературном салоне известной петербургской поэтессы Зинаиды Гиппиус, принимавшей поэтов у себя по воскресеньям, Есенин узнал от Блока. И желание новых знакомств вскоре привело его в квартиру на углу Сергиевской и Потёмкинской, выходящую окнами на Таврический сад, всё ещё по-зимнему полный снега.

«...я хорошо помню темноватый день, воскресенье, – так описала эту встречу Зинаида Николаевна, – когда в нашей длинной столовой появился молодой рязанский парень, новый поэт «из народа» – Сергей Есенин.

В годы 15-16 мои «воскресенья» были очень многолюдны. Собирались не «знаменитости»; фактически преобладала самая зелёная молодёжь, от 14 и выше... (попадались люди и много выше). От количества стихов иной раз душновато: все – «творцы», все рвутся читать свои произведения... Приходилось сдерживать поток. <...>

Рассказывал <Есенин>, не то с наивностью, не то с хитринкой деревенского мальчишки, как он прямо с Николаевского вокзала отправился к Блоку, а Блок-то, оказывается, ещё спит... «со вчерашнего, будто»; он, Есенин, будто «эдакого за Блоком не думал...».

У нас, впрочем, сразу создалось впечатление, что этот парень, хоть в Петербурге ещё ничего не видал, но у себя, в деревне, уж видал всякие виды.

Ему лет 18. Крепкий, среднего роста. Сидит за стаканом чая немного по-мужички, сутулясь; лицо обыкновенное, скорее приятное; низколобый, нос «пипочкой», а монгольские глаза чуть косят. Волосы светлые, подстрижены по-деревенски, да и одет ещё в свой «дорожный» костюм: синяя косоротка, не пиджак – а «спинжак», высокие сапоги.

Народу было мало, когда он заявился. Вновь приходившим мы его тотчас рекомендовали; особенного стеснения в нём не замечалось. Держал себя со скромностью, стихи читал, когда его просили, – охотно, но не много, не навязчиво: три-четыре стихотворения. Они были недурны, хотя ещё с сильным клюевским налётом, и мы их в меру похвалили. Ему как будто эта мера

показалась недостаточной. Затаённая мысль о своей «необыкновенности» уже имела, вероятно: эти, мол, пока не знают, ну да мы им покажем...

Понемногу Есенин оживает. За столом теперь так тесно, что места не хватает. Писатель <А.П. Чапыгин>, тоже «из народа», совсем не юный (но, увы, не «знаменитый»), присоединился к Есенину, вовлёл его в разговор о деревне, – чуть ли не оказались они земляками. В молодом Есенине много ещё было мужицко-детского и не развернувшейся удалы – тоже ребяческой. Кончилось тем, что «стихотворство» было забыто и молодой рязанец, – уже не в столовой, а в дальней комнате, куда мы всем обществом перекочевали, – во весь голос принялся нам распевать «ихние» деревенские частушки.

И надо сказать – это было хорошо. Удивительно шли и распевность, и подчас нелепые, а то и нелепо-охальные слова к этому парню в «спинжаке», что стоял перед нами, в углу, под целой стеной книг в тёмных переплётах. Книжки-то, положим, оставались ему и частушкам – чужими; но частушки, со своей какой-то и безмерной – и короткой, грубой удалью, и орущий их парень в кубовой рубахе решительно сливались в одно.

Странная гармония. Когда я говорю «удаль» – я не хочу сказать «сила». Русская удаль есть часто великое русское бессилие».

Так вот, своеобразно, и поняла Зинаида Гиппиус и самого Есенина, и его стихи.

Предложить стихи Есенина в «толстый и важный журнал» – «Русская мысль» – Городецкий решил сам, а Сергея направил в редакцию «Новый журнал для всех», где любили и привечали литературную молодёжь. Маленькое помещение редакции Есенин разыскал возле Литейного проспекта, в узком Эртелевом переулке, и сразу попал в атмосферу доброжелательного уюта.

Редактор-издатель журнала – поэтесса и переводчица Анна Карловна Боане, энергичная и красивая дама, приняла юного поэта как давнего знакомого. Недаром она писала Блоку, что стремится сделать редакцию «своим уголком для писателей, чем-нибудь более дружественным, идейным, душевным, чем коммерческая контора».

У Сергея взяли для печати несколько стихотворений, в том числе и «Кручину», с посвящением – «Сергею Городецкому», и пригласили бывать в редакции почаще.

Но радостные настроения, от ожидаемых литературных успехов, были омрачены императорским указом, предписавшим «призыв новобранцев произвести повсеместно с пятнадцатого мая». Призыву подлежали «лица, коим к 1 января 1916 г. исполняется 20 лет».

Есенину шёл уже 21-й, и, как единственный сын в семье, он имел право на льготу – быть призванным только в местное ополчение. Но в условиях военного времени призывали всех. Значит его пребывание в Петрограде ограничивалось. В Рязани на призывном участке его ждали уже в мае.

Тревожное настроение усилилось, когда на Невском он увидел колонну пленных австрийцев.

Газета «Биржевые ведомости» писала: «...в Петроград был доставлен целый поезд с пленными австрийцами...

Сопровождаемые огромной толпой любопытных, австрийские пленные были приведены по Невскому проспекту до Морской улицы. Здесь процессия свернула на Морскую, прошла под арку на площадь Зимнего дворца».

Весна добралась, наконец-то, и до Петрограда: потеплело, поплыли облака над городом, временами уже шли короткие дожди.

Как-то Есенин попал на «поэзоконцерт» Игоря Северянина.

«...Это было в зале Городской Думы, – вспоминал Ивнев. – В антракте подходит ко мне юноша, почти мальчик, одетый скромно, но вполне прилично. На нём простенький пиджак, серая же рубаша, с серым же воротничком и галстуком.

– Вы Рюрик Ивнев? – спросил он.

– Да, – отвечаю я немного удивлённо, так как в ту пору я лишь начинал печататься, и меня мало кто знал.

Всматриваюсь в подошедшего ко мне юношу; он тонкий, хрупкий...

– Я – Есенин, – говорит он, – я тоже пишу стихи.

Я попросил его почитать стихи <...>

Я никогда не забуду того первого впечатления... Не помню теперь, какие именно стихи он читал, но, может быть, отчасти потому, что я ждал вялых, скучных и плохих строк, я был потрясён – в полном смысле этого слова – той травяной свежестью, которой пахнуло мне прямо в лицо в этом душном зале Городской Думы, где читались нараспев стихи приторные, насквозь просахаренные и никому не нужные.

Помню, я сейчас же подозвал кого-то из друзей и попросил Есенина прочесть ещё раз то, что он читал мне. Есенин охотно согласился. И на моего приятеля они произвели также чрезвычайно сильное впечатление. Мы поняли, что перед нами большой поэт».

Впечатления были настолько глубоки, что на следующий день Рюрик вручил посвящаемое Есенину своё стихотворение:

Я тусклый, городской, больной,
Изношенный, продажный, чёрный.
Тебя увидел, и кругом
Запахло молоком, весной,
Травой густой, листвою узорной,
Сосновым свежим ветерком...

4

Беглую зарисовку Петроградских дней оставило един из молодых современников Есенина: «Развёртывалось второе полугодие войны. Чувствительный тыл под сенью весёлого трёхцветного флага заметно успокаивался и удовлетворённо улыбался. Запах крови из лазаретов мешался с духами дам-патронесс, упаковывающих в посылки папиросы, шоколад и портянки. На улицах, в киосках басистые студенты возглашали знаменитое: «Холодно в окопах».

В пунктах сбора пожертвований, на возбуждённом Невском, пискливые поэтессы и женственные поэты – розовые и зеленолицые, окопавшиеся и забракованные – читали трогательные стихи о войне и о своей тревоге за «милых». Некоторые оголтелые футуристы, не доросшие до Маяковского, но достаточно развязные и бойкие, играли на созвучиях пропеллера и смерти. Достигший апогея модности Игорь Северянин пел под бурные рукоплескания про «Бельгию – синюю птицу».

На вечер современного искусства «Поэты – воинам» в пользу Лазарета деятелей искусств Городецкий и Есенин отправились вместе. Проводился он в зале величественного здания Офицерского собрания Армии и Флота, на углу Литейного проспекта и Кирочной.

Публики было много, и не удивительно, что, ещё не дойдя до зала, Сергей встретил Рюрика Ивнева и молодых петроградских поэтов. Вот как запомнил эту встречу Владимир Чернявский, студент и начинающий поэт, ставший с этого дня одним из самых близких друзей Есенина:

«...перед началом чтений я, стоя с молодыми поэтами у двери в зал, увидел подымающегося по лестнице мальчика, одетого в тёмно-серый пиджачок поверх голубоватой сатиновой рубашки, с белокурыми, почти совсем коротко остриженными волосами, небольшой прядью завившимися на лбу. Его спутник <Городецкий> остановился около нашей группы и сказал нам, что это деревенский поэт из рязанских краёв, недавно приехавший. Мальчик, протягивая нам по очереди руку, назвал каждому из нас свою фамилию: Есенин <Нам послышалось не Есенин, а «Ясенин», и мы невольно произвели эту фамилию не то от «ясности», не то от «ясеня», не подозревая, что она означает «осенний» (осень)>. Несколько друзей присоединились к нам...

На торопливые наши расспросы он отвечал очень охотно и просто. Мы услышали, как чуть ли не прямо с вокзала он пришёл с узелком своим к Блоку, узнав его адрес в первой попавшейся редакции, как тот направил его к Городецкому, что стихи его, кажется, приняты в толстый и важный журнал, что он читал уже многих петербургских поэтов, со всеми хочет познакомиться и поделиться тем, что привёз.

Говорил он о своих стихах и надеждах с особенной застенчивой, но сияющей гордостью, смотря каждому прямо в глаза, и никакой робости и угловатости деревенского паренька в нём не было. Но в произношении его слышалось настойчивое «обканье» и нет-нет попадались непонятные, по-видимому, рязанские словечки, звучавшие, казалось нам, пленительной наивностью. Блок принял его со свойственными ему немногословием и сдержанностью, но это, видимо, не смутило его: *«Я уже знал, что он хороший и добрый, когда прочитал «Стихи о Прекрасной Даме...».*

И сам, идя навстречу нашему любопытству, он, не уходя с площадки лестницы, где мы стояли, успел многое рассказать о своей жизни в деревне, интерес к которой он угадал, вероятно, не в нас первых, и о том, как писал свои стихи: *«Уйдёшь рыбу удить, да так и не вернёшься домой два месяца, только на бумагу денег и хватало!».*

Чем больше он говорил, тем больше сияли окружившие его кольцом умиленного внимания несколько человек. И не только потому, что с первых минут знакомства ощутили в пришедшем, прослушав на ходу несколько коротких его стихов, новое для них очарование свежести и мгновенно покоряющей непосредственности. В нём повеяло им какое-то первородное, но далёкое от всякой грубости здоровье. В нём так и золотилась юность – не то тихая, не то озорная, веющая запахом далёкой деревни, земли, который показался почти спасительным. И весь облик этого неизвестного, худенького чужака, ласковый и доверчивый, располагал к нему всякого, кроме заядлых снобов, с которыми ему пришлось столкнуться позднее».

«Мы плохо слушали то, – вспоминал Чернявский, – что доносилось с эстрады, и интересовались только нашим гостем, стараясь отвечать на его удивительно ласковую улыбку как можно приветливее. Гость был по тому времени необычный и взволновал нас совсем по-новому...

Читал весь цвет стихотворчества. Седовласый Сологуб, являсь публике в личине добродушия, славословил «Невесту-Россию». И неожиданно, не в лад с другими, весь сдержанный и точно смущённый появился на эстраде – в чёрном сюртуке – Александр Блок. Его встретили и проводили рукоплесканиями совершенно другого звука и оттенка, нежели те, с которыми только что обоняли запах северянинской пачули. Волнуясь, он тоже прочёл стихи о России, о своей России и о человеческой глупости, прочёл обычным, холодноватым и всё-таки страстным, слегка дрожащим голосом, раза два схватившись рукою за сердце...»

Опять, как в годы золотые,
Три стёртых треплются шлеи,
И вязнут спицы расписные
В расхлябанные колеи...

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые, –
Как слёзы первые любви!..

О выступлении Ахматовой вспоминала Н. Берберова:

«Ахматова была в белом платье со «стюартовским» воротником (такие тогда носили), стройная, красивая, черноволосая, изящная. Ей тогда было под тридцать, это был расцвет её славы, славы её паузника, её челки, её профиля, её обаяния. «Вестей от него не получишь больше», – читала она, сложив руки у груди, медленно и нежно, с той музыкальной серьёзностью, которая была в ней так пленительна».

И ещё она читала:

Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться Богу,
И долго перед вечером бродить,
Чтоб утолить ненужную тревогу.

Когда шуршат в овраге лопухи
И никнет гроздь рябины жёлто-красной,
Слагаю я весёлые стихи
О жизни тленной, тленной и прекрасной...

«Едва дождавшись окончания вечера, – вспоминал всё тот же Чернявский, – мы, компанией из семи-восьми человек, все жившие и дышавшие стихами, оставив кое-кого из привязавшихся скептиков, пошли вместе с Есениным в хорошо известный многим «подвал» на Фонтанке, 23, близ Невского. Там квартировал молодой библиофил и отчасти поэт К.Ю. Ляндау, устроивший себе уютное жильё из бывшей прачечной, с заботливостью эстета завесив его коврами и заполнив своими книгами и антикварией. Этот таинственный подвал, где жила и я, часто видел в своих недрах Сергея. Ничего общего с публичными подвалами богемы это логово не имело, но некоторые её представители нередко стучались сюда – прямо в окно с решёткой, – и тут постоянно звучали споры и стихи.

Есенина, которого все называли уже просто по имени, посадили посреди комнаты у круглого стола, а большинство гостей устроились в полумраке на диванах, чтобы его слушать. На парче под настольной лампой появился шартрез и венецианские рюмки. Помню, было жарко, и Сергей, сняв пиджачок, остался в своей голубой рубашке. Ему не понравился шартрез, он выпил и поморщился.

– Что, не понравилось?

– Поганый!

Такого рода замечаний им было сделано немало, а когда присутствующие улыбались, сам Сергей, поглядывая вокруг, тоже отвечал им улыбкой, немного сконфуженной и немного лукавой: такой, мол, как есть.

Про него в тот приезд говорили недоброжелатели, что его наивность и народный говор – нарочитые. Но для нас, новых его приятелей, всё в нём было только подлинностью и правдой. Мы, пожалуй, преувеличивали его простодушие и недооценивали его пристальный ум. Конечно, мы замечали: Есенин не мог не чувствовать, что его местные обороты и рязанский словарь помогают ему быть предметом общего внимания, и он научился относиться к этому своему оружию совершенно сознательно. Но мы видели также, как в первые недели его выхода в большой свет, когда иронически посмеивающиеся «наблюдатели» доводили его до краски в лице и ощущения неловкости, эти корявые словечки вырывались у него совсем естественно, от души. Нам верилось, что иначе он и не должен говорить. И тогда, и впоследствии для нас оставалось несомненным, – и мы готовы были ревностно это защищать, – что руководили им не наигрыш, не кокетство, а прямая гордость за отеческий язык, в красоту которого он сам яростно верил.

В нашем небольшом кругу ему всё «полюбилось» и ничего его не коробило. Таким, знаю, и остался этот вечер в памяти Сергея и нашей. С радостью начал он чтение стихов, вошедших после в «Радуницу». Первое впечатление нас совершенно пронзило – новизной, трогательностью, настоящей плотью поэтического чувства. Он читал громче, чем говорил, в обычной,

идущей прямо к сердцу «есенинской» манере, которую впоследствии только усовершенствовал, потряхивая своей мальчишеской жёлтой головой, и немного напевно. Но протяжной вкрадчивой клюевской тонировки в этом чтении не было и помину, простые ритмы рубились упрямо и крепко, без всякой приторности...

После стихов он принялся за частушки: они были его гордостью не меньше, чем стихи; он говорил, что набрал их до 4000 и что Городецкий непременно обещал устроить их в печать. Многие частушки были уже на рекрутские темы; с ними чередовались рязанские «страдания», показавшиеся слушателям менее красочными. Но Сергей убеждённо защищал их, жалея только, что нет тальянки, без которой они не так хорошо звучат. Пел он попростецки, с деревенским однообразием, как поёт у околицы любой парень. Но иногда, дойдя до яркого образа, внезапно подчёркивал и выделял его с любовью, уже как поэт.

Ему пришлось разъяснить свой словарь, мы ведь были «иностранцы» и ни «паз», ни «дэжка», ни «улогий», ни «скатый» не были нам понятны. Попутно он опять весело рассказывал о своей жизни в селе, о ранней любви своей к бродяжничеству, об исключении из учительской семинарии, про любимого старого деда и пр. Брошенные вскользь слова о пребывании в Москве мы пропустили мимо ушей – так нам хотелось видеть в нём поэта без вчерашнего дня, только что «от сохи».

Говорили и о современных поэтах. Не только к Блоку и поколению старших, но и ко многим едва печатавшимся, у него было определённое отношение. Он читал их с зорким и благожелательным вниманием, предпочитая чистую лирику. Зато о Брюсове отзывался, как о ликере: «поганый»...

СМОТРИНЫ

1

Наутро, под впечатлением встречи, которая подарила ему новых знакомых и почитателей, Есенин отвечал Ивневу, откликаясь на его же строчки:

«Я надену колпак дурацкий
И пойду колесить по Руси...» –

он писал, озорно улыбаясь:

*Я одену тебя побирушкой,
Подпяшшу оструганным лыком.
Упираясь толстою клюшкой,
Уходи ты к лесным повилкам...*

Дружба с Рюриком была теперь скреплена стихами.

В этот же день из далёкого Чарджуя Александр Ширяевец писал Клюеву в глухую онежскую Олонию:

«Дорогой Николай!

Поздравляю тебя с весной, милой северной весной, о которой я так соскучился! Здесь уже давно весна – внезапная, яркая, туркестанская... Но не

было пенья ручьев, не было той ласковости, которой хороша наша русская весна, а потому не очарован я бухарской весной.

Ты опять замолчал что-то. Вот, милый мой пустынный, что скажу тебе: 20 апреля я наконец-то уеду в отпуск. Поеду в Ширяево, на Волгу, и побываю в Петрограде (рассчитываю приехать туда в первых числах мая). Как бы нам с тобой увидеться? Не думаешь ли ты приехать в Петроград – вот бы хорошо было! Ответь мне скорее, как только получишь это письмо. Привет!

Твой Александр.

Читал твою «Русь» в «Биржевке» – ярко и образно!...».

В понедельник 30 марта деятельная и гостеприимная Анна Карловна собрала молодых поэтов в редакции «Нового журнала для всех» на очередную вечеринку, которые проходили всегда «по-семейному, тепло и скромно». Был приглашён на неё и Есенин.

«Гости были разные, – вспоминал Чернявский, – из поэтов по преимуществу молодые акмеисты, охотно посещавшие вечера «с чаем». Читали стихи О. Мандельштам (признанный достаточно, кандидат в мэтры), Г. Иванов, Г. Адамович, Р. Ивнев, М. Струве и другие. Наибольший успех был у Мандельштама, читавшего, высокопарно скандируя, строфы о ритмах Гомера («голову забросив, шествует Иосиф» – говорили о нём тогда)».

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.

Я список кораблей прочёл до середины:

Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный

Что над Элладою когда-то поднялся...

И море, и Гомер – всё движется любовью

Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,

И море чёрное, витийствуя, шумит

И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

«Попросили читать Есенина. Он вышел на маленькую домашнюю эстраду в своей русской рубашке и прочёл помимо лирики какую-то поэму (кажется, «Марфу Посадницу»)».

Не сестра месяца из тёмного болота

В жемчуге кокошник в небо запрокинула, –

Ой, как выходила Марфа за ворота,

Письменище чёрное из дулейки вынула.

Расколосся зыками колокол на вече,

Замахали кружевном полотнища зорние;

Услыхали ангелы голос человечесий,

Отворили наскоро окна-ставни горние...

«В таком профессиональном и знающем себе цену обществе он несколько проигрывал. Большинство смотрели на него только как на новинку и любопытное явление. Его слушали, покровительственно улыбаясь, добродушно хлопали его «коровам» и «кудлатым щенкам», идиллические члены

редакции были довольны, но в кучке патентованных поэтов мелькали очень презрительные усмешки.

Кончив чтение, он отошёл к печке и, заложив пальцы за пояс, окруженный, почтительно и добросовестно отвечал на расспросы. Его готовы были снисходительно приручить. Тем, кто уже был тогда в бессознательном, но полном влюблённости «заговоре» с Сергеем, было ясно, как он относился к этому обращению. В нём светилась какая-то приемлющая внимательность ко всему, он брал тогда всё как удачу, он радовался победе и в толстых и в тоненьких журналах, тому, что голос его слышат. Он ходил как в лесу, озираясь, улыбался, ни в чём ещё не был уверен, но крепко верил в себя».

В поисках издателей зашёл Есенин в одну из редакций на Васильевском острове. Зашёл – без записок и рекомендаций.

Об этом посещении рассказал Всеволод Рождественский, бывший тогда студентом и начинающим поэтом:

«В просторной комнате «толстого» журнала было уже немало народу. На двух низких кожаных диванах, на десятке венских стульев, сидели и начинающие и привычные, терпеливо ожидая редакторского приёма. Хлопотливо и деловито торопились проследовать в кабинет маститые. <...>

Скрипнула дверь. Посередине комнаты остановилась странная фигура. Это был паренёк лет девятнадцати, в деревенском тулупчике, в тяжёлых смазных сапогах. Когда он снял высокую извозчичью шапку, его белокурые, слегка вьющиеся волосы на минуту загорелись в свете вечеряющего солнца. Серые глаза окинули всех робко, но вместе с тем и не без некоторой дерзости.

Паренёк заметил мою потёртую студенческую тужурку и решительно направился ко мне через всю комнату.

– Не помешаю? – спросил он просто. – Может, вдвоём поместимся? А?

Я подвинулся и мы уселись рядом на одном стуле. <...>

– Стихи? – спросил он шёпотом и ткнул пальцем в рукопись, оттопыривавшую мой карман.

– Стихи, – ответил я, тоже почему-то шёпотом и не мог удержать ответной улыбки.

– Ну, и я того же поля ягода. С суконным рылом да в калашный ряд. <...>

Так как на моем лице, видимо, написано было удивление, сосед поторопился рассказать, что в городе он совсем недавно, что ехал на заработки куда-то на Балтийское побережье и вот застрял в Петербурге, решив попытать литературного счастья. И добавил, что зовут его Есениным, а по имени Серёга, и что он пишет стихи («Не знаю, как кому, а по мне – хорошие»). Вытащил тут же пачку листков, исписанных мелким, прямым, на редкость отчётливым почерком. И та готовность, с которой он показывал свои стихи, сразу же располагала в его пользу. <...>

А время между тем текло. Уже несколько раз выглядывал из двери секретарь и быстро обегал глазами оставшихся в комнате. На нас он даже не взглянул. <...>

– Господа, на сегодня приём закончен. Редактор уже уехал. Если хотите видеть его лично, приходите в пятницу. <...>

Когда были уже на лестнице, Есенин не выдержал и фыркнул себе в ладонь.

– Ловко! – сказал он почти в восхищении. – И выходит, вправду – «в кашный ряд». А мы-то сидели, мы-то ждали рая небесного! Вот тебе и рай! Ну да ладно! Я ещё своего добьюсь. Стихи у меня хорошие. Будут Есенина печатать! Слово даю! <...>

Перешли Николаевский мост. Начался бесконечный ряд ещё оголённых деревьев Конногвардейского бульвара. Не помню, как разговор снова вернулся к стихам.

– Хочешь, свои почитаю? – спросил мой спутник (он сразу же стал говорить мне «ты», и это, видимо, было его привычной манерой). – Неужели *таких* стихов они печатать не будут? Нет, шалишь, напечатают. Это ведь о России. В самую сердцевину сейчас – на второй-то год войны.

И он начал читать – сначала тихо, а потом с большим и большим одушевлением:

*Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!».
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».*

– Хорошо-то хорошо, но уж очень иконописно – «рать святая», «рай»... Ладаном пахнет.

– А что, это плохо?

– Как кому. Вот у Блока тоже о России, но совсем иначе – мужественнее, проще.

– Да ведь то Блок! Он передо мною игумен. Не удивляйся «божественным» сравнениям – меня в церковно-приходской школе грамоте учили. Он игумен, а я кто? Послушник, да и то расстрига.

– Ну, – кивнул он на соседнюю улицу, – мне сюда. Будь здоров. Не поминай лихом. А встретимся – стихи почитаем. К тому времени новые будут. Я теперь, как скворец, с утра на ветке горло деру».

Невский, как всегда, был шумен и многолюден. Полны оживления и каменные ущелья улиц, отходящие от него. Уже очистилась ото льда середина рек и каналов, разрезающих город. На их берегах и спусках чернели груды грязного, зловонного снега. Но воздух был по-весеннему бодрым...

Сергей купил себе шляпу и, на радостях, сфотографировался в ней с Ивневым и Чернявским.

«...снялся с двумя спутниками в плохой уличной фотографии, – писал Чернявский в 1926 г., – в пиджаке на нескладно торчащей рубашке, но уже в новой фетровой шляпе того фасона, которому он не изменил и в Париже. Сергей вышел на карточке «разбойным и весёлым» парнишкой с чертами хулигана. Та пастушья нежность, которой мы восхищались, не нашла здесь отражения».

Городецкий, продолжая опекать Есенина, повёз его знакомить с известным петроградским литератором Иеронимом Ясинским, жившим на окраине города, на Чёрной речке. Двухэтажный дом Ясинского был похож на зимнюю дачу. По воскресным дням здесь собирались близкие хозяину литераторы, артисты и художники, бывали скульпторы Эрзя и Конёнков, приезжал Илья Ефимович Репин с женой. О первом посещении этого дома Есениным нам известно из рассказа дочери Ясинского – Зои:

«Его привёз к нам Сергей Митрофанович Городецкий, которого я помню с детских лет. Городецкий приехал к нам после большого перерыва. К этому времени он стал крупной величиной у акмеистов.

Все наши домочадцы любили живого, деятельного и остроумного поэта и поскорее проскользнули в столовую, желая познакомиться с его спутником. Сергей Городецкий рекомендовал Есенина отцу как молодого, нигде не печатавшегося поэта с крестьянской тематикой и образами.

– У Есенина крупный поэтический талант и ему нужно открыть дорогу, – говорил Сергей Митрофанович».

Есенину понравился 65-летний старик с длинной гривой волос и седой бородой библейского пророка, шумно и доброжелательно встретивший их в просторной гостиной с картинами Репина на стенах. Иероним Иеронимович, знавший ещё Тургенева и Чехова, любил покровительствовать молодым талантам.

После вечера в доме Армии и Флота встречи Есенина с Володей Чернявским продолжились. Именно Чернявский свёл Сергея со своим другом – Леонидом Каннегисером, сыном знаменитого инженера с европейским именем, потомственного дворянина. В богатой и культурнейшей семье Лёни, жившей в Сапёрном переулке, бывал весь Петербург. Сам Лёня – молодой человек в изящном костюме, стройный, черноглазый, с уверенными манерами, окончил гимназию в прошлом году. Одарённый от природы, кроме стихов, Лёня увлекался и театром. Вместе с Чернявским они поставили в домашнем спектакле блоковский «Балаганчик».

Втроём шли они по набережной, любуясь сплошным ледоходом на шумной ожившей Неве, радостно перекликались, жадно вдыхая свежий весенний воздух. Есенинскими стихами Лёня был покорён сразу же. Потом вдохновенно читал свои:

Здравствуй, Солнце, брат надзвёздный,
Лей лучи от знойных уст,
Поцелуй жарой любезной
Каждый цвет и каждый куст...

Лёня немедленно познакомил Сергея с Сакерами, издававшими журнал «Северные записки», так как квартира их была рядом, в том же Сапёрном переулке. И Софья Исаковна Чацкина, и Яков Львович Сакер, её муж, очень любили и стихи, и поэтов. Не удивительно, что после знакомства поэма Есенина «Русь» была принята в этот журнал для издания.

Секретарь редакции журнала «Голос жизни» Л.В. Берман вспоминал о своей первой встрече с Есениным:

«В маленькой секретарской комнатке нашей редакции, помещавшейся в доме 114 на Лиговской улице, в тот день были обычные часы приёма посетителей. Собралось примерно человек восемь-десять. Ждали Дмитрия Владимировича Философова. Среди пришедших был и совсем не похожий на других, очень скромного вида паренёк в длинном демисезонном пальто. Он прошёл и сел в уголок. Так как Философов в этот день так почему-то и не пришёл, мне пришлось заменить его и самому беседовать с посетителями. Обратился наконец я и к терпеливо молчавшему в своём уголке пареньку:

– А вы с чем пришли?

Он ответил:

– Я стишки принёс.

– Интересно их послушать, – сказал я, – редактора нет, прочтите их.

Охотно, нимало не смущаясь, паренёк стал певуче читать стихи. Нараспев читали свои стихи и Блок, и Ахматова, и Гумилёв. Он же читал совсем иначе, очень просто и очень-очень по-своему. Сразу поразила удивительная мелодичность стихов и их неподкупная искренность. Паренёк так наивно и так непосредственно держал себя, что тогда я был убеждён – в нашу редакцию он пришёл впервые, сам по себе. Только много позже я узнал, что Есенин перед этим уже побывал у Блока и у Городецкого, и что простовато он говорил сознательно. В этот раз мы хорошо поговорили с ним и он оставил свои стихи в редакции. После этого Есенин стал частенько бывать у нас. <...> Случалось, мы подолгу бродили по улицам города, беседа...

Как-то я предложил ему:

– Вот ты пишешь всё о деревне и о деревне. Попробуй написать о городе. Ведь ты видишь город совсем иначе, чем городские поэты...».

Это интересное предложение Сергей запомнил.

Близоруко шурясь светлыми голубоватыми глазами, картавой скороговоркой Рюрик Ивнев читал своё новое стихотворение, посвященное Есенину:

Ты знаешь, как птицы поют,
Ты знаешь, как пахнет в лесу,
Тяжёлую долю свою
Тебе одному несу.

С доброй улыбкой смотрел Сергей на бледное худое лицо Рюрика, на щёгольский галстук, как обычно, сбившийся набок...

Я знаю, придут и к тебе
Нашёптывать, что я плохой,
О болях моих, о горбе
Забудешь ты за сохой...

Для многих Рюрик Ивнев был очень странным. Друживший с ним Пастухов вспоминал: «...Это был псевдоним. В жизни он был Михаил Алексан-

дрович Ковалёв. Два имени – два человека. Рюрик Ивнев был «полоумным» и «кисступлённым» поэтом. Стремился к монашеству, к «самосожжению» (так назвал он первый сборник своих стихов), к жертвенности, к страннической жизни.

Михаил Александрович Ковалёв был аккуратным благоразумным чиновником, воспитанным молодым человеком, не без склонности к мелкому разврату. Его отец был не то губернатором, не то вице-губернатором где-то на юге. Дядя занимал крупное положение в государственном контроле, куда каждое утро ходил на службу М.А. Ковалёв. Он резко отличался от поэтической богемы, которая не знала – хватит ли денег завтра на обед, и эти деньги бросала на вино, в надежде, что кто-нибудь даст займы. М.А. Ковалев был корректен и бережлив. Но иногда на несколько дней он бросал службу: не для пьянства или в «опьянении страсти», а для поездок по монастырям, «на богомолье».

Сам Ивнев не переставал восхищаться Есениным:

«Мне хотелось определить, понимает ли он, каким огромным талантом обладает. Вид он имел скромный, тихий. Стихи читал своеобразно. Приблизительно так, как читал их и позже, но без того пафоса, который стал ему свойствен в последующие годы. Казалось, что он и сам ещё не оценил самого себя. Но это только казалось, пока вы не видели его глаз. Стоило вам встретиться взглядом с его глазами, как «тайна» его обнаруживалась, выдавая себя: в глазах его прыгали искорки. Он был опьянён запахом славы и уже рвался вперёд. Конечно, он знал себе цену. И скромность его была лишь тонкой оболочкой, под которой билось жадное, ненасытное желание победить всех своими стихами, покорить, смять. Как выяснилось на этом же вечере, Есенин был прекрасно знаком с современной литературой, особенно со стихами. Не говоря уже о Бальмонте, Городецком, Брюсове, Гумилеве, Ахматовой, он хорошо знал произведения других писателей. Многие стихи молодых поэтов знал наизусть. <...>

Один Фёдор Сологуб отнёсся холодно к Есенину. На мой вопрос: «Почему?» – Сологуб ответил:

– Я отношусь недоверчиво к талантам, которые не прошли сквозь строй «унижений и оскорблений» непризнания. Что-то уж больно подозрителен этот лёгкий успех! <...>

Слушая стихи, Есенин всегда высказывал своё откровенное мнение, не пытаясь его смягчать, если оно было отрицательным. Больше того, если он даже хотел это сделать, то не смог бы. Он не умел притворяться, когда речь шла об оценке стихов. Это хорошо знали мои друзья по «Лампе Аладдина» <так называл Ивнев «подвал» К. Ляндау> и потому не пытались представить на «суд Есенина» свои стихи. Когда Есенину что-либо нравилось, он высказывал своё одобрение не только словами. Первыми реагировали глаза, в которых загорались какие-то особенные, ему одному свойственные искорки, затем появлялась улыбка, в которой просвечивала радость, а потом уже с губ слетали слова».

Решив ввести Сергея в «более широкий круг друзей и знакомых», Ивнев устроил «вечер в честь Есенина» в большом библиотечном зале в квартире своих хозяев на Симеоновской улице, и по почте разослал приглашения.

«...вечер безалаберно-богемный и очень характерный, – вспоминал Чернявский. – Есенину отведено было почётное место, он был «гвоздём» вечеринки.

В обществе преобладали те маленькие снобы, те иронические и зеленолицы молодые поэты, которые объединялись под знаком равнодушия к женщине – типичнейшая для того «александрийского времени» фаланга. Нередко они бывали остроумны и всегда сплетничали и хихикали. Их называли нарицательно «юрочками».

<...> Пожалуй, никому из «юрочек» и маленьких денди не пришёлся по вкусу Есенин: ни его стихи, ни его наружность. То, что их органически от него отталкивало, объяснялось и петербургским снобизмом, и зародившейся в них несомненной завистью (настаиваю на этом) к тому, что было у него, а им не хватало: подлинности, здоровья, поэтической «внешкольности». Их цех очерился в защиту хорошего вкуса. <...>

Есенин, не казавшийся нелепым в этом кругу только потому, что там ничто не могло быть странным и всё могло быть забавным, принимал их прилично затушёванную язвительность за питерскую любезность. Щебечущий и ласковый хозяин, с восторгом относившийся к Сергею, смягчал прорывавшуюся неловкость.

В маленькой комнате, куда собрались после летучего чтения стихов и холостого беспорядочного чая, уселись очень тесно – кто на подоконнике, кто на столе, кто на полу. На полу у стенки присел и Есенин, которого немедленно попросили петь частушки, напоминая, что у него есть, как он сам признался, и «похабные». Погасили для этой цели электричество. По обыкновению, Сергей согласился очень охотно, с лёгкой ухмылочкой. Но простая чернозёмная похабщина не показалась слушателям особенно интересной. В углах шушукались и посмеивались не то над Есениным, не то на свои интимные темы. Начав уверенно, Сергей скоро стал петь с перерывами, нескладно и невесело, ему, видимо, было не по себе. И, когда голос футуриста, читавшего перед тем свою поэму об аэропланах, вдруг громко произнёс непристойно-специфическую фразу, пение оборвалось на полуслове, словно распаялось. По общему внезапному молчанию можно было заключить, что многим стало неловко и что это развлечение в темноте не будет продолжаться. Зажгли свет и некоторые гости, в том числе и Есенин, стали расходиться».

А вот свидетельство об этом же вечере Пастухова:

«...Георгий Иванов с обычной своей язвительностью, я бы сказал очаровательной язвительностью, прошептал мне: «И совсем он не из деревни, он окончил учительскую семинарию...».

Кузмина стихи Есенина «оставили холодным», зато группа В. Гордина – Д. Цензора (и иже с ними) были в каком-то телячьем восторге. Но, когда они (посторонние) ушли, и Есенин начал петь нецензурные частушки, пришли в восторг «оставшиеся холодными», в том числе и я».

*На лужайке у кринички
Зайчик просит у лисички,
А лисичка не даёт –
Зайчик лапкой достаёт.*

*Не идите девки замуж,
А живите в бардаке –
Каждый день п...а сырая
И полтинничек в руке.*

«Кузмин сказал: «стихи были лимонадцем, а частушки водкой».

Поэт и писатель Фёдор Сологуб, имя которого «гремело» в Петербурге, был сыном портного и кухарки. Будучи долгие годы школьным учителем, он даже написал учебник геометрии.

Георгий Иванов вспоминал о нём:

«Кирпич в сюртуке», – слово Розанова о Сологубе. По внешности, действительно, не человек – камень. Движения медленные, натянуто-угловатые. Лысый огромный череп, маленькие ледяные сверлящие глазки. Лицо бледное, неподвижное, гладко выбритое. И даже большая бородавка на этом лице – каменная.

Сологуб – инспектор какой-то школы на Васильевском острове. И какой инспектор!

– Фёдор Кузьмич идёт!.. – и самые отчаянные сорванцы сразу присмиревают – знают, что инспектор шутить не любит...

(В 1911 году, когда меня подвели к Сологубу, и он уставил на меня бесцветные ледяные глазки и протянул мне, не торопясь, каменную руку – такой «холодок» от него распространялся.

– Я не читал ваших стихов. Но, какие бы они ни были – лучше бросьте. Ни ваши, ни мои, ничьи на свете – они никому не нужны. Писание стихов глупое баловство и потеря времени...)

Сам Сологуб начал заниматься «глупым баловством» поздно, годам к тридцати пяти (...обнаружилось, что под сюртуком этим сердце есть. Сердце, готовое разорваться от грусти и нежности, отчаяния и жалости...)).

Сергей Есенин решился, наконец, и ему показать свои стихи. Рассказ об этой встрече самого Сологуба – в воспоминаниях того же Георгия Иванова:

«Фёдор Сологуб со своим обычным, надменно-брюзгливым выражением гладко выбритого белого «каменного» лица <...> рассказывал в редакции журнала «Новая жизнь» о юном крестьянском поэте, приходившем к нему представляться:

– ...Смазливый такой, голубоглазый, смиренный... – неодобрительно описывал Есенина Сологуб. – Потеет от почтительности, сидит на кончике стула – каждую минуту готов вскочить. Подлизывается напропалую: Ах, Фёдор Кузьмич! – Ох, Фёдор Кузьмич! – и всё это чистейшей воды притворство! Льстит, а про себя думает, – ублажу старого хрена, – пристроит меня в печать. Ну, меня не проведёшь, – я этого рязанского телёнка сразу за ушко да

на солнышко. Заставил его признаться и что стихов он моих не читал, и что успел до меня уже и к Блоку и Мережковским подлизаться, и насчёт лучины, при которой якобы грамоте обучался, – тоже враньё. Кончил, оказывается, учительскую школу. Одним словом, прощупал хорошенько его фальшивую бархатную шкурку и обнаружил под шкуркой настоящую суть: адское самомнение и желание прославиться во что бы то ни стало. Обнаружил, распушил, отшлёпал по заслугам – будет помнить старого хрена!..

И тут же, не меняя брюзгливо-неодобрительного тона, Сологуб протянул редактору Н. Архипову тетрадку стихов Есенина.

– Вот. Очень недурные стишки. Искра есть. Рекомендую напечатать – украсят журнал. И аванс советую дать. Мальчишка всё-таки прямо из деревни – в кармане, должно быть, пятиалтынный. А мальчишка стоящий, с волей, страстью, горячей кровью. Не чета нашим тютюкам из «Аполлона».

При новом посещении салона Мережковских Есенин держался уже уверенней. Недаром Зинаида Гиппиус отметила это:

«Пока невиданный Питер не слишком удивил и пленил его. Любопытно, однако, не очень. Пошёл и на «поэзо-концерт». «Что ж, понравились футуристы?» – «Нет; стихи есть хо-ро-шие, а только что ж всё кобениться». И люди в Питере, говорит, – ничего, хорошие, да какие-то «не солёные».

Есенин, со слов Чернявского, отзывался о Мережковских по-разному: «К Философому он относился очень хорошо. Тот пленил его крайним вниманием к его поэзии, авторитетным, барственно-мягким тоном джентльмена. Сам Мережковский казался ему сумрачным, «выходил редко, больше всё молчал» и как-то стеснял его. О Гиппиус, тоже рассматривавшей его в усмешливый лорнет и ставившей ему испытующие вопросы, он отзывался с все растущим неудовольствием. «Она меня, как вещь, ощупывает!» – говорил он».

Серьёзные книги, с тёплыми надписями подаренные Философовым, он принял с радостью: «Сергею Александровичу Есенину с верой, что русская лампада не угаснет. Д. Философов. 12 апр. 1915 г.» и «Сергею Александровичу Есенину на память о «несолёных» людях Питера от автора».

4

Утром Есенин пролистал свежий номер журнала, подаренный накануне Философовым. Были в нём: рассказ Алексея Чапыгина («сувы, не «знаменитого», – по словам Гиппиус), с которым Сергей успел познакомиться у Мережковских, стихи самой Гиппиус, не заинтересовавшие его, и... новое стихотворение Александра Блока:

Пристал ко мне нищий дурак,
Идёт по пятам, как знакомый.
«Где деньги твой?» – «Снёс в кабак». –
«Где сердце?» – «Закинуто в омут». –

«Чего ж тебе надо?» – «Того,
Чтоб стал ты, как я, откровенен,

Как я, в униженьи, смиренен,
А больше, мой друг, ничего»...

Устав от утомительной литературной беготни по редакциям, Сергей с облегчением спускался в «подвал» Кости Ляндау, ставший ему почти «родным». Здесь его уже ждали друзья: Володя Чернявский, Рюрик Ивнев, Лёня Каннегисер... Здесь познакомился Есенин, а потом и подружился, с Михаилом Бабенчиковым.

«В молодые годы, – рассказывал тот, – я часто бывал у одного из моих петербургских приятелей Кости Ляндау. Как большинство тогдашней молодёжи, Ляндау бредил поэзией и даже пробовал помещать стихи в журналах. Поэта из него не вышло, но это был весьма начитанный для своего возраста человек с хорошим вкусом, и в его небольшой комнатке на набережной Фонтанки у Аничкова моста чуть не каждый вечер собирались страстные поклонники поэзии.

Здесь же впервые я услышал и незнакомое мне до тех пор имя Сергея Есенина, а затем встретился с начавшим входить в моду «крестьянским», как его тогда называли, поэтом.

О Есенине в тогдашних литературных салонах говорили как о чуде. И обычно этот рассказ сводился к тому, что неожиданно-негаданно, точно в сказке, в Петербурге появился кудрявый деревенский паренёк, в нагольном тулупе и дедовских валенках, оказавшийся сверхталантливым поэтом. Прибавлялось, что стихи Есенина уже читал сам Блок и что они ему понравились. Рассказ этот я слышал в различных вариантах, но всегда в одном и том же строго выдержанном стиле. Так, о Есенине никто не говорил, что он приехал, хотя железные дороги действовали исправно. Есенин пешком пришёл из рязанской деревни в Петербург, как ходили в старину на богомолье. Подобная версия казалась гораздо интереснее, а, главное, больше устраивала всех. Есенин, так или иначе, но попал в Петербург в 1915 году и был совершенно осязаем, а не бесплотен, как его пытались изображать столичные снобы.

Он сидел рядом со мной у Кости Ляндау и довольно прозаически пил чай, старательно дую на блюдечко, как это делали где-нибудь на окраине завсегдага извозчичьих чайных. Белесовато-жёлтые, точно выгоревшие на деревенском солнцепёке, подстриженные в кружок кудрявые волосы и застенчивая улыбка, изредка появлявшаяся на его нежно-розовом лице, делали Есенина похожим на мальчугана, хотя он уже и вышел из отроческого возраста. Вообще цвет – первое, что бросилось мне в глаза при взгляде на молодого Есенина. Говорил он при посторонних мало, с большими паузами, почти совсем не прибегая к жестикюляции. И лишь время от времени, как бы для пущей важности, тихо покашливал в кулак. А когда слушал, неожиданно скидывал на собеседника такие же мелкие, как и остальные черты есенинского лица, василькового цвета глаза. «Приказчик, певец из народного хора, полотёр. А может быть, трактирный половой», – мелькнуло в моей голове при взгляде на нового знаконца. Но это внешнее впечатление быстро исчезло, стоило мне узнать Есенина ближе.

Происходило это в самые первые дни появления Есенина в Петербурге, и очень многое из того, что он видел вокруг, было для него новым и необычным. Отсюда возникали его смущение и любопытный взгляд исподтишка, с каким он, стараясь быть незамеченным, рассматривал незнакомые ему лица. Отсюда же проистекала постоянная настороженность молодого Есенина и та пытливая жадность, с которой он прозревал новизну. Быть может, даже там, где её и не было. Он творил её.

– Алёша Ка-га-ма-зов, – как-то презрительно бросил, пристально разглядывая Есенина, один ныне покойный эстет.

С Алёшей у Есенина было действительно нечто общее. Как Алёша, он был розов, застенчив, малоречив, но в нём не было ни тени «достоешщины», в бездну которой Есенина в те годы усиленно толкали Мережковские».

5

Четвёртый номер «Нового журнала для всех», только что отпечатанный, ещё пахнувший свежей краской, Есенин перелистывал торопливо: вот – портрет Ахматовой, её стихи на следующей странице; Рюрик Ивнев... И, лишь после самой Анны Карловны, его «Кручина». Стихотворение очень нравилось Сергею Митрофановичу и вышло с посвящением ему: «Сергею Городецкому».

В этот же день побывал Сергей у Ремизовых, с которыми недавно познакомился в одной из редакций и был приглашён.

Алексей Михайлович Ремизов, широко известный литературному Петербургу, являлся для всех личностью странной. Очень живые впечатления о нём оставил московский писатель Фёдор Степун, впервые посетив его квартиру на Таврической улице: «Маленькое сутулое тельце на длинных ногах, лицо, как будто, и смотреть не на что, а не оторвёшься. Мало благообразный, русейший носик закавыкою, губы – бантиком, подстриженные бобриком непокорные волосы торчат какими-то тычинками и рожками; глаза-гляделки в морщинках, но, если заглянуть в них поглубже, испугаешься, до того в них много муки и страсти. Странная внешность: если прикинешь к ремизовскому лицу жидкую бородку – выйдет приказный дьяк; если накинуть на плечи шинелишку – получится чинуша николаевской эпохи; если изорвать его пиджачишко в рубище – Ремизов превратится в юродивого под монастырской оградой...

Кабинетик, в который ввёл меня Алексей Михайлович, был единственной в своём роде писательской кельей. <...> Вместо обычных книжных полок висели на стенах, прилаженные один над другим и обклеенные золотом, серебряною и голубою бумагою случайные ящики, до отказа набитые старинными изданиями и истрёпанными книжонками. Под потолком из угла в угол тянулись бечёвки, целая сеть, наподобие паутины. На бечёвках – совершенно уже невероятные вещи: сучки, веточки, лоскутики, палочки, косточки, рыбы скелетики, не то игрушки, не то фетиши, разные ремизовские коловёртыши, кикиморы, пауки, скрипники...

Кроме «Пруда» и «Крестовых сестёр», я из ремизовских произведений тогда ещё ничего не читал, со сказочною мифологией писателя знаком не был и потому смотрел на все его подпотоличные диковины с разинутым ртом. Алексей Михайлович стоял рядом со мною всё ещё в том огромном женином платке, в котором он выскочил на лестницу и со странными, на мой тогдашний взгляд, ужимками, подмигками и подхихкиваниями тихонечко рассказывал о своей сновидчески-творческой жизни. Я слушал, внимательно всматривался в мучительно наморщенный лоб Ремизова, но сердцем и фантазией его мира не воспринимал».

Так же удивлённо озирался на эти чудачества и Есенин, впервые попав в квартиру Ремизовых. А странный хозяин, в котором было «что-то от ёжика, принявшего человеческий образ: в походке, во взглядах, в поворотах головы», забавно улыбаясь из-под очков, таинственно и всерьёз рассказывал ему о своих кабинетных жителях.

Совершенной противоположностью Ремизову была его жена – Серафима Павловна, со слов современников, «высокая, полная, белотелая и белолица, с пышными белокурыми волосами и широкими голубыми глазами, она плыла через сутолоку и толкотню литературного Петербурга, точно боярыня допетровской Руси. Серафима Павловна была из старинного литовского рода Довгелло, родственного Ягеллонам. <...> Она входила в комнату уверенно, плавно, смотрела открыто, улыбчиво, с людьми общалась ласково».

Сам Алексей Михайлович был «москвич, с очень чистым русским говором, подлинность которого он закрепил, изучая фольклор, апокрифы, местные говоры, песни, поговорки. Он плавал, нырял в народных сказках, добывая со дна то забытое словечко, которым любил ошарашивать читателя...»

Серафима Павловна вышла замуж за него в Сольвычегодске, где оба они находились в ссылке. «Были они «на Вы». Она была учёным – специалистом по русской палеографии, Ремизов же – удивительным мастером писаного шрифта; его рукописи – поразительного каллиграфического почерка».

Есенин был очарован гостеприимством и радушием Ремизовых, а сам Алексей Михайлович много лет спустя вспоминал, как в квартиру на Таврической приходил «в нескладном «спиджаке» ковылёвый С. Есенин и ласково читал им: *«припаду к лапоточкам берестяным, мир вам, грабли, коса и соха, я гадаю по взорам невестиным на войне о судьбе жениха...»*.

Серафима Павловна просила Есенина вписать ей в альбом стихотворение:

*Задымился вечер, дремлет кот на бруссе.
Кто-то помолился: «Господи Иисусе»...*

Ей же оставил он автографы поэмы «Русь» и стихотворения «Калики», с надписью: *«Переписывал для Серафимы Павловны Ремизовой. С. Есенин. 18/IV 15 г.»*.

Алексей Михайлович попросил Сергея привезти ему рязанских сказок и подарил книгу своих рассказов «Весеннее порошье», а также четыре тома

из своего восьмитомника, надписав на каждом: «Сия книга принадлежит Сергею Есенину».

Наконец Сергей отправился на встречу с литературным критиком Львом Максимовичем Клейнбортом, давно связанным с московским Суриковским кружком и ведущим большую переписку с писателями «из народа». В Лесном, в тихой дачной местности, разыскал он его загородный дом.

«...– Лев Максимович? – обратился ко мне паренёк, подходя со стороны калитки: совсем юный, в пиджаке, в серой рубашке, с галстуком, узкоплечий, желтоволосый. Запахом ржи так и пахнуло от волос, остриженных в кружок.

– Есенин, – сказал он своим рязанским говорком. <...>

Синие глаза, в которых было больше блеска, чем тепла, заулыбались.

Я поднял на него глаза. Черты лица совсем девичьи. В то время как волосы его были цвета ржи, брови у него были тёмные. Он весь дышал здоровьем... Не успел он, однако, сесть, как откуда-то взялась моя собака, с звонким лаем кинувшись на него.

– Трезор! – прикрикнул я. Но это лишь раззадорило её.

– Ничего, – сказал он, не тронувшись с места. Затем каким-то движением привлёк собаку к себе и стал с ней на короткой ноге.

– Собака не укусит человека напрасно.

Он знал, видимо, секрет, как подойти к собаке. Более того, он знал и секрет, как расположить к себе человека. Через короткое время он уже сидел со мной на балконе, тихий сельский мальчик, и спрашивал:

– Круглый год здесь живёте?

– И зимой, и летом. <...>

Приехал на средства кружка. Но что кружок мог ему дать? Очевидно, уверенности, что не уедет назад, у него не могло быть. Он рассказывал мне об университете Шанявского, в котором учился уже полтора года, о суриковцах, о «Друге народа», о том, что он приехал в Петроград искать счастья в литературе.

Принёс и цикл своих стихов «Маковые побаски», затем «Русь», ещё что-то.

– На память вам, – сказал он. Но мысль у него была другая.

Я предложил ему их самому прочесть. Читал он нараспев, не глядя на меня, как читают частушки, песни. Читал и сам прислушивался к ритму своих стихов. Стихи уже резко отличались от тех, которые я знал. Суриковцы, вообще говоря, грешили против непосредственности, исходя из образцов, данных Кольцовым, Никитиным, Суриковым. Есенин же здесь не был поэтом-самоучкой. Правда, кольцовское ещё звучало в «Маковых побасках». *«Ах, развейтесь кудри, обсекись коса, // Без любви погинет девичья краса...»* Это было ещё под лубок. Однако в молодых таких стихах была травяная свежесть какая-то. <...>

– Кабы послал Господь хорошего человека, – говорил он мне, прощаясь.

ПРИЗНАНИЕ

1

В редакции журнала «Голос жизни» Философов протянул Сергею свежий номер, в котором Есенин увидел статью – «Земля и камень», о себе и своих стихах, подписанную – «Роман Аренский» <псевдоним Зинаиды Гиппиус>:

«Пред нами худощавый девятнадцатилетний парень, желтоволосый и скромный, с весёлыми глазами. Он приехал из Рязанской губернии в «Питер» недели две тому назад. Прямо с вокзала отправился к Блоку, – думал к Сергею Городецкому, да потерял адрес.

В Питере ему все были незнакомы, только что раньше «стишки посылал». Теперь сам их привёз, сколько было, и принялся раздавать «просящим», а просящих оказалось порядочно, потому что наши утончённо-утомленные литераторы знают, где раки зимуют, поняли, что новый рязанский поэт – действительно поэт, а у многих есть даже особенное влечение к стилю подлинной «земляной» поэзии. Девятнадцатилетний С. Есенин заставляет вспомнить Н. Клюева, тоже молодого поэта «из народа», тоже очень талантливого, хотя стихи их разны. Есенин весь – веселее, у него тон голоса другой, и сближает их разве только вот что: оба находят свои, свежие, первые и верные слова для передачи того, что видят. В стихах Есенина пленяет какая-то «сказанность» слов, слитость звука и значения, которая даёт ощущение простоты. Если мы больше и чаще СМОТРИМ на слова (в книгах), чем СЛЫШИМ их звуки, – мастерство стиха приходит после долгой работы; трудно освободиться от «лишних» слов. Тут же мастерство как будто данное: никаких лишних слов нет, а просто есть те, которые есть, точные, друг друга определяющие. Важен, конечно, талант; но я сейчас не говорю о личном таланте; замечательно, что при таком отсутствии прямой, непосредственной связи с литературой, при такой разностильности, Есенин – настоящий СОВРЕМЕННЫЙ поэт. Он, сам того не подозревая, – уже «описатель», он, прежде всего, «видит», и это – не его личное свойство, а общее свойство современных словесников-поэтов, как у Фета и Кольцова было общее свойство сначала «чувствовать», а не видеть.

Впрочем это требует долгих доказательств, сложных определений и параллелей. И нет у нас ещё развившихся современных народных талантов. Есенин так молод, а время так быстро, что он может ещё завянуть на корню. <...>

Рядом с Есениным, за тем же столом, сидел пред нами другой юный поэт, не «земляной», – «каменный». Современники, – они все-таки немножко не понимали друг друга. Есенин не знает «языков», а потому ему невдомек, что значит «манто», «ландолэ», «гресо-фарс» и т. д., а коллега не понимает ни «дёлки», ни «купыря», и скорее до «экарлатной» зари додумается, чем до «маковой». Но оба хотят богатства слов. И оба имеют. Только у «каменного» поэта своего нехватка, и приходится в чужих странах прикупать, а поэт «земляной» приехал с собственным русским богатством из Рязанской губернии и лишний раз стало ясно, как обильна земля наша; всего у нас

вдоволь, а если кому не хватает, если в каменных столицах всё, вплоть до слов, – покупное, так это потому, что мы с нашими богатствами сладить не умеем. Где густо, а где пусто».

Всю следующую страницу занимали четыре стихотворения Есенина, в художественном обрамлении из зимней сельской улицы, с дымами, поднимающимися от избёнок к небу; и тележного обоза – внизу. Здесь были стихи: «Гусляр», «В хате», «Богомолки», «Рыбак».

*Под венком лесной ромашки
Я строгал, чинил челны.
Уронил кольцо милашки
В струи пенистой волны...*

Нужно отметить, что Гиппиус, в отличие от Блока, выбрала для публикации стихи, выделяющиеся картинностью, предметностью, «вещностью», менее осязательным лирическим началом. Блок видел в нём самобытного лирика; Гиппиус – парня, «орущего частушки», нечто от деревенской стихии.

Письмо Клюева добиралось до Туркестана долго, и Ширяевец понял, что сообщения о его возможном приезде в Петроград Клюев ещё не получал.

«...Так тяжело себя я чувствую за последнее время, – писал Клюев, – и тяжесть эта особенная, испепеляющая, схожая со смертью: не до стихов мне и не до писем, хотя и таких дорогих, как твои. Измена жизни ради искусства не остаётся без возмездия. Каждое новое произведение – кусочек оторванного живого тела. И лжёт тот, кто книгу зовёт детищем. Железный громящий демон, а не богиня-муза – помога поэтам. Кто не молится демону, тот не поэт. И сладко и вместе нестерпимо тяжело сознавать себя демонопоклонником. Твоей муке я радуюсь – она созидаящая, Ванька-Ключник сидит в тебе крепко, и если он настоящий, то ты далеко пойдёшь...

<Стихотворение «Ванька-Ключник» уже печаталось в «Ежемесячном журнале», в одном номере со стихами Клюева».

Конечно, кроме слов «боярин, молодушка, не замай, засонюшка», необходимо видеть, какие пуговицы были у Ванькиной однорядки, каков он был передом, волосаты ли у него грудь и ляжки, были ль ямочки на щеках и мочил ли он языком губы или сохли они, когда он любезничал с княгиней? Каким стёгом был стёган слёзный ручной платочек у самой княгини и употреблялись ли гвозди при постройке двух столбов с перекладиной? И много, страшно много нужно увидеть певцу старины...»

Вслед за клюевским письмом Ширяевец получил письмо и книгу от Городецкого. На книге «Четырнадцатый Год» – автограф: «Александру Ширяевцу, песеннику с Волги, чующему Русь, с братской любовью и радостью».

Было в письме Городецкого и предупреждение: «Не обольщайтесь очень мечтами о столице. Здесь тоже много малярных песков и солончак-ковой пыли, особенно в литературном кругу».

Лёня Каннегисер познакомил Есенина с беллетристкой Татьяной Краснопольской и художницей-любительницей Лидией Сегаль. О встречах Есенина с представительницами петроградской литературно-художественной богемы Чернявский рассказывал:

«К женщинам из литературной богемы Сергей относился с вежливой опаской и часто потешал ближайших товарищей своими впечатлениями и сомнениями по этой части. С наивным юмором, немного негодуя, он рассказывал об учащающихся посягательствах на его любовь. Ему казалось, что в городе женщины непременно должны заразить его скверной болезнью (*«Оне, пожалуй, тут все больные»* <собственные слова Есенина>). Их внешняя культурность не рассеивала этого предубеждения.

На первых порах ему пришлось со смущением и трудом избавляться от упорно садившейся к нему с ласками на колени маленькой поэтессы, говорящей всем о себе тоненьким голосом, что она живёт на мансарде «с другом и белой мышкой». Другая, сочувствующая адамизму, разгуливала перед ним в обнажённом виде <...>. Третья, наконец, послужила причиной его ссоры с одним из приятелей, оказавшись особенно решительной. Он ворчал шуточно: *«Я и не знал, что у вас в Питере эдак целуются...»*.

2

В редакции у Философова, в день выхода журнала «Голос жизни», побывал и Александр Блок. Статью Гиппиус он прочёл с большим интересом и, узнав, что Есенин уезжает и очень хотел бы ещё раз встретиться с ним, написал ему:

«Дорогой Сергей Александрович.

Сейчас очень большая во мне усталость и дела много. Потому думаю, что пока не стоит нам с Вами видеться, ничего существенно нового друг другу не скажем. Вам желаю от души остаться живым и здоровым. Трудно загадывать вперёд, и мне даже думать о Вашем трудно, такие мы с вами разные; только всё-таки я думаю, что путь Вам, может быть, предстоит не короткий, и, чтобы с него не сбиться, надо не торопиться, не нервничать. За каждый шаг свой рано или поздно придётся дать ответ, а шагать теперь трудно, в литературе, пожалуй, всего труднее. Я всё это не для прописи Вам хочу сказать, а от души; сам знаю, как трудно ходить, чтобы ветер не унёс и чтобы болото не затянуло. Будьте здоровы, жму руку. Александр Блок».

Через два дня Сергей зашёл к редактору газеты «Биржевые ведомости» Гаккебушу с очередной запиской Городецкого:

«Дорогой Михаил Михайлович. Пригрейте молодого нашего поэта Сергея Есенина как талантливую, по-моему, очень. Ему нужно скоро ехать в деревню. Выберите что-нибудь. Ваш С. Городецкий.

Он принят уже в «Русскую мысль», «Северные записки», «Голос жизни» и др.».

Здесь Есенин оставил несколько стихотворений, среди которых были и его «Рекруты».

Ремизовым Сергей отправил письмо:

«Дорогой Алексей Михайлович и Серафима Павловна!

<...> Очень жалко, что я не мог прийти к вам. Подценил где-то лихорадку. Все губы раздуло. Обметало с простуды. Провалился два дня. Сегодня в три часа уезжаю.

Большое Вам спасибо, Алексей Михайлович, за книги. Читал «Весеннее порошье» и от первых рассказов всё время готов был захныкать. <...>

Любящий вас Сергей Есенин».

Пришла пора познакомиться и с Николаем Клюевым.

«Дорогой Николай Алексеевич!

Читал я Ваши стихи, много говорил о Вас с Городецким и не могу не писать Вам. Тем более тогда, когда у нас есть с Вами много общего. Я тоже крестьянин и пишу так же, как Вы, но только на своём рязанском языке. Стихи у меня в Питере прошли успешно. Из 60 принято 51. Взяли «Северные записки», «Русская мысль», «Ежемесячный журнал» и др. А в «Голосе жизни» есть обо мне статья Гиппиус, где упоминается и Вы. Я хотел бы с Вами побеседовать о многом, но ведь «через быстру реченьку, через тёмный лесок не доходит голосок». Если Вы прочитаете мои стихи, черкните мне о них. Осенью Городецкий выпускает мою книгу «Радуница». В «Красе» я тоже буду. Мне очень жаль, что я на этой открытке ничего не могу ещё сказать. Жму крепко Вашу руку. Рязанская губ., Кузьминское почт. отд., село Константиново, Есенину Сергею Александровичу».

3

Из-за денежных затруднений отъезд Есенина всё откладывался, продолжались и встречи его с друзьями. Как отмечал Миша Бабенчиков:

«Не прошло и нескольких недель с момента нашего знакомства, как он уже был со мной «на ты». Чувствовалось, что ему легче говорить так, да и наши с ним отношения приняли по-настоящему дружеский характер. Есенин стал иногда заходить ко мне. Чаще же мы встречались с ним на людях или бродили вдвоем по городу.

Петербург в такие минуты владел всеми нашими помыслами. Аquareльные фасады лимонно-жёлтых и нежно-фисташковых зданий, отражающиеся в тёмной глади Невы, каналы... ажурный взлёт мостов и казавшаяся гигантской фигура Медного всадника, простёршая свою длань над городом, будили в нас поэтические чувства. Помню, раз после одной из таких длинных прогулок стеклянным петербургским вечером мы остановились с Есениным на набережной Невы. Он вспомнил родную Оку, что-то говорил о своём будущем, и нам отраднее было думать, что когда-то здесь, быть может, стоял и Пушкин. Петербург, Пушкин, пушкинская эпоха были в центре художественных интересов тогдашней литературной молодежи. К ним присоединялось увлечение петербургскими повестями Гоголя, ранним Достоевским и Аполлоном Григорьевым. <...>

Близко дружил Есенин с Володей Чернявским, а через него и с неболь-

шой группой лиц в той или иной степени причастных к искусству. Сам Чернявский был студентом-филологом, но основными увлечениями его являлись поэзия и театр. Через нашего общего приятеля, племянника В.Ф. Комиссаржевской Антона Врангеля, Чернявский познакомился с актерской средой театра на Офицерской, числился в ряду страстных обожателей Веры Фёдоровны и не расставался с её портретом в роли метерлинковской сестры Беатрисы. Кроме Комиссаржевской, его кумиром была Рашель. Чернявский хорошо знал классический репертуар, декламировал Корнеля и Расина, а в области поэзии, помимо того, что сам пописывал стишки, боготворил, как и все мы, Александра Блока».

Чернявский, будучи на шесть лет старше Есенина, заботливо опекал его. Об отношении к Сергею говорит стихотворение, написанное Чернявским в эти дни:

Не страшно знать, что и душа проходит,
Как первая, как лучшая любовь,
Что голос смерти над постелью бродит:
– Себя, себя люби и славословь.
Моей стране, где даже Бог потерян,
Поверил я, услышав голос твой.
Она – твоя за то, что ты ей верен –
И ласковый, и кровный, и живой...
...Но чужд тебе наш мир, больной и хмурый,
Измученный в пороке и в пыли.
И оттого, мой мальчик белокурый,
Мне голос твой, как сладкий сок земли!

«Его стали звать в богатые буржуазные салоны, – вспоминал Чернявский о Есенине, – сынки и дочки стремились показать его родителям и гостям. <...> За ним ухаживали, его любезно угощали на столиках с бронзой и инкрустацией, торжественно усадив посреди гостиной на золочёный стул. Ему пришлось видеть много анекдотического в этой обстановке, над которой он ещё не научился смеяться, принимая её доброжелательно, как всё остальное. Толстые дамы с «привычкой к Лориган» лорнировали его в умиленной, и солидные папаши, ни бельмеса не смыслящие в стихах, куря сигары, поощрительно хлопали ушами.

Стоило ему только произнести с упором на «о» – «корова» или «сенокос», чтобы все пришли в шумный восторг. «Повторите, как вы сказали? Ко-ро-ва? Нет, это замечательно! Что за прелесть!»»

Часто бывал Сергей и в гостеприимном доме Мурашёва. Интересны наблюдения Михаила Павловича:

«Первые месяцы жизни поэта в Петрограде не были плодотворными: рассеянный образ жизни и небывалый успех на время выбили его из колеи. Помню, он принимался писать, но написанное его не удовлетворяло. Обычно Есенин слагал стихотворение в голове целиком и, не записывая, мог читать его без запинки. Не раз, бывало, ходит, ходит по кабинету и скажет:

– Миша, хочешь послушать новое стихотворение?

*<У крыльца в худой логушке дёготь.
Струи чёрные расхлябились, как змейки,
Ходят куры чёрных змей потрогать
И в навозе чистят клюв своей клейкий...>*

Читал, а сам чутко прислушивался к ритму. Затем садился и записывал. Интересно было наблюдать за поэтом, когда его стихотворение появлялось в каком-нибудь журнале. Он приходил с номером журнала и бесконечное количество раз перелистывал его. Глаза блестели, лицо светилось».

4

Морской ветер привычно дул с залива. Солнечная Фонтанка весело пахла грязной водой. На реках и каналах было большое оживление: готовясь к навигации, у причалов дымили пароходы, на которых смолили и красили...

В редакции журнала «Голос жизни» Лазарю Берману, подсказавшему эту тему, Есенин вручил стихотворение «Город». Стихи вскрывали истинные чувства поэта, очутившегося в бездушном каменном логове, оторванном от России. Здесь, в этой раззолочённой столице, как ему казалось, сгустилось всё Зло империи, а его родина-Русь жива была только в сердце и памяти...

Берман был прав: Есенин видел город «совсем иначе, чем городские поэты».

*Храня завет родных поверий –
Питать к греху стыдливый страх,
Бродил я в каменной пещере,
Как искушаемый монах.
Как муравьи, кишели люди
Из щелей выдолбленных глыб,
И, схилясь, двигались их груди,
Что чешуя скорузлых рыб.
В моей душе так было гулко
В пелёнках камня и кремней.
На каждой ленте переулка
Стонал коровий рёв теней.
Дризжали дроги, словно стёкла,
В лицо кнутом грозила даль,
А небо хмурилось и блёкло,
Как бабья сношенная шаль.
С улыбкой змейного грешенья
Девичий смех меня манул,
Но я хранил завет крещенья –
Плевать с молитвой в сатану.
Как об ножи стальной дорогой,
Рвались на камнях сапоги,
И я услышал зык от Бога:
«Забудь, что видел, и беги!»*

«Когда я его прочитал, – признался Берман, – то понял, что я ему в советчики не гожусь. Стихотворение показалось мне надуманным. Но понял я также, что Есенин поэт не только одарённый, а и очень самобытный».

Сказать о таком искреннем, ярком, глубоко пережитом стихотворении как о «надуманном» значило одно – что петербургский житель не понял в нём абсолютно ничего!..

Наконец прояснилось и положение Есенина с отъездом: Сергей Городецкий выхлопотал Есенину в редакции журнала «Лукоморье» «аванс в счёт гонорара» в целых 24 рубля. Расставание с Петроградом приближалось и на другой же день он ещё раз побывал в Лесном, у Л.М. Клейнборта.

Есенин «...рассказал, – вспоминал тот, – что был у Мережковских. Был там Д.В. Философов, ещё кто-то, не припомню кто (из круга Мережковских). Все они пришли в восторг от его стихов, от его частушек.

И я тотчас уловил разницу между тем, что он читал мне, и тем, что читал Мережковским...

– Верите вы в своих Иисусов и Микол? – спросил я.

Это было бы естественно. И отец, и дед его были хранителями древнерусской церковности, которую он впитал с молоком матери. И сам он рос под колокольный звон, не говоря о школе, в которой учился несколько лет. Церковность, которую он впитал с молоком матери, однако, уже была разбита, по его словам. Образы его не означали верности официальной, по его словам, Церкви. Пусть в избе пахнет скотиной, прелью и угаром. Не быт деревни интересовал его, а бытие, то, что связано с исконным, изначальным. Начала же этого, узловая завязь всё же здесь...»

Лев Максимович порадовал Сергея, рассказав о своих хождениях с его стихами:

«Я передал часть из них М.К. Иорданской, ведавшей беллетристическим отделом в «Современном мире», часть Я.Л. Сакеру, редактору «Северных записок». Сказал об Есенине и М.А. Славинскому, секретарю «Вестника Европы», мнение которого имело вес и значение в журнале. «Северные записки» взяли все стихи, «Современный мир» – одно. Это сразу окрылило его».

5

В последние дни в Петрограде Есенин прощался с друзьями. На квартире Лёни Каннегисера он застал Михаила Кузмина с неразлучным другом Юрием Юркуном.

Огромная популярность Кузмина в литературных кругах была связана также с литературным кафе «Бродячая собака». Кафе находилось в одном из подвалов возле Михайловской площади и закончило своё существование буквально перед приездом Есенина.

О «Бродячей собаке» и Михаиле Кузмине один из современников писал: «О, богемными преданиями воспетая «Бродячая собака», как обольститель, как полон неоспоримой, убогой прелести был твой чадный подвальный уют, твоя в свиную кожу переплетённая и входы охранявшая книга, твои

от чуть-чуть перепитого вина всегда покривившимися казавшиеся своды. И сколько сейчас забытых, написанную историю творящих слов было в тебе произнесено в те быстро сгоравшие ночи, когда по твоим склизким и снегом занесённым ступенькам спускались наряду с лоснящимися бархатными ту-журками и косоворотками чрезмерно громко смеявшиеся дамы в декольте и своими моноклями игравшие безукоризненно скроенные фракы.

Крошечная, из тёса наскоро сколоченная эстрада твоя посвящена была музам. На ней читали свои ещё не напечатанные стихи Блок, Гумилёв, Мандельштам. На ней Карсавина танцевала...

...Пронин Борис, «хозяин Собаки», мгновенно водворил в зале тишину, смешав с дымом, говором и смехом столь всех здесь ласкавшее имя Михаила Алексеевича Кузмина.

На эстраду маленькими быстрыми шажками взбирается удивительное, ирреальное, словно капризным карандашом художника-визионера зарисованное существо. Это мужчина небольшого роста, тоненький, хрупкий, в современном пиджаке, но с лицом не то фавна, не то молодого сатира, какими их изображают помпейские фрески. Чёрные, словно лаком покрытые, жидкие волосы зачёсаны на боках вперёд, к вискам, а узкая, будто тушью нарисованная, борода вызывающе подчёркивает неестественно-румяные щёки. Крупные, выпуклые, желающие быть наивными, но многое, многое перевидавшие глаза осиянны длинными, пушистыми, словно женскими, ресницами. Он улыбается, раскланивается и, словно восковой, Коппелиусом оживлённый автомат, садится за рояль.

Какие у него длинные, бледные, острые пальцы.

Приторно сладкая, порочная и дыхание спирающая истома нисходит на слушателей.

В шутке слышится тоска, в смехе – слёзы.

...Дитя, не тянися весною за розой, розу и летом

сорвёшь,

Ранней весною срывают фиалки, помни, что летом

фиалок уж нет...

Банальные модуляции сливаются с тремолирующим, бархатным голо-ском, и неизвестно как и почему, но бесхитростно-ребячливые слова полу-чают какое-то им одним присущее таинственное значение.

Конечно, это не дитя, которое тянется за розой, а кокетливая, низко декольтированная пастушка, взобравшаяся на забор и обнажившая свою стройную ножку в белом чулке...

Долго не отпускали Кузмина с эстрады, и, чем дальше он пел, тем реже звучал в зале смех».

О Михаиле Кузмине, Лёне и квартире Каннегисеров оставил воспомина-ние Георгий Иванов:

«У меня соберутся несколько друзей», – писал он <Л. Каннегисер> в пригласительной записке. И я живо вообразил себе – и этих друзей, так же возвышенно и романтически настроенных, как мой ночной собеседник, и комнату, где они собираются и толкуют об «идеалах», неярко освещённую, полную учёных книг, с портретами каких-нибудь «вождей». <...>

...В обвешенной шелками и уставленной «булями» гостиной щебетало человек двадцать пять. Лакей разносил чай и изящные сладости, копенгагенские лампы испускали голубоватый свет, и за роялем безголосый соловей петербургских эстетов, Кузмин, – захлёбывался:

...Если бы ты был небесный ангел,
Вместо смокинга носил бы ты орарь...

Половину гостей я знал. Другая – по всему своему виду не оставляла сомнения в том, что она из себя представляет: увлекающиеся Далькрозом девицы, дымящие египетскими папиросами из купленных у Треймана эмалированных мундштуков. Молодые люди с зализанными проборами и в лакированных туфлях, пишущие стихи или сочиняющие сонаты. Общество достаточно определённое и достаточно пустое.

Но мой ночной романтик? При чём он тут?

Он плавал, казалось, как рыба в воде, в этой элегантной гостиной. Костюм его был утрированно-изящен, разговор томно-жеманен. Он ничем – если не считать красоты – не отличался от остальных: эстетический петербургский юноша...

Нам философии не надо,
И глупых ссор.
Пусть будет жизнь одна отрада,
И милый вздор...

– оборачиваясь на публику и поплёскивая поощряюще своими странными глазами из-под пенснэ, ворковал Кузмин.

Я подошёл и взял аплодировавшего Каннегисера за локоть.

– Вот уж не думал, что вам это может нравиться.

– Как? Вам не нравится пение Михаила Алексеевича?

– Мне-то нравится. Но с вашими взглядами на жизнь этот «милый вздор» как будто не вполне совпадает...

– Напротив, – он насмешливо раскланялся, – вполне совпадает. Не обижайтесь на меня, – тогда, в «Собаке», я просто вас мистифицировал. Какие там подвиги...».

Пел Кузмин у Лёни и в этот раз. А в уголке этой же роскошной гостиной Сергей договаривался с Лёней о встрече в селе Константинове. Лёня мечтал о путешествии с Есениным, с котомками за плечами, «вдоль Оки до самого Нижнего». Планы их были велики. Пока же у Лёни – студента политехнического института, скоро начинались экзамены. А Сергея ожидал призыв на военную службу...

От этой встречи осталось несколько строк в дневнике М. А. Кузмина: «Были <с Ю. И. Юркуном> у Каннегисера. Очень приятный рояль. Был Ясеин <так в дневнике>. Толку из него не выйдет. <...> ...в общем было всё чинно, но ничего себе. Провожали Юр. <Юркуна>».

Оценка, следующая за фамилией Есенина, не относится к его творчеству. Её смысл, скорее, в нетрадиционной ориентации самого Кузмина.

Не все в Петрограде приняли Есенина.

«Появление светловолосого, светлоглазого, рязанского «пригожего паренька» в Петербурге в годы войны памятно всем, – писал Георгий Адамович, – кто тогда был хоть сколько-нибудь близок к нашим «литературным кругам».

Существует легенда, будто Есенин встречен был с удивлением, с восторгом, – будто все сразу признали его талант. Это только легенда, не более. Восхищён был один Сергей Городецкий, которому Есенин был дорог и нужен, как «дитя народа», явившееся в условно-русском, нарядно-пейзанском обличьи: с кудрями, в голубой шёлковой рубашке, с певучими былинно-религиозными стихами, чуть ли не с гусями под мышкой. Городецкий, довольно неудачно насаждавший «стиль-рюсс» и с первых же месяцев войны восплававший неистовым чернозёмно-черносотенным патриотизмом, увидел в Есенине союзника, соратника: он сам ведь не только подделывался и подлаживался, это же было действительно что-то «от сохи» – и, притом, ничуть не страшное, вопреки тогдашним утверждениям, и, в частности, бунинской «Деревни», недавно прогремевшей, а ласковое, послушное и приветливое. Восторг Клюева не в счёт – ибо Есенин был как бы вторым его изданием. Остальные же хмурились и выжидательно приглядывались. Блок молчал, Сологуб отделался несколькими едкими и пренебрежительными замечаниями. Гумилёв сразу заявил, что Есенин, «как дважды два ясен и, как дважды два, неинтересен», – и демонстративно принимался разговаривать, когда тот читал стихи. Ахматова улыбалась, как будто одобрительно, – но с таким же ледяным светски-любезным равнодушием, как слушала всех, даже Городецкого, стихи которого терпеть не могла. Кузмин пожимал плечами...»

Зашёл Есенин попрощаться и в редакцию «Ежемесячного журнала». Виктор Сергеевич Миролюбов заверил, что подборка его стихов выйдет в ближайших номерах, в мае-июне. Просил ещё присылать из деревни, и Сергей оформил – «в счёт гонорара» – подписку на журнал до конца текущего года.

«29 апреля, – вспоминал Чернявский, – несколько друзей проводили Серёжу на вокзал. Он уехал на родину с «большими ожиданиями», зная, что ещё вернётся и что в Питере он уже начал побеждать. Это радовало и веселило его, он был благодарен каждому, кто его услышал и признал...»

В литературных кругах он сумел стать проблемой дня и предметом прений, ещё независимо от Клюева. <...>

Мы и тогда, думается, чувствовали, что он, Серёжа, этой весной прошёл среди нас огромными и фантастически лёгкими шагами по воздуху, как бьёт во сне; прошёл, найдя немало приятелей (первые десятки из будущих сотен!) и, может быть, ни одного друга; весь ещё в туманности наших иллюзий; золотоволосый крестьянский мальчик, с печатью непонятого обаяния, всем чужой и каждому близкий».

И многого стоит признание самого Чернявского в письме своему другу, поэту Василию Гиппиусу:

«Вчера проводили Сергуньку Есенина. Никто его не развратил, но и не напитал никто. Мы были с ним пусты...».

ГЛАВА ВТОРАЯ

В КОНСТАНТИНОВЕ

1

В Москве Есенин был уже на следующий день. В мясной лавке всё так же трудился его отец Александр Никитич – старший приказчик купца Крылова, а в соседнем, Павловском переулке Сергея ждала жена с четырёхмесячным Юрием.

«В мае этого же года, – вспоминала Анна Романовна, – приехал в Москву, уже другой. Был всё такой же любящий, внимательный, но не тот, что уехал. Немного побыл в Москве, уехал в деревню, писал хорошие письма».

Знакомых московских литераторов, из-за недостатка времени, Сергею встретить не удалось. Только Ивану Репину, здесь же, в Замоскворечье, вписал в альбом: *«Задымился вечер. Дремлет кот на брус...»*.

От станции «Дивово» до села Сергею пришлось устраиваться на попутную подводку: столько книг надарили ему петроградцы. Встреча с матерью и сёстрами была радостной, но столичные новости отодвинулись деревенскими бедами: кроме очередного призыва на войну, на Константиново и соседние сёла – Кузьминское и Федякино, обрушилась эпидемия сибирской язвы (ящура).

Не простой была и встреча со сверстниками:

«По нашему деревенскому обычаю, – рассказывала сестра Катя, – все городские призывники должны были купить вина, называлось это – «положение», и к Сергею явились за «положением». Отказаться нельзя, где хочешь бери, а вино ставь, иначе покалечить могут».

Но чужаком-пришляком в родном селе Сергей себя не считал. Да и горно-столичный ещё не выветрился...

Троюродный брат Сергея – Николка Титов, тоже призывавшийся, писал, что Есенина «...сильно избили, даже гармошка пострадала. Обычай – рекрут, вернувшийся из другого места, ставил водку для всех остальных рекрутов. Он не хотел, и был избит рекрутом из Волхоны Гришкой Рожковым».

Однако сам Есенин в письме А. Добровольскому, секретарю «Нового журнала для всех», описал это в несколько ином свете:

«Дорогой Сашка.

Оттрепал бы я тебя за вихры, да не достанешь. Что ж ты, обещал написать письмо, а сам притулился.

Нехорошо так, брат.

Каждый день хожу в луга и в яр и играю в ливенку. На днях меня побили здорово. Голову чуть не прошибли. Сложил я, знаешь, на старосту прибаску охальную, да один ночью шёл и гузынил её. Сзребли меня сотские и ну волочить. Всё равно я их всех поймаю. Ливенку мою расшибли. Ну, теперь держись. Рекрута все за меня, а мужики нас боятся.

Милый Сашка, пиши скорее да кланяйся Анне Карловне. Помири моих

хулителей. За всех нас дадут по полушке, только б не ходили и не дрались, как телушки».

А в открытке Косте Ляндау Сергей написал о сибирской язве и народных обычаях борьбы с ней. На что Чернявский сообщал Есенину: «Твою открытку, пропитанную сибирской язвой и описывающую неслыханные обычаи, Костя <Ляндау> слишком предусмотрительно сжёг, не дав даже нам прочесть!».

Самое первое письмо после приезда из Петрограда Сергей получил от Николая Алексеевича Клюева, из Вытегорского уезда Олонецкой губернии:

«Милый братик, почитаю за любовь узнать тебя и говорить с тобой, хотя бы и не написала про тебя Гиппиус статьи и Городецкий не издал твоих песен. Но, конечно, хорошо для тебя напечатать наперво 51 стихотворение.

Если что имеешь сказать мне, то пиши немедля, хотя меня и не будет в здешних местах, но письмо твоё мне передадут. Особенно мне необходимо узнать слова и сопоставления Городецкого, не убавляя, не прибавляя их. Чтобы быть наготове и гордо держать сердце своё перед опасным для таких людей, как мы с тобой, – соблазном. Мне многое почувствовалось в твоих словах – продолжи их, милый, и прими меня в сердце своё.

Н. Клюев».

А в деревне продолжались рекрутские гулянья.

«Поздно ночью из Макаровой чайной, где гуляли рекрута, – вспоминала Катя Есенина, – в открытые окна несло чьё-то причитание. Несмотря на поздний час, бабы прибежали послушать, кто кричит? Это Сергей причитал по-бабьи над своим другом детства, который призывался с ним вместе. Бабы плакали под окнами, и рекрута затихли в чайной под его причитание».

Она же вспоминала, как мать приводила его в чувство при отравлении вином: «...стала бить бутылкой по пятке, потом стала бить обе пятки и била до тех пор, пока изо рта Сергея не полилось что-то чёрное, но он всё ещё не шевелился. Железной ложкой ей удалось раскрыть стиснутые зубы, и она влила в рот молоко. Ни единого звука не сорвалось с её уст, пока Сергей лежал без движения, и только когда у Сергея началась рвота, она перекрестилась и заплакала».

«Война к этому времени, – писал есенинский друг Николай Калинин, – унесла из константиновских семей уже не одного кормильца. Был объявлен досрочный призыв в армию (на год раньше срока), по которому все константиновские ребята 1895 года рождения должны были явиться в Рязань 20 мая 1915 года».

На подводе, увозившей новобранцев из села, Сергей сидел рядом с тем самым Андрюшкой Мамоновым, с которым, ещё без штанов, бегал по этой самой матовской улице.

В Рязанском уездном присутствии призывники прошли медицинскую комиссию, и Есенин получил годовую отсрочку от военной службы по зрению.

Возвращение в село, из Рязани пришлось на Вознесенье. Отзвенели по константиновским лугам и буграм рекрутские гулянки. Уже начинали колоситься хлеба и сельчане привычно сажали огурцы и картофель, сеяли лён.

Словно очнувшись от внезапно дарованной свободы, смотрел Сергей на отцветающие сады, на зелёную бахрому на берёзах, на весну в самом разгаре...

Писалось сейчас ему удивительно легко:

*В шапке облачного скола,
В лапоточках, словно тень,
Ходит милостник Микола
Мимо сёл и деревень.*

*На плечах его котомка,
Бичева острей тесьмы,
Он идёт, поёт негромко
Иорданские псалмы...*

Небольшая поэма «Микола» лежала перед ним уже через пару дней.

Об отсрочке от военной службы первым известил он Лёню Каннегисера, приглашая его немедленно выезжать в Константиново.

Впервые решил он попробовать себя и в прозе. Один рассказ у него уже был, но совсем не удовлетворял. Хотелось написать что-либо о нравственной чистоте человека, о его грехах и неизбежной расплате... Назвал он его просто – «У белой воды», так же просто, как и начал:

«Лето было тихое и ведряное, небо вместо голубого было белое, и озеро, глядевшее в небо, тоже казалось белым; только у самого берега в воде качалась тень от ветлы да от избы Корнея Бударки...

Корней Бударка ловил по спуску реки рыбу, а жена его Палага изо дня в день сидела на крыльчке и смотрела то в ту сторону, где, чернея, торчали камни на выветренном месте, то на молочное небо.

Одинокая ветла под окошком роняла пух, вода ещё тише обнимала берег, и не то от водяного зноя, не то оттого, что у неё самой во всём теле как бы переливалось молоко, Палага думала о муже, думала, как хорошо они проводили время, когда оба, прижавшись друг к другу, ночевали на сеновале, какие у него синие глаза, и вообще обо всём, что волновало её кровь.

Рыбаки уплывали вниз по реке с Петрова дня вплоть до зимних холодов. Палага считала дни, когда Корней должен был вернуться, молила св. Магдалину, чтобы скорей наставали холода, и чувствовала, что кровь в ней с каждым днем начинает закипать всё больше и больше. Губы сделались красными, как калина, груди налились, и когда она, осторожно лаская себя, проводила по ним рукой, она чувствовала, что голова её кружится, ноги трясутся, а щёки так и горят.

<...> Она помнила, как она клялась Корнею, что хотя раз оборвешь, то уже без узла не натянешь, и всё-таки, скрывая это внутри себя, металась из стороны в сторону, как связанная, и старалась найти выход...».

Греховность чувства и нравственная чистота волновали Сергея с юности. Ещё шестнадцатилетним, писал он из Москвы своей знакомой, сельской учительнице Марии Бальзамовой:

«Все люди живут ради чувственных наслаждений. Но есть среди них в светлом облике непорочные, чистые, как бледные огни догорающего заката. <...> «Наслаждения, наслаждения!» – кричит <...> бесстыдный, заражённый одуряющим запахом тела, в бессмысленном и слепом заблуждении, дух. <...> Женщина, влюбившись в мужчину, в припадках страсти может отдаваться другому, а потом – раскаиваться».

Так он и «выстроил» свой рассказ: искушение – падение – раскаяние.

Пришло письмо от Лёни, отправленное уже давно:

«Дорогой мой Сергей Александрович,

получил Вашу милую открытку, но так был занят перед последним экзаменом, что всё не мог урвать времени, чтоб написать Вам.

Как же у Вас решилось? Свободны Вы на лето или нет? Если свободны, то пишите мне сейчас, когда думаете отправляться в путь, – я складываю вещи, котомку на плечи, за Вами в Кузьминское – и мы идём вдоль Оки до самого Нижнего. Так мы ведь с Вами решили?

Только ответьте мне, пожалуйста, скорее, а то ведь время идёт.. Или у Вас какой-нибудь новый план?

Хорошо у Вас теперь, верно! Много цветов и зелени, много солнца. Лица уже, верно, загорелые, воздух душистый и тёплый. А в Петербурге сегодня <21 мая> с утра моросил мелкий осенний дождик, и «бледнолицые худосочные девушки тоскливо прижимались к холодным стеклам». Вот ведь обычная картинка нашей милой столицы.

Кузмина не видел я уже дней 10, а потому – что был всё занят: зато я и экзамен хорошо выдержал. <...>

Вообще мало кого вижу. Был раз или два у Сакера. Отнёс им третьего дня перевод французского рассказа, того самого, что мне дали, когда мы были вместе в «Северных записках», если Вы помните.

А как Ваши стихи? Не написали ли чего-нибудь нового? Нет ли чего о Петербурге? Или Вы о нём неохотно вспоминаете? С кем из петербуржцев Вы переписываетесь? Знаю, что Ляндау получил от Вас открытку, а больше ничего про Вас не слышал. Да вот, если Вы хорошо устроились, надеюсь, увижу Вас скоро воочию.

А пока что жду Вашего скорейшего ответа, от души извиняюсь за длинную болтовню и крепко жму Вашу руку.

Искренно любящий Вас Л. Каннегисер».

Рюрик Ивнев прислал Сергею фотографию, где они снялись вместе с Чернявским.

«...Чернявский скоро уезжает в имение. Один я остаюсь в Петербурге, буду, вероятно, жить на даче около города. <...>

Напиши, как твой призыв к военной службе. Все тобой интересуются и помнят тебя».

– Сергей Александрович!

Есенин повернулся в сторону калитки: перед ним стоял... улыбающийся Лёня Каннегисер.

– Лёня?! Как ты меня разыскал?..

– Вы сами говорили, что живёте прямо против церкви...

Горячо и радостно обняв друга, Сергей ввёл его в дом, познакомил с матерью и сестрёнками. Черноволосый и кареглазый гость, высокий и красивый, сразу расположил к себе всех: и своей стеснительной улыбкой, и непривычными здесь благовоспитанными манерами.

Пока Татьяна Фёдоровна хлопотала на кухне, Сергей потащил Лёню к Оке, к любимой часовенке над крутым обрывом и распахнул перед ним этот бесконечный вольный простор: с солнечными изгибами Оки далеко внизу; со сверкающими посреди зелёных лугов озёрами; с зубчатой кромкой лесов на горизонте. И жителю каменного города, тоже поэту, стало ясно, откуда взялось:

*...Не видать конца и края –
Только синь сосёт глаза...*

И лишь Катя, прибежавшая за ними, с большим трудом увела их домой. Тут-то и узнал Лёня, как «пахнет рыхлыми драчёнами». Посреди стола, в сковородке, шкворчала запеканка из пшённой каши с яйцами. Да и ситный хлеб был не из булочной Филиппова, а свой – свежий, ароматный.

После обеда они уединились в амбаре, где Сергей жил, сбежав от домашних. На лежанке, пахнущей сеном, он звонко читал Лёне только что написанного «Разбойника»:

*Стухнут звёзды, стухнет месяц,
Стихнет песня соловья,
В чернобылье перелесиц
С кистенём засяду я.*

*У реки под косогором
Не бросай, рыбак, блесну,
По дороге тёмным бором
Не считай, купец, казну!..*

О приезде Лёни вспоминала младшая сестра Есенина – Шура:

«...приехал с одним из своих товарищей, имя которого показалось мне необыкновенным – Леонид. Я никак не могла решиться выговорить это имя и называла его «Эй, ты». Мать делала мне замечания, смеялся Сергей, улыбался Леонид, а я старалась не обращаться к нему, а когда мама посылала меня позвать его к обеду или ещё зачем, я снова называла его «Эй, ты» и старалась убежать и спрятаться.

В этот приезд свой Сергей привёз мне огромный разноцветный мяч в сетке, а Кате много ярких разноцветных шёлковых лент и бусы.

Через день наступила Троица. В церкви, украшенной берёзками и заполненной нарядными сельчанами с букетиками цветов в руках, отец Иван

торжественно служил обедню. Согласно пел хор, создавая общее праздничное настроение.

Берёзками была украшена и горница Есениных, где на столе кипел самовар, а в открытые окна вместе с тёплым, почти летним воздухом вливался праздничный звон колоколов. В эти дни, такие шумные и радостные, набродились Лёня с Сергеем по лугам и буграм, насиделись у костров, наслушались тальянки и частушек в пёстрых весёлых хороводах.

В большое путешествие с Лёней Сергей так и не собрался, но всё же сводил его пешком до Рязани. По пути они посетили Богословский монастырь, знаменитый тем, что он уцелел во время татаро-монгольского нашествия. Стройная изукрашенная колокольня монастыря привела Лёню в восторг. С монастырской горы хорошо была видна Рязань, находившаяся за сорок вёрст. А под монастырской стеной они пили воду из чудотворного родника.

Наибольшее же впечатление произвёл на Лёню древний рязанский кремль, величаво стоявший на высоком мысу при слиянии двух рек: Трубеж и Лыбедь.

Перед отъездом из Константинова Лёня взял у Сергея несколько стихотворений для петроградских изданий. Пока же, продолжая путешествие, он намеревался через Тулу и Орёл добраться до Брянска и Чернигова.

4

Письмо от Володи Чернявского Сергей обнаружил только после отъезда Лёни: «Милый друг Сергуня, всё время хранил о тебе хорошую память, но сам знаешь, как беспутно живут твои петербургские знакомцы, а потому и извинишь, что я тебе не писал и не прислал тебе карточек, что, я надеюсь, сделал Рюрик. Теперь, сдав свои экзамены и оставив на платформе много известных и неизвестных тебе физиономий, приехал в волынское поместье моей тётки и живу в тоске, потому что здесь довольно мрачно, а главное, одиноко: людей моего возраста и моих интересов нет вовсе, не с кем перекинуться словом и впечатления последних белых ночей ещё не сгладились, кровь и нервы ещё полны ими и покоя не хочется. <...>

...девушки здесь красивые, и мне очень досадно, что я даже и заговорить с ними не умею, и вообще испорченному городскому существу нет пути к простому, цветущему, здоровому и «почвенному», чего именно иногда так хочется! Тут бы ты пригодился очень и многому бы верно научил, а с тобой и не стыдно, и просто – потому что есть путь сближения сквозь общий наш интерес – литературу, в которой ты, положим, «хозяин», а я вроде нахлебника. Мне хотелось бы знать, чем разрешился вопрос о твоей воинской повинности; надеюсь, напишешь словечко. <...>

Так я буду ждать от тебя письма и сведений о себе и непременно тебе отвечу, милый друг. Мы с тобой мало видались в Питере, но ты, я думаю, знаешь, что я к тебе очень дружески отношусь и рад был, что ты встретился на моём пути. Пиши, что подельваешь, чем живёшь. Твой Владимир Ч.».

Из Петрограда пришёл журнал «Голос жизни». Стихам Клюева отвели там целых две страницы. Прочтя их, Есенин как бы повстречался с поэтом: мудрым, ярким, с особенным языком, отличающимся от рязанского...

Уже хоронится от слезки
Прыскающий заяц... Синь и стыть,
И нечем голые колешки
Берёзке в изморозь прикрыть.

Лесных прогалин скатерётка
В черничных пятнах, на реке
Горбуньей-девушкой лодка
Грустит и старится в тоске...

А венчала подборку строгая северная картина:

На тёмном ельнике стволы берёз –
На рытом бархате девические пальцы.
Уже рябит снега и слушает откос,
Как скут струю ручья невидимые скальцы...

А вот майский «Ежемесячный журнал» не принёс радости. Напрасно листал Сергей толстый – в сто шестьдесят страниц! – номер. Были здесь Клычков и Клюев. Вот – «Арктур», стихотворение Городецкого, которое Сергей вместе со своими стихами передавал редактору Миролюбову. Не было только его...

Лишь небольшим утешением стал список постоянных авторов, в конце журнала, где всё же значилось – «С. Есенин».

5

Из далёкого Туркестана прибыл в Петроград в отпуск Александр Ширяевец. «Поэт из народа», как и Есенин, он начал печататься в столице раньше и был здесь уже известен. Своё первое впечатление о городе он выразит позже стихами:

В туманном утре Невским я иду
И сам себе не верю: вот так штука! –
Куда хватил!.. А если не найду,
Кого мне надо?.. То-то будет мука, –
Знакомых ни души!
Впились глаза
В невиданно-роскошные витрины.
Корабль... Нева... И дух мой занялся,
Как Медного увидел Исполина!

Устроился Ширяевец в дешёвых номерах Протасовой на Пушкинской улице. Лично знакомых у него не было, но имелось несколько адресатов его многолетней переписки. В «Ежемесячном журнале» у Миролюбова он сразу же получил за свои стихи аванс. Нашёл квартиру Городецкого. Сергей Митрофанович рассказал ему о Клюеве и Есенине, которых не было в Петрограде, показал их портреты, своей собственной работы. Городецким Ширяевец был очарован.

Радушно приняли его и Мережковские. Через пару дней Зинаида Гиппиус писала ему в гостиницу:

«Многоуважаемый Александр Васильевич. Из оставленных вами пяти стихотворений я хочу оставить для «Голоса жизни» – четыре, которые мне очень нравятся. <...>

Мне очень жаль, что вы не захотели посидеть с нами, вы бы рассказали мне побольше о себе, посмотрели бы на наших столичных «поэтов». Ну, не беда, может, и лучше не смотреть на них. А когда уедете к себе – пишите мне иногда и присылайте стихи...»

Сергей Городецкий навестил Ширияевца в гостинице и вписал ему в альбом стихотворный экспромт:

«Как из дальнего Чарджуя
В дымный, пыльный Петроград,
Силу в жилушках почуя,
Прилетел детина-брат.
Во плечах – косяя сажень,
Грудь – рудого бурлака.
Нравом кроток и отважен,
Словно Волга, мать-река.
Ведь она его вспоила,
Песен в душу налила,
Звонкогласая та сила
От неё в него вошла.
Что с ней делать – он не знает.
Словно нехотя, поёт.
То судьбину проклиная,
То от радости орёт.
Не робей, певец-детина!
Я уж старый воробей,
И прошу тебя, как сына:
Песни пой и не робей!

Сергей Городецкий. 26-V. 915.

Петроград, номера Протасовой на Пушкинской».

Александр Ширияевец очень желал встретиться со своим любимым поэтом Блоком (хотя литератор Тиняков уверил его, что Блок никого не принимает) и направил ему следующее письмо:

«Глубокоуважаемый Александр Александрович, не откажите в просьбе надписать эту книгу стихов Ваших о России. Я глубоко уважаю Вас за них, и вообще люблю Вашу поэзию. Мне страшно хочется иметь Ваш автограф – если можете, прошу исполнить мою просьбу. Я уже писал Вам, но Вы не ответили. Больше надоедать не буду, так как сегодня уезжаю в Азию (около 5000 вёрст отсюда), где, наверно, и подохну. Имею автографы З. Гиппиус и Д.С. Мережковского, надеюсь, и Вы не откажете. Напишите хотя бы в таком духе: «убирайтесь к чёрту»... С совершенным почтением Александр Ширияевец».

Позже, в письме В. Миролюбову, Ширияевец так описал попытку этой встречи: «...Знакомство моё с г. Блоком кончилось тем, что, после нескольких писем к нему и вызовов по телефону, я, явившись к нему, поторчал в прихожей, и горничная вынесла мне книгу его «Стихи о России», которую я купил в магазине и с которой явился к их степенству, с просьбой дать автограф. Автограф-то в книге был, но автора видеть не сподобился... Мерси и на том, что увидел горничную знаменитости...».

Отказ Блока от встречи сильно задел Ширияевца. Вернувшись из Петрограда в Туркестан, он писал Тинякову: «Шлю привет из экзотической Бухарщины! В Питере Блоки, а здесь скорпионы, фаланги и проч. и проч.».

Осенью 1916 г. он всё же послал Блоку свой сборник «Запевка» с надписью: «Александру Александровичу Блоку в память приветливого приёма Александр Ширияевец. 1916 г.».

В том же письме В. Миролюбову Ширияевец писал:

«...В Питере я пробыл около трёх недель. Очень сожалею, что не успел забежать к Вам на несколько минут проститься. Всё время я чувствовал себя там растерянным, всё время находился в каком-то обалдении от всего виденного и всё время изыскивал способы достать «презренного металла», ибо на дорогу не оставалось ничего, а дорога стоила (только обратно) свыше 40 рублей».

«Я СТРАННИК УЛОГОЙ...»

1

«Дорогой Володя! – писал Есенин Чернявскому. – Радёхонек за письмо твоё. Жалко, что оно меня не застало по приходе. Поздно уже я его распечатал. Приезжал тогда ко мне Каннегисер. Я с ним пешком ходил в Рязань, и в монастыре были, который далеко от Рязани. Ему у нас очень понравилось. Всё время ходили по лугам, на буграх костры жгли и тальянку слушали. Водил я его и на улицу. Девки ему очень по душе. Полюбилось так, что ещё хотел приехать. Мне он понравился ещё больше, чем в Питере. Сейчас я думаю уйти куда-нибудь. От военной службы меня до осени освободили. Сперва было совсем взяли.

Стихов я написал много. Принимаюсь за рассказы. 2 уже готовы. Каннегисер говорит, что они ему многое открыли во мне. Кажется, понравились больше, чем надо. Стихов ему много не понравилось, но больше восхищало. Он мне объяснял о моём пантеизме и собирался статью писать.

Интересно, чёрт возьми, в разногласии мнений. Это меня не волнует, но хочется знать, на какой стороне Философов и Гиппиус. Ты узнай, Володя. Меня беспокоит то, что я отослал им стихи, а ответа нет.

Черновиков у меня, видно, никогда не сохранится. Потому что интересней ловить рыбу и стрелять, чем переписывать.

За июнь посмотри «Северные записки». Там я уже напечатан, как говорит Каннегисер. Жду только «Русскую мысль». Читал в «Голосе жизни»

Струве. Оба стиха понравились. Есть в них, как и в твоих, «холодок скептической печали».

Стихов я тебе скоро пришлю почитать. Только ты поторопись с ответом. Самдели уйду куда-нибудь.

Милый Рюрик! Один он там остался!

Городецкий мне всё собирается писать, но пока не писал. Писал Клюев, но я ему всё отвечать собираюсь. Рюрику я пишу, а на Костю осердился. Он не понял как следует. Коровы хворают, люди не колют. Вот стишок тебе один.

*Я странник улогой
В кубетке сырой.
Пою я про Бога,
Как сыч за горой.*

*На шёлковом блюде
Опада осин.
Послушайте, люди,
Ухлюпы трясин...*

Извести меня, каковы стихи, и я пойму о других. Перо плохое. Чернила высохли. Пишешь, только болото разводишь. Пока прости.

Любящий тебя Серёжа».

Литератор и критик Зоя Дмитриевна Бухарова 11 июня поместила в газете «Петроградские ведомости» статью «Новые пути русского искусства», в которой не только радовалась появлению нового юного таланта, но и предостерегала его.

Подчеркнув, что внимание городской зрительской и читательской публики «сейчас нераздельно отдано деревне», она отметила: «...в поэзии произведения бытового духа стали на первое место и внесли в наши затхлые журналы обновленную свежую струю здоровых, новых и в самой этой новизне всё же старых, родных веяний.

В последнем отношении литературный Петроград был недавно обрадован милым, неожиданным явлением.

С целью лично ознакомиться с нашими художественными течениями и их представителями из Рязанской губ. приехал 19-летний крестьянин-поэт С. Есенин. Печататься он начал уже раньше, но серьёзное внимание, как и на всё деревенское, на него обратили у нас только теперь. Отдельные кружки поэтов приглашали юношу нарасхват; он спокойно и сдержанно слушал стихи модернистов, чутко выделяя лучшее в них, но не увлекаясь никакими футуристическими зигзагами. Стихи его очаровывают прежде всего своей непосредственностью; они идут прямо от земли, дышат полем, хлебом и даже более прозаическими предметами крестьянского обихода. И эта трогательно наивная заключительная строфа:

*А в окне на сени скатые,
От пугливой шумоты,*

*Из углов щенки кудлатые
Заползают в хомуты.*

Вот поистине новые слова, новые темы, новые картины!..

И как недалеко надо ходить за ними! В каждой губернии целое изобилие своих местных выражений, несравненно более точных, красочных и метких, чем пошлые вычурные словообразования Игоря Северянина, Маяковского и их присных.

У Есенина много стихов, и все они на те же родные поэту темы, и все они – безусловно легки и музыкальны. Заинтересованный читатель может найти их в некоторых ежемесячных и еженедельных журналах. Рязанский юноша, как справедливо отметил один критик <З.Н. Гиппиус>, – типично современный поэт: он прежде всего «видит», а потом уже чувствует, скажем даже... чувствует и сознаёт он гораздо меньше, чем видит. Школа новых поэтов с этой стороны слишком вещественна, материальна и рискует впасть в голую фотографичность, что иногда уже и случается. Чувство в искусстве обязательно и неизбежно так же, как в жизни, и новые поэты, изгоняя его из своего творчества, выражают всю нашу заблудившуюся, печальную, «довоенную» современность.

Оставаясь только наблюдателем, только зрителем родного быта, Есенин может иссушить душу, обесплодить своё несомненное дарование. Хочется предостеречь его от этих опасностей...».

Добралось до Константинова и письмо Городецкого, отправленное им ещё в начале июня:

«Сердце моё Сергун!

Письмо твоё получил, но в суматошной здешней каторге не нашёл тихого часа, чтобы побыть с тобой письменно. Много о тебе думаю и радуюсь, в тёмные свои дни, что ты еси. Ради Бога, не убейся о немцев, храни тебя твой Иисус! Будь внутри себя крепок, тогда ничто, верю, не возьмёт. Пиши часто, всё туда же. Я ещё здесь побуду.

В «Русскую мысль» твои стихи приняли с удовольствием, как и везде. Пошли ей свой адрес.

Очень я смеялся, как ты с ливенкой набуянил. За стихи мне целую, родной; оплачу вскоре тем же. Был здесь Бальмонт. Показывал ему твои портреты и стихи. Где нищий даёт Богу хлеб, – понравилось чрезвычайно. Карточка наша с тобой отличная. Завтра отправлю тебе непременно. Приехал Ширяевец. Тяжеловат и телеграфом пахнет. От города голову потерял. Снялись мы с ним, два каторжника – взгляни сам.

Напиши мне, в каком ты полку будешь. Всё мне кажется, что я на тебя не нагляделся и стихов твоих не наслушался. *Пришли мне книжку свою теперь же* <рукопись «Радуницы»>, хоть как она есть. Будь здоров, весел и певуч, не забывай про меня. Целую тебя нежно. Не влюблен я в тебя, а люблю здорово.

Твой Сергей».

Когда Есенин писал Чернявскому, что «принимается за рассказы», он считал рассказами те истории и зарисовки деревенской жизни, что были написаны им. Но то, что ему хотелось выразить, из этих писаний никак не складывалось. Хотелось показать читателю (особенно петроградскому) настоящую рязанскую деревню, о которой тот и понятия не имеет.

Правда народной жизни и тяжкая судьба мужика-труженика волновали Сергея с юношеских лет, ещё в спас-клепиковской школе. В его ранних стихах мы читаем:

*Тяжело и прискорбно мне видеть,
Как мой брат погибает родной.
И стараюсь я всех ненавидеть,
Кто враждует с его тишиной.
Посмотри, как он трудится в поле,
Пашет твёрдую землю сохой,
И послушай ты песни про горе,
Что поёт он, идя бороздой...*

И он чувствовал, что лучше сможет сказать об этом не в стихах, а в большом, как бы открывающем мир крестьянской жизни изнутри, повествовании. Мысль эта настолько завладела им, что уже сама что-то искала, находила, отвергала, о чём-то догадывалась...

Беспросветная, тяжелая жизнь была для него сравнима с глухой чащобой; с высокими, загадочно шумящими соснами, скрывающими небо; с болотными топами, в дебрях которых, сопровождаемые бедностью, мраком и беспорядком, гибнут люди. Вот почему именно здесь, а не на солнечных берегах Оки, хотел бы он показать стремление людей вырваться из этой дремучей, застойной жизни, стремление спастись от гибели.

Этот заброшенный лесной край, расположенный поблизости, в народе называли – «Яр». Так же решил он назвать и свою повесть.

Места эти Сергей хорошо знал с детства. Выше Константинова, на луговой стороне Оки, стоял на опушке леса хутор «Белый Яр», принадлежавший помещику Кулакову. В полутора верстах от него, на берегу Оки, тоже на опушке, находилась мельница. А в пяти верстах от хутора, в глубине леса, стояла сторожка, где жили лесные сторожа. Так, постепенно, определялся и вызревал у Есенина замысел повести...

Долгожданное письмо от путешественника-Лёни пришло из Брянска: «Дорогой Серёжа, вот уже почти 10 дней, как мы расстались! А кажется, что ещё гораздо больше: я был в разных местах и от этого время всегда как-то растягивается и представляется более долгим, хотя и проходит скорее.

А был я – в Туле, в Ясной Поляне, в Орле и целых 5 дней провёл в Брянске, где сначала ждал денег, а потом парохода. Теперь я дождался и того и другого и сегодня ночью отбываю в Чернигов. Дальнейшие мои намерения ещё не выяснены, а мой адрес – даю тебе в Чернигове; пиши туда до востребования.

Как твои дела? Не уехал ли в Москву? Пишешь ли? Я бы очень хотел повидать тебя опять поскорее, т. к. за те дни, что провёл у тебя, – сильно к тебе привык. Очень мне у вас было хорошо! И за это вам – большое спасибо!

Через какую деревню или село я теперь бы ни проходил (я бываю за городом) – мне всегда вспоминается Константиново, и не было ещё ни разу, чтобы оно побледнело в моей памяти или отступило на задний план перед каким-либо другим местом. Наверное знаю, что запомню его навсегда. Я люблю его.

Ходил вчера в Свенский монастырь; он в нескольких верстах от города, на берегу Десны. Дорога ведёт по возвышенной части берега, но она пыльная, и я шёл стёжками вдоль реки и, конечно, вспоминал другую реку, другие стёжки по траве и рядом со мною – босого и весёлого мальчика. Где-то он теперь? И вспоминает ли также и он небритую и загорелую физиономию спутника, не умевшего лазить по горам, но любовно запоминавшего «Улогого» и «Разбойника»...

И теперь, когда мне грустно или весело, я вспоминаю и говорю их про себя, а иногда и громко, и жалею, что не запомнил ничего, кроме них. Если написал новые стихи, то, пожалуйста, пришли в Чернигов. Я знаю, что ты ленив, но всё же очень надеюсь, что напишешь мне сейчас письмо; я бы хотел, чтобы оно застало меня ещё там, впрочем, даже если оно придёт после моего отъезда, – мне пошлют его вдогонку: я оставляю на почте свой адрес. Передай, пожалуйста, сердечный привет Татиане Фёдоровне, Кате, Шурочке и Лене, а тебя очень целую и жму руку.

Твой Л. Каннегисер».

«Ежемесячный журнал», наконец-то, напечатал его стихи: «Сыплет черёмуха снегом...», «Троица»... Вот и «Девичник», отобранный для печати самим А. Блоком:

*Я надену красное монисто,
Сарафан запетлю синей рюшкой.
Позовите, девки, гармониста,
Прощайтесь с ласковой подружкой.*

*Мой жених, угрюмый и ревнивый,
Не велит заглядывать на парней.
Буду петь я птахой сиротливой,
Вы ж пляшите дробней и угарней...*

На этой же странице словно перекликалось с Есениным темой несчастливой любви стихотворение Александра Ширяевца:

Разлюбить тебя не было силы,
И пошёл я к цыганке седой
Угадать: назовёшь меня милым
Иль погубишь мой век молодой...

Стоял июль – горячее покосное время. Полсела переехало за Оку в луга. Как всегда, делил перед покосом крестьянские выги на делянки самый справедливый в Константинове, Мысей Софронов.

Среди сельчан он считался странным. Имел, вместе с сыновьями, большое и справное хозяйство. В страдную пору всегда работал за троих. Зато в остальное время – даже зимой – Мысей обитал в лесу, в землянке возле Макарова угла. Питался рыбой, на которую выменивал хлеб на мельнице, на Яру, в двух верстах от своей землянки.

После жаркого дня, под храп деда в покосном шалаше, хорошо думалось Сергею, лёжа на пахучей травяной подстилке...

Пусть в его повести про Яр будет Мысей, но не рыбаком, а вольным охотником... Имя его будет – Константин... Константин... Карев!.. И встретит он в этом лесу... Олимпиаду.

Олимпиада была снохой деда Акима Титова, жила в Матово всего через шесть дворов от деда Фёдора, и маленький Сергунька часто прибегал к ней. Голубоглазая и румяная, с грудным голосом и чуткой душой, она очень нравилась ему. Выросла Олимпиада в лесной сторожке брата и казалась таинственной лесной русалкой...

Возвратившись после покоса домой, Сергей известил издательницу «Северных записок» С. Чацкину, что пишет прозу для её журнала, и приложил к письму несколько стихотворений. Он интересовался, когда появится в печати его поэма «Русь», и просил выслать в Константиново журнал с поэмой и гонорар за неё.

А в присланном журнале – «Голос жизни», на первой же странице было объявление о прекращении издания. Это его очень расстроило, поскольку с журналом, впервые рассказавшем о нём и его стихах Петрограду, он связывал большие надежды...

«Дорогой Володя! – отвечал Есенин Чернявскому. – Порадуйся со мной вместе. Осенью я опять буду в Питере. К адресу ты прибавь ещё село Константиново. Письмо я твоё получил на покосе, поэтому писать мне было негде. Стихов я тебе пришлю тут как-нибудь скоро. Я очень жалею, что «Голос жизни» закрылся. Знаешь ли ты причины? В «Ежемесячном журнале» Миролубова были мои стихи. Городецкий недавно прислал письмо, но ещё почему-то не отвечает, по-видимому, он очень занят. Это письмо пока предварительное. Я ведь жду от тебя полного ответа. Как Костя и Рюрик? Видел ли их?

Любящий тебя крепко С. Есенин».

Если раньше газеты и журналы получали в Константинове только барин Кулаков и священник, а сельчане посылали письма чаще «с оказией», то теперь почтальонка заходила в есенинский дом почти ежедневно.

Тихой укORIZНОЙ прозвучало для Сергея письмо от Клюева:

«Что же ты, родимый, не отвечаешь на мои письма? Мне бы хотелось узнать, согласен ли ты с моим пониманием твоих стихотворений: я читал их в «Голосе жизни» и в «Ежемесячном журнале»... Читал ты в № 20 «Голоса жизни» мои стихи и что про них скажешь? Я очень люблю тебя, Серёжа, заочно – потому что слышу твою душу в твоих писаниях – в них жизнь не вольно идущая. Мир тебе и любовь, милый. Адрес: Мариинское почтовое отделение, Олонецкой губернии, Вытегорского уезда. Николаю Клюеву.

Любящий тебя светло, остаюсь в ожидании.
Я живу в большой скорби».

Пришёл скорый ответ и из журнала «Северные записки»:

«Дорогой Сергей Александрович, очень мы обрадовались Вашему письму и тому, что Вы нам рассказ пишете. Ваша «Русь» печатается в июльской книжке и на днях появится. Тогда пришлём Вам и книжку и денег. А те стихи, которые Вы теперь прислали, нам меньше по душе и печатать их нам не хочется. Пришлите новые, когда будут. <...> Крепко жму Вашу руку. Яков Львович Вам сердечно кланяется.

Ваша С. Чацкина.

Р. С. Надеюсь, что привезёте нам песен и сказок. Я часто вспоминаю Ваше пенье».

Издатель «Ежемесячного журнала» Виктор Сергеевич Миролюбов довольно неожиданно и строго выговорил Есенину, увидев его стихи напечатанными в журнале «Русская мысль»:

«Дорогой Сергей Александрович!

Прислали бы вы нам стихов. То, что можно было пустить, пустил. <...>

Вас тянет в 15-рублевые журналы. Там лучше платят. Но Есениным не следует забывать и нашего подписчика.

Душевно желаю Вам всего лучшего.

В. Миролюбов

Всюду бросать свои стихи, как это делают наши питерские поэты, людям из народа не следует.

В августе идут «Выткался на озере» и «Пастух».

Этому же Миролюбову, в свою очередь, очень тепло отозвался о есенинских стихах Николай Клюев:

«Дорогой Виктор Сергеевич.

Низко Вам кланяюсь, желаю здоровья и в делах Ваших скорого успеха. Журнал получаю и восхищаюсь им каждономерно. Какие простые неискusstvenные песенки Есенина в июньской книжке – в них робость художника перед самим собой и детская, ребячья скупость на игрушки-слова, которые обладателю кажутся очень серьёзной вещью».

Как только Сергей уединялся в своём амбарчике, окружающее отступало, и при скупом свете керосиновой лампы писал он ночи напролёт...

Он хотел, чтобы красота родной рязанской природы, правда характеров, привлекали интерес читателя, чтобы, через живой, богатый народный язык, захватывали его с самого начала повести:

«По оконцам кочкового болота скользили волки. Бурый вожак потянул носом и щёлкнул зубами. Примолкшая ватага почуяла добычу.

Слабый вой и тихий панихидный переклик разбудил прикурнувшего в дупле сосны дятла.

Из чапыги с фырканием вынырнули два зайца и, взрывая снег, побежали к межам.

По коленкоровой дороге скрипел обоз; под обротями тропыхались вяхири, и лошади, кинув жвачку, напрянули уши.

Из сетчатых кустов зловеще сверкнули огоньки и, притаившись, погасли.

– Волки, – качнулась высокая тень в подлунье.

– Да, – с шумом кашляли притулившиеся голоса.

В тихом шуме хвои слышался морочный ушук ледяного заслона...

Ваньчок на сторожке пел песни. Он сватал у Филиппа сестру Лимпиаду и, подвыпивши, бахвалился своей мошной...».

«Ваньчок» появился с первых же страниц. Такое прозвище носил женатый, но бездетный, хитрый и плутоватый матовский сосед Иван Яковлевич Ефремов. Он перепродавал в округе кадушки, лопаты, грабли, ложки и прочие деревянные изделия, купленные им в Спас-Клепиках. Случалось и Сергею ехать из дома в Спас-Клепики с Ваньчком на лошадях. Как и есенинский персонаж из повести, был он весьма пристрастен к выпивке.

В повесть вошли случаи из жизни односельчан и близких, их характеры; обряды и обычаи, песни и сказки.

В Константи́не Каре́ве, готовом пожертвовать многим ради счастья других, видел Сергей и своего отца, кроткого и всепрощающего. Карев строит в глухой деревне школу, помогает крестьянам отсудить незаконно захваченный помещиком «Пасик» <овраг с лесом>. Он не удовлетворён своей жизнью, твёрдо намерен покинуть Яр, уговаривая уйти с ним и полюбившую его Лимпиаду...

Соседу Есениных, деду Иену, шутнику и балагуру, работавшему на барском дворе, придал Сергей и некоторые черты любимого деда Фёдора, даже то, как ходил дед в Питер на заработки и гонял по Неве баржи с дровами.

4

«Милый Сергун мой, друг любимый, – писал Есенину Городецкий. – Твоё чудесное письмо обрадовало меня очень перед отъездом сюда, в Крым. Но я такой был усталый и пыльный, что ничего не мог бы тогда передать из того, что чувствовал. Мне всё ещё нова радость, что ты есть, что ты живёшь, вихрастый мой братишка. Так бы я сейчас потягал тебя за вихры кудрявые! Я тебе не скажу, что ты для меня, потому что ты сам знаешь. Ведь такие встречи, как наша, это и есть те чудеса, из-за которых стоит жить.

Был я в Москве. Молва о тебе идёт всюду, все тебе рады. Ходят и сказки. Вчера здесь мне рассказывали, как ты пришёл в лазарет к солдатику, а там тут как тут Серафима Павловна Ремизова. Она тебя хватъ и на извозчика,

во все редакции отвезла и представила. Вот какой ты знаменитый. Только ты головы себе не кружи этой чепухой, а работай потихоньку, поспокойней. Я к концу этого месяца буду в Петрограде, М. Посадская, 14. Ты мне туда и напиши длинное письмо, а сюда Судак, дача Суковой, Таврической губ., напиши сейчас же хоть два слова о себе, как здоров, что работаешь. Я здесь уже две недели, и всё ещё ничего не делаю. Не по мне тут. Ведёшь ли список своих стихов и составил ли книжку? Будь весел и крепок, пой за двоих, за себя и за меня. Целую тебя, как люблю. 7 авг. 915.

Твой Сергей».

В повести Есенина нашли своё место недавний падёж скота и «сибирка». Описал он и старинный обряд «опахивания» села.

А сцены крестьянского бунта, убийства помещика и ареста деда Иена показывали бурные события даже в таком глухом и заброшенном лесном крае, как Яр. Ради справедливости и свободы, мужиков и баб не страшили ни ссылка, ни Сибирь, желанные перемены в будущей жизни крестьянской Руси казались Сергею неизбежными... Конец повести был для Есенина непростым: он сжился уже со своими героями, а приходилось расставаться... Не в силах оставить Яр, так и не решившись идти вместе с Каревым, отравилась Лимпиада...

Гибнет от руки всё того же Ваньчка и сам Карев. Бросив вызов всем тёмным силам Яра, он так и не сумел уйти из него...

«...Вечерело. Карев ходил набрать грибов. Заготовливал на отход.

Шёл с грустной думой о Лимпиаде и незаметно подошел к дому.

В хате светился огонь и на полу сырой картошкой играл кот.

На крыльце он увидел тёмную тень и подумал, что его кто-то ожидает.

Прислонённая к перилам тень взмахнула ружьём.

«Филипп, – подумал Карев, – на охоту, видно, напоследок зовёт...»

Грянул выстрел и почуял, как что-то кольнуло его и разлилось теплом.

Упал... по телу пробегла дрёмная слабость. Показалось ещё теплее, но вдруг к горлу хлынуло как бы расплавленное олово, и, не имея силы вздохнуть, он забился, как косач.

Стихало... От дороги слышались удаляющиеся шаги. Месяц, выкатившись из-за бугра долины, залил лунью крыльцо и крышу.

– Ку-гу, ку-гу... – шомонила за мельницей сова».

По свидетельству сестры Есенина – Кати, Сергей говорил при ней своему другу Тимоше Данилину, что работал над этой повестью восемнадцать ночей.

5

Сергей долго не решался обратиться с просьбой к Дмитрию Владимировичу Философову. Но время шло... приближалась осень...

«Дорогой Дмитрий Владимирович. Мне очень бы хотелось быть этой осенью в Питере, так как думаю издавать две книги стихов. Ехать, я чувю, мне не на что. Очень бы просил Вас поместить куда-либо моего «Миколая Угодника». Может быть, выговорите мне прислать деньжонок к сентяб-

рю. Я был бы очень Вам благодарен. Проездом я бы уплатил немного в университет Шанявского, в котором думаю серьёзно заниматься. Лето я шибко подготавливался. Очень бы просил Вас. В «Северных записках» и «Русской мысли», боюсь, под аванс сочтут за шарамыжничество. Тут у меня очень много записано сказок и песен. Но до Питера с ними пирогов не спекёшь. Жалко мне очень, что «Голос жизни»-то закрыли. Жду поскорю ответа. Может быть, «Современник» возьмёт. Любящий Вас

Есенин».

Объявление в газете «Рязанский вестник» о выходе журнала «Северные записки» с поэмой «Русь» Сергея Есенина он увидел случайно. А на другой день получил из Петрограда и журнал, и гонорар за поэму. Она заняла там целых три страницы.

«ПРИЕЗЖАЙ НЕМЕДЛЯ...»

1

Закончив повесть, Сергей принялся наконец за стихи:

*Белая свитка и алый кушак,
Рву я по грядкам зардевшийся мак.*

*Громко звенит за селом корогод,
Там она, там она песни поёт.*

*Помню, как крикнула, шигая в сруб:
«Что же, красив ты, да сердцу не люб.*

*Кольца кудрей твоих ветрами жжёт,
Гребень мой острый другой бережёт»...*

Так, в творческих трудах и новых песнях, и летело лето. Недаром писал он Мише Мурашёву: «У вас хорошо в Питере, а здесь в миллион раз лучше».

Пришёл ответ и из журнала «Русская мысль»:

«Милостивый Государь!

Стихи Ваши («Инок», «Калики» и «Вечер») напечатаны в июльской книжке.

Извещение о том, что они приняты, было давно послано Вам по петербургскому адресу и было возвращено почтой».

Дмитрий Философов немедленно откликнулся на просьбу Есенина помочь ему с печатанием поэмы «Микола»:

«Сергей Александрович.

Стихи Ваши «Микола» я отправил сегодня, при письме, редактору «Биржевых ведомостей».

О судьбе их я Вас извещу.

Душевно Ваш Д. Философов».

В своём письме к редактору этой газеты он писал: «...прилагаю стихи Сергея Есенина, с его письмом на моё имя».

Стихи этого талантливого поэта из народа печатались уже в «Русской мысли» и «Северных записках».

Уже через три дня петроградцы читали «Миколу» в своей «Биржевке».

2

В 1915 г. Николай Алексеевич Клюев жил со своим отцом в деревне Рубцево, куда перебрались они недавно. О жизни Клюева можно судить по его письму к Ширяевцу:

«...Получил ли ты с «Ежемесячного» что и поскольку за строку? Пишу это потому, что очень нуждаюсь. Мама умерла; на руках у меня 70-летний отец, пеку и варю сам, мою пол, стираю – всё это надбавка к моей лямке...».

Сообщает он о своих трудах и нуждах и петроградскому критику Измайлову:

«Дорогой Александр Алексеевич, извините, что долго не отвечал на Ваше письмо, где Вы упоминаете о моём портрете.

Не отвечал я потому, что был в отлучке в другом уезде по сплаву лесных материалов, а теперь сенокос – всё недосуг, да к тому же я один по избяным и по протчим делам, а портретов у меня нет. Приеду в Петроград в сентябре, снимусь и почту за удовольствие преподнести Вам свой портрет – за великую честь считаю иметь в свою очередь и Ваш.

Я писал в контору «Биржевых ведомостей», чтобы мне выслали деньги за стихи: «Мирская дума», «Кабы я не Акулиною была», «Поминный причит», «Речная сказка», «Слёзный плат» и «Рыжее жнивье», но оттуда ни слуху, ни духу, а деньги мне нужны – они дадут мне возможность съездить в Питер – на эту полочку вся моя и надежда.

Мне стыдно Вас беспокоить, но и на этот раз будьте добры посодействовать высылке мне за упомянутые стихи по 50 коп. за строчку. Страшно бы хотелось повидаться с Вами.

Известный Вам Николай Клюев».

В Петрограде Клюев надеялся и на встречу с Есениным, уже успевшим своими стихами глубоко запасть в его душу. Он хорошо понимал все столичные опасности для юного «рязанца» и хотел бы защитить его. И передать ему дух свой, гордость свою крестьянским происхождением.

О себе Клюев понимал достойно:

«Я – мужик, но особой породы: кость у меня тонкая, кожа белая и волос мягкий. Ростом я два аршина, восемь вершков, в грудях двадцать четыре, а в головной обойме пятнадцать с половиной. Голос у меня чистый и слово мерное, без слюны и без лая; глазом же я зорек и сиз: нерпячий глаз у меня, неузнанный...

Принимая тело своё, как сад виноградный, почитаю его и люблю неизречённо (оттого и шёлковая рубаха на мне, широкое с тёплой пазухой полукафтанье, ирбитской кожи наборный сапог и персидского сканья перстень на пальце). Не пьяница я и не табакур, но к суропному прирастен: к твер-

скому прянику, к изюму синему в цеженом меду, к суслу, к слоёному пирогу с куманичным вареньем, к постному сахару и ко всякому леденцу.

В обиходе я тих и опрятен; горница у меня завсегда, как серебряная гривна, сияет и лоснится; лавка дрезвяным песком да берёстой натёрта – моржовому зубу белей не быть. В большом углу Спас поморских зелёных писем – глядеть не наглядеться: лико, почитай, в аршин, а очи, как лесные озёра... Перед Спасом лампада серебряная доможирной выплавки, обронной работы.

В древней иконе сердце и поцелуи мои. Молюсь на Андрея Рублёва, Дионисия, Парамшина, выгорецких и устюжских трудников и образотворцев...».

Потому и пытался Клюев в письме, похожем на горячую исповедь одинокой души, убедить Есенина, внушить ему свою правду, предостеречь:

«Голубь мой белый, ты в первой открытке собирался о многом со мной поговорить и уже во втором письме пишешь через строчку и то вкратце – и на мои вопросы не отвечаешь вовсе. Я собираюсь в Петроград в конце августа, и ты, может быть, найдёшь что-либо нужным узнать про тебя, но я не знаю, что тебя больше затрагивает, и наберу мелочей, а нужное и полезное тебе упущу. Ведь ты знаешь, что мы с тобой козлы в литературном огороде и только по милости нас терпят в нём и что в этом огороде есть немало ядовитых и колючих кактусов, избегать которых нам с тобой необходимо для здоровья как духовного, так и телесного. Особенно я боюсь за тебя: ты как куст лесной щипицы, который чем больше шумит, тем больше осыпается. Твоими рыхлыми драчёнами объелись все поэты, но ведь должно быть тебе понятно, что это после ананасов в шампанском. Я не верю в ласки поэтов-книжников и не лягать их тебе не советую. Верь мне. Слова мои оправданы опытом. Ласки поэтов – это не хлеб животный, а «засахаренная крыса», и рязанцу, и олончанину это блюдо по нутру не придёт и смаковать его нам прямо грешно и безбожно. Быть в траве зелёным и на камне серым – вот наша с тобой программа, чтобы не погибнуть. <...>

Я холодею от воспоминаний о тех унижениях и покровительственных ласках, которые я вынес от собачьей публики. У меня накопилось около двухсот газетных и журнальных вырезок о моём творчестве, которые в своё время послужат документами, вещественными доказательствами того барско-интеллигентского, напыщенного и презрительного взгляда на чистое слово и ещё того, что салтычихин и аракчеевский дух до сих пор не вывелся даже среди лучших из так называемого русского общества. Я помню, как жена Городецкого в одном собрании, где на все лады хвалили меня, выждав затишья в разговоре, вздохнула, закатила глаза и потом изрекла: «Да, хорошо быть крестьянином». Подумай, товарищ, не заключается ли в этой фразе всё, что мы с тобой должны возненавидеть и чем обижаться кровно. Видите ли – не важен дух твой, бессмертное в тебе, и интересно лишь то, что ты холуй и хам Смердяков, заговорил членораздельно. <...>

Мне очень приятно, что мои стихи волнуют тебя, – конечно, приятно потому, что ты оттулева, где махотка, шёлковые купыри и щипульные колки. У вас ведь в Рязани – пироги с глазами, – их ядять, а они глядят. Я бывал

в вашей губернии, жил у хлыстов в Даньковском уезде, очень хорошие и интересные люди, от них я вынес братские песни. Напиши мне, как живёшь, какое ваше село – меня печалили рязанские бесконечные пашни – мало лесов и воды, зимой всё как семикопеечным коленкором потянуто. У нас на Севере – воля, озёра гагарьи, ельники скитами украшены... О, как я люблю свою родину и как ненавижу Америку, в чём бы она ни проявлялась. Вот нужно ехать в Питер, а я плачу горькими слезами, прощаясь с рекой окуньей, с часовней на бору, с мошничьим перелётом, с хлебной печью... Адрес мой: Петроград, Фонтанка, № 149, кв. 9. К. А. Ращепериной. Бога ради, не задержи ответ. Целую тебя, кормилец, прямо в усики твои милые. Н. Клюев. Что скажешь о стихах в 20 № «Голоса жизни»?».

3

Возвращение в Петроград приближалось и Есенин вновь писал Чацкиной с просьбой выслать ему гонорар за поэму «Русь», напечатанную в «Северных записках» ещё в начале августа.

Пришло письмо от Лёни Каннегисера: «Дорогой Серёжа!

Что про́ку писать тебе, когда ты не отвечаешь! Но я очень по тебе соскучился и всё-таки пишу: авось ответит!

Теперь я уже в Петербурге, а после того, как мы расстались, был во многих местах, о чём и написал тебе.

Всё лето мне было очень хорошо, но нигде так, как в Константинове. Главным образом меня сейчас интересует знать, когда мы с тобой увидимся? Извести меня об этом непременно сейчас, по получении этого письма.

За лето читал твои стихи в «Огоньке», в «Русской мысли», в «Северных записках». Всем они очень нравятся, а особенно «Русь». А что твоя проза, которая мне так понравилась? Я рассказал о ней Софии Исаковне и очень её заинтересовал.

В Петербурге – ничего нового. Многие ещё не съехались, но кое-кто уже здесь, а другие – в этом году совсем никуда не уезжали. Рюрик был у меня, мы ездили с ним один раз в Павловск <...>, а сегодня говорили по телефону. Он позвонил мне в час дня – и... разбудил меня. Я ещё спал: это не деревня, Петербург (к сожалению!). Видел несколько раз Кузмина, у него и у меня. Вот, кажется, и всё.

Теперь я занимаюсь, готовлюсь к экзаменам, что будут в сентябре, – и это отнимает у меня довольно много времени.

А как у вас? Что твоя милая матушка? Очень ей от меня кланяйся. А сестрёнки? Я к ним очень привязался и полюбил их за те дни, что провёл у вас. А где теперь твой приятель Гриша? Помнишь: «Проводила мужа – под ногами лужа...». Я-то помню и даже очень, как всё, что касается милого Константинова. Помню, как мы взлезли с ним втроём на колокольню, когда ночью горели Раменки, и какой оттуда был красивый вид! Милый Серёжа! Мне ужасно хочется поскорее тебя увидеть, а пока получить хоть письмо. Только смотри, не заставляй меня долго ждать.

Целую тебя. Твой Лёня Каннегисер».

Выслал Сергей стихи и «Ежемесячному журналу». К своему последнему стихотворению «Белая свитка и алый кушак...» он добавил стихотворение «Танюша», написанное им ещё четыре года назад.

В Константинове наступило бабье лето: падал золотой лист, отлетали первые птицы; паутинки, сверкая под тихим неярким солнцем, кружили над опустевшим лугом. Не верилось, что – именно сейчас – где-то идут бои, льётся кровь, гибнут люди.

Война была и на страницах свежего журнала «Нива», который Сергей просматривал в доме отца Ивана: «Их Императорские Высочества Великие Княжны Мария Николаевна и Анастасия Николаевна среди раненых офицеров лазарета при Феодоровском Государевом соборе в Царском Селе...». Белые шляпы, белые костюмы царевен... Белые рубахи и перевязанные головы раненых...

А 9 сентября газета «Рязанские губернские ведомости» опубликовала Высочайший манифест о созыве государственного ополчения и указ о призыве на военную службу ратников ополчения 2-го разряда.

Отсрочка у Есенина кончалась. «Дома у нас настала настоящая тревога, – вспоминала сестра Катя. – Война с немцем требовала всё новых и новых жертв. Дошла очередь и до нашего Сергея».

«Дорогой Сергей Александрович, – писала Чацкина, – я уезжала, купалась в море, только что вернулась, застала Ваше письмо и спешу поблагодарить Вас за присланное стихотворение, которое охотно напечатаю. Гонорар на днях непременно вышло. От души желаю Вам поскорее поправиться. Леонид Вам кланяется.

Ваша С. Чацкина».

4

Новое клюевское письмо было со штемпелем станции «Любань». Видимо, Клюев отправил его по пути.

«Милый мой! Я получил твоё письмо и рад ему несказанно. Я пробуду в Петрограде до 20 сентября – хорошо бы устроить с тобой где-либо совместное чтение – моих военных песен и твоей Белой прекрасной Руси. Жду на это ответ.
Коля».

Из Петрограда Сергею прислали августовский «Ежемесячный журнал» с его стихами: «Выткался на озере алый свет зари...» и «Пастух».

*Я пастух, мои палаты –
Межи зыбистых полей.
По горам зелёным – скаты
С гарком гулких дупелей...*

«Дорогой мой Серёжа, – писал Лёня, – очень тебя благодарю за твои хорошие письма – одно – сердитое и другое – милое, но для меня они оба – милые, потому что – твои, а я тебя очень люблю.

Что ответить тебе на твои выпады против всех нас, петербуржцев? Прежде всего, дорогой мой, вообще очень нехорошо прибегать к огульным характеристикам; хоть это и создаёт значительную экономию мысли и времени, – но правда-то как страдает! А что касается упреков лично мне – всё принимаю. Если бы я был прав перед тобою, то с какой же стати ты стал бы упрекать меня! Ты скажешь, что упреков не было? Нет, пожалуйста, не отказывайся. Даже не виню тебя в том, что ты так был со мною скрытен, хотя в этом обвинить тебя очень хочется. Но, конечно, на искренность нужно иметь право, а его у меня, может быть, не было, если любовь и дружба этого права не дают.

Всё это просто, как азбука...

Мне бы очень не хотелось, чтобы между нами всегда было так много недоговорённого и чтобы случались такие грустные неожиданности, как твоё «лихорадочное» письмо.

Но пока об этом довольно. Когда приедешь, – столкнемся.

Высылаю тебе оттиски твоих стихов из «Русской мысли». Я был там сегодня утром (получал свой гонорар – у меня ведь там тоже стихи). Книжки они тебе не выслали и дать мне не хотели, оттого, что, говорят, – раз сделали оттиски, то книжки не полагается. Если непременно хочешь книжку, – напиши – вышлю!

Видишь, «Инока» напечатали и с «грёзой».

А стихи твои мне очень нравятся. Жду твоей прозы. София Исаковна просит тебе передать: 1) чтобы ты послал им в «Северные записки» всю прозу, сколько у тебя есть и поскорее, 2) сказки просят записывать «сырьём» – как они говорятся, 3) твоё последнее стихотворение они взяли и просят прислать переделанного «Разбойника». Так. Все поручения исполнил.

Очень жду тебя в Петербурге. Видеть тебя в печати – мне мало. Хочу и самого поскорее увидеть, а пока целую тебя и кланяюсь всем твоим.

Твой Лёня».

Наконец-то Сергей держал в руках, правда, в журнальном оттиске, своего «Инока», оставленного весной в Петрограде:

*Пойду в скуфейке, светлый инок,
Степной тропой к монастырям;
Сухой кошель из хворостинок
Повешу за плечи к кудрям.*

*Хочу концы земли измерить,
По туманенной росе,
И в счастье ближнего поверить
На взборонённой полосе...*

Благодарен был Сергей Лёне и за то, что стихи эти угодили в Константиново к его собственному 20-летию.

А Клюев уже не просил, а требовал:

«Я получил твою открытку, но как быть?»

Я смертельно желаю повидаться с тобой – дорогим и любимым, и если ты – ради сего – имеешь возможность приехать – то приезжай немедленно, не отвечая на это письмо. Я пробуду здесь до 5 октября.

Я слышал, что ты хочешь издать свою книгу в «Лукоморьи» – это меня убило – преподнести России твои песни из кандалного отделения Нового Времени!

Н. Клюев».

Сергей решил призываться на военную службу в Петрограде и медлить с отъездом не стал.

5

Приехав в Москву 30 сентября, Сергей лишь ненадолго забежал к отцу и тут же отправился по своим литературным делам.

На собрании кружка журнала «Млечный путь» он встретил поэтессу Любовь Столицу, которая пригласила к себе на литературный вечер.

О Столице в своей статье о военных стихах женщин-поэтесс Есенин писал: *«...Я подслушал, как плачут Ярославны. Но я и услышал, как загремели с призывом Жанны д'Арк. Лишь только разнеслись наши победы казаков, как по струнам своей лиры ударила Любовь Столица.*

Так ширяй, казак, и гикай,
И неси с победной пикой
В глубь чужих туманных стран
Дух наш орлий, взгляд соколий,
Золотую птицу воли
Из земли молодых славян!»

О Любви Никитичне (урождённой Ершовой) и её вечерах одна из современниц рассказывала:

«Почему-то ни у кого я не чувствую такого яркого, сочного описания Москвы, как у Любви Столицы:

Вот она пестра, богата,
Как игрушки берендейки.
Русаки и азиаты,
Картузы и тюбетейки,
И роскошные франтихи,
И скупые староверки,
И повсюду церкви, церкви,
Ярки, белые, звонки, тихи.

Помню вечера «Золотой грозди», которые она устраивала: приглашения на них она посылала на белой карточке с золотой виноградной кистью сбоку. В уютной квартире выступали поэты, прозаики со своими произведениями, в числе их и хозяйка. В платье наподобие сарафана, на плечи накинут цветной платок, круглолицая, румяная, с широкой улыбкой на красивом лице. Говорила она свои стихи чуть нараспев, чудесным московским говором. Под конец вечера обычно брат хозяйки пел ямщицкие песни, аккомпанируя себе на гитаре. И над всем этим царил дух широкого русского хлебосольства. Не богатства, не роскоши, а именно хлебосольства...».

А литератор Н. Серпинская вспоминала:

«Хозяйка дома – хмельная и «дерзкая», – с вакхическим выражением

крупного лица с орлиным властным носом, с серыми пристальными глазами, в круглом декольте с красной розой, с античной перевязью на голове... <...> Вели себя все, начиная с хозяйки – весело, шумно, непринуждённо. Здесь все считали себя людьми одного круга, веселились и показывали таланты без задней мысли и конкуренции».

Есенин получил от Столицы в подарок её последнюю книгу стихов «Русь» с автографом: «Новому другу – который, быть может, будет дороже старых... С. А. Есенину – Любовь Столица. 1915 года Сентября 30-ого дня. Москва».

Он тут же прочитал хозяйке свой экспромт:

*Любовь Столица, Любовь Столица,
О ком я думал, о ком гадал.
Она как демон, она как львица, —
Но лик невинен и зорьно ал.*

На другой день, перед отъездом в Петроград, Сергей побывал у поэта Ивана Репина, вписав в его альбом стихотворение:

*Край родной, тропарь из святцев
С криком сов неугомонных...*

Навестил Есенин и девятимесячного сына Юрия. Анна Изряднова вспоминала это посещение так: «Осенью опять заехал: «Еду в Петроград...». Звал с собой... Тут же говорил: «Я скоро вернусь, не буду жить там долго».

Часть вторая

«ЧЮЮ РАДУНИЦУ БОЖЬЮ...»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ

1

Снова было над Сергеем серое петроградское небо, снова стоял он на шумной и людной площади у Николаевского вокзала, но уже не тем робким мальчишкой, впервые попавшим в столицу полгода назад, не зная, примет ли она его, признает ли... Теперь он явился – завоевывать её.

В аккуратной плетёной корзинке с крышкой рукописи «Радунницы» и повести «Яр», старые и новые стихи, множество частушек, песен и сказок. Да и выглядел он по-иному: в костюме-тройке с галстуком, в чёрном пальто и шапке с плисовым верхом.

Оглядевшись, он уверенно направился к трамваю, идущему на Петроградскую сторону.

Городецкий обрадовался Сергею. Находясь под впечатлением вчераш-

него «Вечера Случевского», состоявшегося в доме Ясинских, он горячо рассказывал ему о будущих изданиях и выступлениях, о создании нового общества «Страда». И... что ждёт, не дожждётся его... Клюев.

Сергей листал газеты и журналы в гостиной Городецких, когда в прихожей послышались голоса и вошёл... Клюев.

Играя старинным крестом на груди, крестясь и отвешивая поклоны, он приблизился к растерянному Есенину и сотворил с ним полный поцелуйный обряд.

О Клюеве и этой встрече рассказал Городецкий:

«...у меня он познакомился с Есениным. И впился в него. Другого слова я не нахожу для начала их дружбы. История их отношений с того момента и до последнего посещения Есениным Клюева перед смертью – тема целой книги. Чудесный поэт, хитрый умник, обаятельный своим коварным смирением, творчеством вплотную примыкавший к былинам и духовным стихам севера, Клюев, конечно, овладел молодым Есениным, как овладевал каждым из нас в своё время. Он был лучшим выразителем той идеалистической системы, которую несли все мы. Но в то время как для нас эта система была литературным исканием, для него она была крепким мировоззрением, укладом жизни, формой отношения к миру. Будучи сильнее всех нас, он крепче всех овладел Есениным. <...>

Клюев оставался первым в группе крестьянских поэтов. Группа эта всё росла и крепла. В неё входили, кроме Клюева и Есенина, Сергей Клычков и Александр Ширяевец. Все были талантливы, все были объединены любовью к русской старине, к устной поэзии, к народным песенным и былинным образам. Кроме меня, верховодил в этой группе Алексей Ремизов и не были чужды Вячеслав Иванов, весьма сочувственно относившийся к Есенину, и художник Рерих. Блок чуждался этого объединения. Даже теперь я не могу упрекнуть эту группу в квасном патриотизме, но острый интерес к русской старине, к народным истокам поэзии, к былине и частушке был у всех нас. Я назвал всю эту компанию и предполагавшееся ею издательство – «Краса».

Лёня Каннегисер, впервые встретив Есенина после своей поездки в Константиново, уговорил его сфотографироваться. На снимке мы можем видеть Сергея с льняными кудрями, в костюме-тройке и даже с папиросой в руке.

Вместе с Лёней зашли они к Чернявскому. После долгих разговоров и воспоминаний об ушедшем лете, Володя прочёл своё стихотворение, посвящённое Есенину:

В возмездие суесловью
Ты стал вожатым моим...
Я знаю, что любят кровью,
Что любят огнём больным,
Что любят, уже не зная,
Как волю и жизнь вернуть,

Что будет любовь иная –
Разлучный и смертный путь,
Но есть такая свобода,
Что слышно только: идём!
И близость живого плода
В молчаньи, в словах, во всём!
Ты хочешь брататься кровью?
Не верю. Ведь ты – живой.
Пройди, оглянись с любовью...
Мой мальчик, Христос с тобой.

2

После первой встречи Клюев уже не оставлял Есенина: звонил к Городецким, заходил и 6 октября повёл Сергея на обед к своему старому знакомому – критику А. Измайлову. На этот обед Александр Алексеевич пригласил и своего друга Ф. Фидлера, всегда интересовавшегося русскими писателями-самоучками. Фёдор Фёдорович, из обрусевших немцев, в литературных кругах Петрограда был известен как талантливый переводчик на немецкий язык Пушкина, Лермонтова, Некрасова и других поэтов. И «народные поэты» – Клюев и Есенин – не разочаровали...

По просьбе хозяина Есенин вписал в альбом Измайлова:

*Я люблю тебя, родина кроткая!
А за что – разгадать не могу.
Весела твоя радость короткая
С громкой песней весной на лугу...*

А Фёдор Фёдорович раскрыл для автографов свой альбом, озаглавленный: «В гостях. XVII».

Есенин вписал строки из стихотворения «*Не с бурным ветром тучи тают...*»:

*И может быть, пройду я мимо
И не замечу в тайный час,
Что в ёлках крылья херувима,
А под пеньком голодный Спас;*

Клюев – из своего стихотворения «Судьба-старуха нижеет дни...»:

*Всё прах и дым, но есть в веках
Богорожденный час,
Он в сердобольных деревьях
Зовётся Светлый Спас.*

Фидлер знал чуть ли не всех писателей Петрограда. Свою квартиру он превратил в литературный музей, собрав уникальную коллекцию альбомов, портретов, автографов, предметов писательского быта. Желая продлить знакомство, он пригласил Клюева и Есенина к себе. Этот визит Фидлер описал в своём дневнике: «Сегодня Измайлов пригласил меня на обед... Были также оба народных поэта; после обеда я позвал их к себе: 27-летний Николай Алексеевич Клюев (в рубашке из цветного ситца, выглядит как Дукмайер)

и 20-летний Сергей Александрович Есенин (приятное мальчишеское лицо с доверчиво-наивными глазами из-под светлых курчавых волос). Оба – старообрядцы. Делая запись в моём альбоме «В гостях», они употребили слово «Спас», но написали его с маленькой буквы, которую затем после того, как я и Измайлов обратили на это внимание – исправили на заглавную. Когда мы ехали в трамвае, Есенин, сидевший рядом со мной, вдруг посмотрел на меня как-то удивлённо и робко назвал меня «ты». Он – простой крестьянин, живёт недалеко от Рязани. Клюев (о нём я уже рассказывал выше) живёт со своим 75-летним отцом в избе на берегу реки; он черпает из неё воду, готовит еду, стирает белье, моет полы – словом, ведёт всё хозяйство. Он не курит, однако употребляет мясо (в его забытой Богом деревне не растут даже огурцы и капуста) и пьёт пиво (у меня). В юности он носил на теле вериги; на мой изумлённый вопрос, для чего он это делал, он ответил просто: «для Бога». Увидев у меня обрамлённый автограф Гейне, он обратился к Есенину и сказал ему с упрёком, который, казалось, относился не только к Есенину, но и к нему самому: «Из семи строчек сделано четыре! Видишь, как люди писали!». Оба восхищались моим музеем и показались мне достаточно осведомлёнными в области литературы. Увидев гипсовую голову Ницше, Есенин воскликнул: «Ницше!»... Видимо, Клюев очень любит Есенина; склонив его голову к себе на плечо, он ласково поглаживал его по волосам.

В альбоме Фидлера «У меня. XII», Есенин оставил свой экспромт:

*Перо, не больница,
Но в нём есть звон.
Служи, чернильница,
Лесной канон.
О матери вечная,
Святой покров.
Любовь заречная –
Без слов.*

Ниже свои впечатления от домашнего музея записал Клюев:

«Автограф Гейне, трубка Пушкина, вторая часть «Мёртвых душ» с заметками Гоголя и моя брэнная подпись! – Приходится верить в чудеса и в наш век железа и лжи. На память и жизнь бесконечную дарю малое за большое Фёдору Фёдоровичу Николаю Клюев 6 октября 1915 года».

Обещая познакомить Есенина с очень интересным человеком, уже на следующий день Клюев вёз его к поэту и художнику Владимиру Александровичу Юнгеру. По образованию юрист, Юнгер общался со многими столничными литераторами, писал стихи, работал художником в петроградских журналах и даже сделал собственный перевод карело-финского народного эпоса «Калевала».

Светлоглазый 33-летний хозяин, с приветливой улыбкой под щёточкой усов, радостно встретил их в уютной квартирке из четырёх небольших комнат, расположенных анфиладой. В столовой на два окна, с узорчатой печкой в углу, диваном и дубовыми стульями вокруг стола, разместились все: и

гости, и жена, и пятилетняя дочь со своей няней. Разговаривали, пили чай, читали стихи.

Потом Владимир Александрович увёл гостей в кабинет, где и сделал с них портретные зарисовки, очень понравившиеся им.

Этот самый первый портрет Есенина художник Е. Моисеенко выделил из всех прижизненных его изображений: «Карандашный набросок головы молодого поэта... лишён той напускной красоты, той слащавой сентиментальности, которыми отмечены многие изображения Есенина. Это портрет человека умного, пытливого, нервного, издёрганного... При всей внешней простоте и неброскости, рисунок передаёт многоплановость, сложность, противоречивость образа поэта, присущие ему уже в ранние годы».

Беспокоясь о призыве Есенина, Городецкий решил похлопотать за него. Будучи знаком с полковником Ломаном, уполномоченным Её Величества по полевому Царскосельскому военно-санитарному поезду № 143, он отправил к нему свою просьбу о зачислении Есенина в подведомственный ему поезд.

Об очередном появлении Есенина в доме Ясинского его дочь оставила следующие записи: «Блондин с почти льняными, светлыми волосами, слегка вьющимися, Есенин был довольно коротко острижен (отпускать волосы он стал позднее), глаза голубовато-серые, очень живые и серьёзные, внимательные, но с какими-то удивительно озорными искорками, которые то вспыхивали, то вновь исчезали. Вообще он был красив типичной неброской славянской красотой, довольно распространённой на севере; надо приглядеться, чтобы заметить её. Казалось, Есенину не хотелось, чтобы обращали внимание на его внешность. <...>

Сергей Есенин был очень собранным: все его движения были грациозны, бесшумны и чётки. Навсегда запомнилась мне походка поэта – свободная и лёгкая. <...>

Он был немного выше среднего роста. Одевался по-европейски и никакой русской поддёвки не носил. Костюм, по-видимому, купленный в магазине готового платья, сидел хорошо на ладной фигуре, под костюмом – мягкая рубашка с отложным воротничком. Носил он барашковую шапку и чёрное пальто. Так одевались тогда в Питере хорошо зарабатывавшие молодые рабочие.

Есенин имел городской вид и отнюдь не производил впечатления провинциала, который «может потеряться в большом городе». Держался он со скромным достоинством и не отличался застенчивостью. Чувствовалось, что он новичок в литературной среде, к которой приглядывался с жадным любопытством. Поэтому у нас, на Чёрной речке, Есенину было интересно. Когда собирались гости, говорили много, чаще всего об искусстве, внимательно следили за ростом молодых писательских сил, спорили о направлениях. Истинное наслаждение доставляли рассказы стариков, в том числе и моего отца, о старине, о встречах с Тургеневым и Гончаровым, с Салтыковым-Щедриным и Всеволодом Гаршиным, с Сергеем Атавой (Терпигоревым). Врезались в память рассказы о Софье Перовской и о Кибальчиче, участниках убийства Александра II в 1881 году. Тут даже мелочи были дороги. Конечно, говорили

и о войне, о правительственных перемещениях, воровстве в армии и о кризисе самодержавия. О политике говорили бестолково и сумбурно. Отец был «пораженцем», а называл себя анархистом, последователем Петра Кропоткина, с которым ряд лет действительно поддерживал переписку.

Надо сказать, что Есенин в этой новой для него среде никогда не терял самообладания».

3

В квартире Городецкого 10 октября прошло совещательное собрание создаваемого литературно-художественного общества «Страда», на котором присутствовали Ясинский, Мурашёв, Ремизов, Мироллюбов, артист суворинского Малого театра В. Игнатов. Были на собрании и Клюев с Есениным. Учредительное собрание решили провести здесь же через неделю.

На учредительном собрании вступительное слово читал Мурашёв; Городецкий говорил «об идейной стороне общества», Ясинский прочёл доклад «О народной литературе». Самой яркой была речь одного из активных членов общества артиста Василия Васильевича Игнатова:

«Пусть «Страда» скажет, что в ударе молота больше поэзии, чем во всех сантиментах нашей интимной повседневности, что истинная красота и величайшая поэзия лишь в знании и постоянном труде. Потому что чувства наши все временны; имеют начало и конец, а знания и труд бесконечны в красоте достижений своих...

Пусть научит «Страда» народного поэта не о солнце на небе петь – о солнце далёком слишком много пропето песен, – а воспевать самое близкое солнце земли – Человека-творца, петь о плодах его знаний и работ».

Председателем общества был избран Ясинский, товарищем председателя – Городецкий, членом-распорядителем – Мурашёв, секретарем – Игнатов... В члены ревизионной комиссии избрали и Мироллюбова.

Почётными членами «Страды» были выбраны: И.Е. Репин, Ф.И. Шаляпин, К.Д. Бальмонт и В.Г. Короленко.

Перед самым приездом Есенина в Петроград Клюев, имея тогда другие планы, писал Блоку:

«Дорогой Александр Александрович!

Я приехал в град Петра на малое время – уехать вновь года на три, не взглянув на Вас, мне тяжело...

Н. Клюев».

На встречу с Блоком Клюев пришёл уже с Есениным. К их появлению Блок отнёсся весьма благожелательно.

Блок и Клюев были в переписке с 1907 года. Для Клюева, жившего в глухой Олонии, общение с опытным поэтом, творчеством которого он восхищался, имело огромное значение.

Но каждый из них, кроме вопросов стихотворного мастерства, выступал ещё и от имени своей социальной и культурной среды. «Я, крестьянин Николай Клюев...» – так начиналось первое письмо. Блок отвечал ему на это

«в духе кающегося дворянина». И в этом притяжении их друг к другу и, одновременно, в спорах как бы встречались «две России», которые разделяла пропасть.

Обострение отношений достигло вершины в 1911 году, после очередного клюевского письма к Блоку:

«...Я знаю, что Вам опять это письмо покажется неверным, опять заговорите Вы в лермонтовском «и скучно, и грустно», но мне теперь видно Ваше действительно роковое положение, так как одной ногой Вы стоите в Париже, другой же – «на диком берегу Иртыша». <...>

Всё это открыло мне, что Вам грозит опасность, что Ваше творчество постольку религиозно а, следовательно, и народно, поскольку далеко всяких Парижей и Германий и т. п. Повторяю, что моя беседа с Вами была сплошной борьбой с иноземщиной в Вас. Я звал Вас в Назарет, – Вы тянули в Париж, я говорил о косоворотке и картузе, – Вы бежали к портному примеривать смокинг, в то же время посылая воздушный поцелуй и картузу, и косоворотке. Такое положение долго продолжаться не может, а если и продолжится, то вскоре Мир увидит вместо Ивана Царевича «Идолище поганое»...

В настоящий вечерний час я тихо молюсь, да не коснется Смерть Вас, и да откроется Вам тайна поклонения не одной Красоте, которая с сердцем изо льда, но и Страданию. Его храм, основанный две тысячи лет тому назад, забыт и презрен, дорога к нему заросла лозняком и чертополохом; тем не менее отважьтесь идти вперёд! – На лесной прогалине, в зелёных сумерках дикого бора приютился он. Под низким обветшалым потолком Вы найдёте алтарь ещё на месте и Его тысячелетнюю лампаду неугасимо горящей. Падите ниц перед нею, и как только первая слеза скатится из глаз Ваших, красный звон сосен возвестит Миру-народу о новом, так мучительно жданном брате, об обручении раба Божия Александра, – рабе Божией России».

Этим письмом Блок был потрясён и в течение нескольких дней, перечитывая, не расставался с ним. «Послание Клюева все эти дни – поёт в душе», – записал он в своём дневнике. Блок ещё остро переживал «уход» Льва Толстого и, получив письмо Клюева, с новой силой предавался мыслям об «уходе» и «опрощении». Но всё же записал в дневнике: «Я над Клюевским письмом. *Знаю всё, что надо делать*: отдать деньги, покаяться, раздать смокинги, даже книги. Но не могу, не хочу».

Теперь между ними всё было иным. Признавая друг друга, каждый шёл своей трудной дорогой... Спокойно текла за столом беседа о событиях и литературной жизни Петрограда, о новом обществе «Страда». Читали гости Блоку и свои последние стихи.

Недаром отметил он это настроение в записной книжке:

«21 октября. Н. А. Клюев – в 4 часа с Есениным (до 9-ти). Хорошо».

4

В письме к Любви Столице, вспоминая их весёлое знакомство в Москве, Сергей писал:

«Дорогая Любовь Никитична!

Простите за все нежно канутое.

Передо мной образ Ваш затенило то, что вышло для меня смешно и грустно.

Очень радуюсь встрече с Вами: суть та, что я приобщен Вами до тайн.

Сейчас, с приезда, живу у Городецкого и одолеваем ужасиваньем Клюева.

Вчера мило гуторил с Блоком, а 25 в Тенишевском зале выступаю со стихами при участии Клюева, Серёжи, Ремизова и др.

Серёжа <Городецкий> уходит добровольцем на позиции. А мы по приезде Вашем поговорим о концертах.

До сих пор не вывелся запах целующей губы вишнёвки и тёплый с отливом слив взгляд Ваш.

Не угощайте никогда коньяком – на него у меня положено проклятье. Я его никогда в жизни не брал в губы.

Жду так же, как и ждал Вас до моего рождения.

Любящий и почитающий

Ваш С. Есенин».

О выступлении, упомянутом Сергеем, уже сообщили накануне «Биржевые ведомости» под заголовком «Вечер «Краса»:

«В воскресенье, 25 октября, в зале Тенишевского училища состоится вечер, посвящённый народной поэзии. Вечер откроется «зачальным присловьем» Сергея Городецкого и «Словом» Алексея Ремизова. Впервые выступит молодой поэт, крестьянин Рязанской губ. Сергей Есенин, так удачно дебютировавший нынешней весной во многих журналах. С. Есенин прочтёт известную поэму свою «Русь» и цикл стихов «Маковые побаски».

Гвоздём вечера явится былина Николая Клюева «Беседный наигрыш», которую поэт поёт с мощной выразительностью. <...> Кроме былины, Клюев исполнит «Избяные песни» и «Песни из Заонежья». Кроме Клюева и Есенина, народная поэзия будет представлена ещё поэтами-крестьянами Александром Ширяевцем, Сергеем Клычковым и другими.

Закончится вечер исполнением современных рязанских и заонежских частушек, прибасок, канавушек, велинок и «страданий» под ливенку».

«Осенью, не помню точно когда, – писала Зоя Ясинская, – только деревья стояли оголённые и было пасмурно, Есенин появился с Николаем Клюевым, и с тех пор они почти всегда приходили вместе.

Мне показалось, что Клюев был вдвое старше Есенина, хотя на самом деле разница в возрасте равнялась всего восьми годам <на самом деле – одиннадцати>. Николай Клюев, по-видимому, уже «понаторел» в хождении по писательским кружкам и гостиным: он успел выработать нарочитую манеру держаться степенно, говорить нараспев глуховатым тенорком и одеваться под «ладожского дьячка». Ходил он в очень длинной, почти до колен, бумазейной широкой кофте тёмной старушечьей расцветки с беленькими крапинками-цветочками и подпоясывался шёлковым пояском с кистями.

Рядом с Клюевым Есенин, простой, искренний, производил чарующее впечатление: в его внешности было что-то лёгкое и ясное. <...>

У Клюева было какое-то снисходительное, покровительственное и вместе с тем заискивающее отношение к Есенину. Он часто публично демонстрировал свою якобы влюблённость в молодого поэта, например, садился рядом с ним, когда хвалили стихи Есенина, начинал гладить его по спине, приговаривая: «Сокол ты мой ясный, голубень-голубарь» и тому подобное. Однажды моя подруга, не выдержав комизма этой сценки, задала Есенину очень непосредственный вопрос:

– Как вам приходится этот дядя? Он – родственник или земляк?

Есенин сразу ничего не ответил, сделал «скудное лицо», а затем, улучив момент, когда внимание Клюева было отвлечено, почти одними губами, насмешливо, прошептал:

– Вроде «дядьки»... приставлен ко мне. <...>

Есенин для чтения отбирал такие стихи, в которых чувствовался «крестьянский дух» и, по-видимому, те, что нравились Сергею Городецкому (стихи, в которых было много предметности). Они были встречены восторженно, их обсуждали и разбирали. Отец, ссылаясь на примеры русских классиков, советовал строго соблюдать правила русской грамматики. Советовал Есенину заменить такие слова, как «крячет» (о цапле), возражал против сочетания «жуткая выгть», ссылаясь на словарь Владимира Даля, где указан глагол «выгть», а имя существительное «выгтьё». Также говорил, что нельзя отсекаать слоги в словах и падежных окончаниях, хотя у классиков, например, у Лермонтова, встречаем: «из пламя и света рождённое слово». Есенин же отстаивал право поэта на диалектизмы, на изменение окончаний слов, хотя осуждал «заумь» футуристов».

Работа Есенина над составлением рукописи его первой книги «Радуница» наконец-то закончилась. Тридцать два стихотворения и поэму «Микола» он распределил по двум разделам – «Русь» и «Маковые побаски».

Обрадованный Городецкий тут же направил его со своим письмом к петроградскому представителю московской газеты «Русское слово» (издательства И.Д. Сытина) А.В. Руманову:

«Дорогой Аркадий. Юнец златокудрый, который принесёт тебе это письмо, – поэт Есенин (я тебе говорил – рязанский крестьянин). Не издашь ли его первую книгу «Радуница» у Сытина? Если поможет делу, я напишу предисловие. Стихи медовые, книга чудесная. Приласкай!».

После таких слов оставалось надеяться и ждать...

Вечер «Краса» в Концертном зале Тенишевского училища состоялся по полной программе, обещанной афишами.

«На ярко освещённой рефлектором эстраде портрет Кольцова, осенённый вилами, косой и серпом. Под ним два «аржаных» снопа и вышитое крестиками полотенце». (Г. Иванов)

После «зачального присловья» Городецкий сказал и о «ржаных ликах» крестьян-поэтов. За Ремизовым выступил Есенин, потом – Клюев. Стихи Александра Ширяевца, Сергея Клычкова и Павла Радимова прочла Бел-Конь-Любомирская (псевдоним жены С. Городецкого).

В конце вечера Клюев и Есенин под гармошку исполнили частушки Олонецкой и Рязанской губерний.

Чернявский рассказал о своих впечатлениях:

«...в Тенишевском зале <...> он <Есенин> вынес наконец на эстраду свою родную тальянку. Кроме него и Клюева – поэтов крестьянства, выступали и представители города – Алексей Ремизов и сам Городецкий. В основу этого нарочито «славянского» вечера была положена погоня за народным стилем, довольно приторная. Этот пересол не содействовал успеху вечера; публика и печать не приняли его всерьёз... <...> Но та белая с серебром рубашка, которую посоветовали надеть на этот вечер Есенину, положила начало театрализации его выступлений...».

Сам же Городецкий выступлением Есенина был доволен:

«Есенин читал свои стихи, а кроме того, пел частушки под гармошку и вместе с Клюевым – страдания. Это был первый публичный успех Есенина, не считая предшествовавших закрытых чтений в литературных собраниях».

5

К этому времени, вероятнее всего, относится встреча Есенина и Клюева с Горьким.

«Впервые я увидел Есенина в Петербурге, – вспоминал Горький, – в 1914 году <ошибка памяти – в 1915>, где-то встретил его вместе с Клюевым. Он показался мне мальчиком пятнадцати-семнадцати лет. Кудрявенький и светлый, в голубой рубашке, в поддёвке и сапогах с набором, он очень напомнил слащавенькие открытки Самокиш-Судковской, изображавших боярских детей, всех с одним и тем же лицом. <...> Мы, трое, шли сначала по Бассейной, потом через Симеоновский мост, постояли на мосту, глядя в чёрную воду. Не помню, о чём говорили, вероятно, о войне: она уже началась. Есенин вызвал у меня неяркое впечатление скромного и несколько растерявшегося мальчика, который сам чувствует, что не место ему в огромном Петербурге.

Такие чистенькие мальчики – жильцы тихих городов, Калуги, Орла, Рязани, Симбирска, Тамбова. Там видишь их приказчиками в торговых рядах, подмастерьями столяров, танцорами и певцами в трактирных хорах, а в самой лучшей позиции – детьми небогатых купцов, сторонников «древлего благочестия».

Позднее, когда я читал его размашистые, яркие, удивительно сердечные стихи, не верилось мне, что пишет их тот самый нарочито картинно одетый мальчик, с которым я стоял, ночью, на Симеоновском и видел, как он, сквозь зубы, плюёт на чёрный бархат реки, стиснутой гранитом».

С молодой поэтессой Мальвиной Мироновой Марьяновой Сергей познакомился на обеде у Ясинских.

«Воскресенье было днём, – вспоминала она, – когда собирались писатели и поэты у радушного Иеронима Иеронимовича, дружески встречавшего новые таланты. Всех объединял за столом воскресный пирог и клюквенное

варенье. Каждый новый гость должен был читать свои произведения – такова была традиция в доме Ясинского.

На фоне окружавших меня людей наружность Есенина показалась необычной. Больше всего привлекали внимание его голубые глаза и золотые кудри. Поражала его улыбка, необыкновенно мягкая и обаятельная.

В том, как он читал стихи, чувствовалось мастерство, можно сказать, врождённое. Мне показалось, что, читая, он иногда скашивал глаза, как бы следя за впечатлением, какое производит. Я слушала Есенина, невольно наблюдая за ним. Удовольствие было настолько большим, что мне захотелось проверить себя, и я взглянула на Ясинского. Ясинский слушал Есенина так внимательно, как никогда ни одного из поэтов. Когда Есенин закончил чтение, ему аплодировали дружно все присутствующие, и больше всех – сам хозяин.

Ясинский немало сделал для упрочения литературного успеха Есенина. Он печатал стихи молодого поэта в «Биржевых ведомостях». Тогда же по инициативе Иеронима Иеронимовича был организован альманах «Страда». Во главе его стоял меценат Семёновский, но главным вдохновителем и редактором этого альманаха был Ясинский. Тут были напечатаны стихи Есенина, произведения Леонида Андреева, Зои Ясинской (дочь Иеронима Иеронимовича) и мои стихи «В стране напевной». Недалеко от Технологического института было небольшое помещение, на дверях его красовалась надпись – «Страда». Это и был клуб, где собирались участники общества «Страда», выступавшие со своими произведениями. Я часто заставляла там Есенина».

Программу вечера «Краса» вскоре после выступления Сергей отправил Ширяевцу в Чарджуй, написав на ней: «Большую афишу, которую выставляли на улицах, пришлю, как найду. Очень было баско и броско!».

По свидетельству Мурашёва: «Есенин зорко следил за журналами и газетами, каждую строчку о себе вырезал. Бюро вырезок присылало ему все рецензии на его стихи. Он очень прислушивался к хорошей критике, но литературная болтовня его злила».

Поэтому особенно порадовала его большая и добрая статья З. Бухаровой «Краса» в газете «Петроградские ведомости»:

«Для того, чтобы дать нам сейчас в искусстве что-нибудь прекрасное, крупное, радующее, необходимы особое понимание современности, неразрывность её с предлагаемыми художественными ценностями, – необходим новый, свежий, действенный подход к последним. Задача не из лёгких... Но она была осуществлена перед немногочисленной, правда, но благоговейно-чуткой и признательной аудиторией литературного вечера русских поэтов «Краса». <...>

Лишь весьма немногие из художников наших сохранили рыцарскую верность красе родного языка... К таковым можно причислить выступивших на вечере чтецами своих произведений поэтов-крестьян Сергея Есенина и Николая Клюева.

Оба эти имени, чуждые широкой публике, уже знакомы серьёзным ценителям поэзии. Клюев печатается довольно давно <...> С. Есенин заявил о себе только в прошлом году; печатался сравнительно мало и больше в

еженедельниках, но к его свежему дарованию любовно и радостно тянутся души, истомившиеся по живым источникам русской поэзии.

Оба этих художника пришли к нам из деревни и принесли в чёрствый прозаический город смолистое дыхание лесов, мирную трудовую ясность полей, забытую правду крестьянского быта. В сокровищнице их песен скрыта жемчужина грядущего художественного творчества России, и, по словам того же Городецкого, все мы, на вечере присутствовавшие, таинственно общаемся к великому чуду подлинного народного творчества, долженствующего однажды укрепить за собою новые, навеки нерушимые пути. <...>

Робкой, застенчивой, непривычной к эстраде походкою вышел к настроенной аудитории Сергей Есенин. Хрупкий девятнадцатилетний крестьянский юноша, с вольно вьющимися золотыми кудрями, в белой рубашке, в высоких сапогах, сразу, уже одним милым доверчиво-добрым, детски-чистым своим обликом властно приковал к себе все взгляды. И когда он начал с характерными рязанскими ударениями на «о» рассказывать меткими ритмическими строками о страданиях, надеждах, молитвах родной деревни («Русь»), когда засверкали перед нами необычные по свежести, забытые по смыслу, а часто и совсем незнакомые обороты, слова, образы, – когда перед нами предстал овеванный ржаным и лесным благоуханием «Божьей милостью» юноша-поэт, – размягчились, согрелись холодные, искушённые, неверные, тёмные сердца наши, и мы полюбили рязанского Леля... <...>

В лице Сергея Есенина мы имеем, бесспорно, будущего поэта первой величины».

6

Критик и публицист Лев Клейнборт, с которым Есенин после приезда общался довольно часто, собирал материалы для своей работы о читателях «из народа».

Как писал он: «...я разослал ряд анкет в культурно-просветительные организации, библиотеки, обслуживающие фабрику и деревню, в кружки рабочей и крестьянской интеллигенции. Объектом моего внимания были по преимуществу Горький, Короленко, Лев Толстой, Гл. Успенский. Разумеется, я не мог не заинтересоваться, под каким углом зрения воспринимает этих авторов Есенин, и предложил ему изложить свои мысли на бумаге, что он и сделал отчасти у меня на глазах.

Он, без сомнения, уже тогда умел схватывать, обобщать то, что стояло в фокусе литературных интересов. Но читал он, в лучшем случае, беллетристов. И то, по-видимому, без системы. Так, Толстого он знал преимущественно по народным рассказам. Горького – по первым двум томам издания «Знания», Короленко – по таким вещам, как «Лес шумит», «Сон Макара», «В дурном обществе». Глеба Успенского знал «Власть земли», «Крестьянин и крестьянский труд». Ещё хуже было то, что он не любил теорий, теоретических рассуждений.

– Люблю начитанных людей, – говаривал он, обозревая книжные богатства, накопленные на моих книжных полках.

А вслед за тем:

– Другого читаешь и думаешь: неужели в своём уме?

Он всем существом был против «умственности». Уже в силу этого моя просьба не могла быть ему по душе. <...>

Писал же он вот что:

О Горьком он отзывался как о писателе, которого не забудет народ. Но в то же время убеждения, проходившего через писания многих и многих из моих корреспондентов, что Горький человек свой, родной человек, здесь не было и следа. В отзыве бросалась в глаза сдержанность. Так как знал он лишь произведения, относящиеся к первому периоду деятельности Горького, то писал он лишь об их героях-босях. По его мнению, самый тип этот возможен был *«Лишь в городе, где нет простору человеческой воле»*. Посмотрите на народ, переселившийся в город, писал он. Разве не о разложении говорит всё то, что описывает Горький? Зло и гибель именно там, где дыхание каменного города. Здесь нет зари, по его мнению. В деревне же это невозможно.

Из произведений Короленко Есенину пришли по душе «За иконой» и «Река играет», прочитанные им, между прочим, по моему указанию. «Река играет» привела его в восторг. *«Никто, кажется, не написал таких простых слов о мужике»*, – писал он. Короленко стал ему близок *«как психолог души народа»*, *«как народный богоискатель»*.

В Толстом Есенину было ближе всего отношение к земле. То, что он звал жить в общении с природой. Что его особенно захватывало – это «превосходство земледельческой работы над другими», которое проповедовал Толстой, религиозный смысл этой работы. Ведь этим самым Толстой сводил счёты с городской культурой. И взгляд Толстого глубоко привлекал Есенина. Однако вместе с тем чувствовалось, что Толстой для него барин, что какое-то расхождение для него с писателем кардинально. Но оригинальнее всего он отозвался об Успенском. По самому воспроизведению деревни от выделял Успенского из группы разночинцев-народников. Как сын деревни, вынесший долю крестьянина на своих плечах, он утверждал, что подлинных крестьян у них нет, что это воображаемые крестьяне. В писаниях их есть фальшь. Вот у Успенского он не видел этой фальши. Особенно пришёлся ему по вкусу образ Ивана Босых. Он даже утверждал, что Иван Босых – это он. Ведь он, Есенин, был бы полезнее в деревне. Ведь там его дело, к которому лежит его сердце. Здесь же он делает дело не своё. Иван Босых, отбившись от деревни, спился. Не отравит ли и его город своим смрадным дыханием!

Повторяю, всё это было малограмотно, хаотично. Но живой смысл бил из каждого суждения рыжего рязанского паренька...».

О своём общении с Есениным Клейнборт вспоминал:

«Рязанский паренёк, чуть-чуть стилизованный уже, в самом деле побеждал всех своим внутренним чувством природы, своим узорным, народным языком. Но в особенности ухватились за него символисты. Появление Есенина было для них «осуществлением долгожданного чуда», по словам Сергея Городецкого. «Стык наших питерских литературных мечтаний с го-

лосом, рождённым деревней, – писал он, – казался нам оправданием всей народной работы и праздником какого-то нового народничества».

И той лёгкостью, с какой Есенин вошёл в литературу, он был, прежде всего, обязан им. Блок и Городецкий свели его с Клюевым, и теперь они были нерасторжимы друг с другом. Появились стихи Есенина в «Северных записках». <...> Вслед же за «Записками» его стихи стали брать все... «Хорошего человека», на которого он уповал, уже не надо было.

И вместе с тем появляется он в литературных кружках. С одной стороны, с ним носятся Городецкий и Ремизов, с другой – Ясинский из «Биржевки», «открывший» перед тем Пимена Карпова.

Образуетя кружок и издательство «Краса»; в него входят, наряду с Городецким, Ремизовым, Вяч. Ивановым, – Есенин, Клюев, Клычков, Ширяевец. Выходит альманах Ясинского «Страда».

Если кто и подчинил его своему влиянию, то это был Клюев и только Клюев, смиренный Миколай, которого Свенцицкий объявил пророком, – тайный мистик крестьянского обихода, выпустивший уже три книги своих стихов.

– Парень! – говорил Есенин о нем. – Красному солнышку брат!

– Значит, послал-таки Господь «хорошего человека»?

Рязань и Олонию соединяло первозданное поэтическое бытие, братские песни, лесные были, раскольничьи легенды. Наконец, одно и то же прикидывали они своим мужицким умом по отношению к Петрограду. Вот что сливало их воедино.

– Да, да, послал... На Покрова будем свадьбу справлять...».

ОБЩЕСТВО «СТРАДА»

1

К дружбе Сергея с Клюевым окружающие относились по-разному. Михаил Бабенчиков вспоминал: «Вскоре вслед за появлением Есенина в Петербурге за ним всюду по пятам стал ходить поэт Николай Клюев. Среднего роста, плечистый человек, с густо напояженной головой, сладкой, витиеватой речью и елейным обхождением, он казался насквозь пропахнувшим лампадным маслом. Одевался Клюев в тёмного цвета поддёвку и носил поскрипывающие на ходу сапоги бутылками. Хотя в обществе Клюев держался важно и даже степенно, что-то хищное время от времени проглядывало в нём. Клюев всячески пытался скрыть эту сторону своей натуры, то улыбочкой, то ласковым взглядом замечая следы своего истинного отношения к людям. И надо сказать, что это часто удавалось ему. На Есенина он произвёл неотразимое впечатление. И его влияние на молодого поэта вскоре приобрело характер власти.

Близость к Есенину льстила Клюеву, так как юный поэт к этому времени стал одной из заметных фигур в литературном мире. Его баловали, приглашали нарасхват в самые людные великосветские салоны, и бывать с ним

повсюду вместе, – значило оказаться на виду. В свою очередь, на Есенина произвели сильное впечатление поэтическая настроенность и стихотворные образы Клюева, близкие его собственным настроениям в юные годы.

Вместе с Клюевым был Есенин и на рауте в квартире юриста и общественного деятеля И.В. Гессена. Пока Есенин читал стихи, художник А.Н. Бенуа сделал с него портретный рисунок. «Академик, тончайший эстет, замечательный художник и очаровательный человек», – такую характеристику дал Александру Николаевичу Луначарский. В портрете Есенина отразились не столько внешность сказителя – белая рубашка, поддѣвка; сколько главное – проникновенное чтение стихов. Характерны и надписи художника рядом с рисунком: «Юный сказитель, пришедший к Гессену вместе с Клюевым. Начало XI. 1915. Категория: Алёши Поповича, Рынды. Конюшого, баньщика». И две приписки на французском языке: «Этот молодой фольклорист сопровождал сказителя». «Стиль преувеличенно русский».

Полковник Ломан, к которому обращался Городецкий с просьбой о призыве Сергея Есенина в военно-санитарный поезд, хотел лично познакомиться с Есениным и пригласил его в петроградское отделение своей Царско-сельской канцелярии. С Сергеем на эту встречу отправился и Клюев.

Дмитрий Николаевич Ломан, ещё на службе в лейб-гвардии Павловском полку, был также и церковным старостой временной полковой походной церкви. По его инициативе для чинов сводного пехотного полка и конвоя Его Императорского Величества в 1909-1912 г.г. в Царском Селе был построен Феодоровский Государев Собор, в древнерусском стиле, главным художником которого являлся Виктор Васнецов.

Рядом с собором на добровольные пожертвования начал строиться и Фёдоровский городок (дома для причта и служащих собора).

При организующей роли Д.Н. Ломана, духовенство, промышленники, учёные и высокопоставленные царские чиновники создали «Общество возрождения художественной Руси», председателем которого стал князь А.А. Ширинский-Шихматов.

Одной из задач «Общества» было создание общественного хранилища памятников древнего русского творчества.

Этой цели и должен был служить городок, образец древнерусского зодчества: терема в богатой резьбе, обнесённые каменной кремлевской стеной со сторожевыми башнями – «живой» музей старины.

Но начавшаяся война заставила разместить в городке лазареты для раненых. Начальником лазарета «ИХ ИМПЕРАТОРСКИХ ВЫСОЧЕСТВ ВЕЛИКИХ КНЯЖОН...» и уполномоченным Её Величества Императрицы по военно-санитарному поезду был назначен всё тот же полковник Ломан.

Дмитрий Николаевич сразу понял, кого послала к нему судьба в лице Есенина и Клюева, и после чтения ими стихов, столь близких «Обществу возрождения», уже с улыбкой обещал похлопотать и за «белобилетника»-Клюева, выразившего горячее желание тоже стать санитаром.

«...случилось мне быть спутником Сергея в очень аристократическом доме, – вспоминал Володя Чернявский, – где всё было тихо и строго. Его позвали прочесть стихи старому, очень почтенному, знатоку литературы и мемуаристу <скорее всего, имеется в виду сенатор, почетный академик А.Ф. Кони>.

В чопорной столовой хозяйка дома тихонько выражала удивление, что он такой «чистенький и воспитанный», несмотря на простую ситцевую рубашку, что он как следует держит ложку и вилку и без всякой мешанской конфузливости отвечает на вопросы.

Но Серёжа всё-таки слегка робел перед сановным академиком и норовил стоять, когда тот вёл с ним беседу, так что мне приходилось тихонько дергать его сзади за рубашку, чтобы он сел. Старик слушал снисходительно, кое-что одобрял, но вносил свои стилистические поправки.

– Милый друг, а Пушкина вы читали? Ну, так вот, подумайте сами, могли ли сказать Пушкин, что рука его крестится «на известку колоколен» <строка из стихотворения Есенина «Запели тёсанные дроги...»>?

Последовало длинное поучение о грамматике и чистоте великого русского языка, окончательно вогнавшее в краску вытянувшегося в струнку Сергея».

Из воспоминаний футуриста Василия Каменского:

«Однажды на званом ужине у Фёдора Сологуба, после выступления Маяковского, хозяин попросил прочитать свои стихи белокурого паренька, приехавшего будто бы только сейчас из деревни.

И вот на середину зала вышел деревенский кудрявый парень, похожий на нестеровского пастушка, в смазных сапогах, в расшитой узорами рубахе, с пунцовым поясом. Это был Сергей Есенин.

Слегка нараспев, крестьянским, изынным голосом он прочитал несколько маленьких стихотворений о полях, о березках. Прочитал хорошо, скромно улыбаясь.

А когда стали просить ещё, заявил:

– Где уж нам, деревенским, схватываться с городскими Маяковскими. У них и одежда, и щиблеты модные, и голос трубный, а мы ведь тихенькие, смиренные.

– Да ты не ломайся, парень, – пробасил Маяковский, – не ломайся, милёнок, тогда и у тебя будут модные щиблеты, помада в кармане и галстук с аршин».

Клюеву наконец удалось оторвать Есенина от Городецкого, и Сергей, оставив квартиру на Малой Посадской, поселился вместе с ним на другом конце города, в квартире его родной сестры Клавдии Алексеевны Рашепериной, на берегу Фонтанки, возле Египетского моста.

Усилия Городецкого, по изданию есенинской «Радуницы», успехом не увенчались, а Клюев договорился с издателем Михаилом Васильевичем Аверьяновым, и уже 16 ноября Есенин подписал следующий документ:

«1915 года ноября 16 дня продал Михаилу Васильевичу Аверьянову в полную собственность право первых изданий в количестве трёх тысяч эк-

земляров моей книги стихов «Радуница» за сумму сто двадцать пять рублей и деньги spolна получил.

Означенные три тысячи экземпляров М. В. Аверьянов имеет право выпустить в последовательных изданиях.

Крестьянин села Константинова Рязанского уезда и Рязанской губернии Кузьминской волости Сергей Александрович Есенин.

Петроград. Фонтанка, 149, кв. 9».

3

Литературно-художественное общество «Страда» к своему первому вечеру, назначенному на 19 ноября, готовилось основательно. Устраивался вечер в Зале гражданских инженеров, и на афишах было объявлено, что чистая прибыль от него поступает на содержание койки имени общества «Страда» при лазарете «Деятелей искусств».

Газета «Вечернее время» сообщала о задачах и планах «Страды»: «Общество это имеет целью всестороннее содействие развитию и процветанию народной литературы и распространение её художественных образцов. <...>

Организуются также и литературные вечера, на которых первое место будет отведено творчеству молодых авторов. Параллельно с этим будут даваться драматические спектакли, предшествуемые лекциями по литературе. Будущим летом общество «Страда» предполагает, как слышно, устроить специальное турне по провинции...»

Учредители общества Городецкий и Мурашёв вместе с председателем Ясинским провели огромную работу, отбирая и приглашая участников. Кроме литераторов, были среди них певцы и музыканты, артисты Императорских театров и даже хор гусяров.

«Биржевые ведомости» писали о выступлении Ясинского, открывавшего вечер:

«...И сколько талантливых людей не может выбиться на дорогу только потому, что им помочь некому. Особенно из народной среды. «Страда» все свои силы положит на то, чтобы помогать идти этим «славным из народа», народа, вступающего теперь в новый фазис своей жизни и ищущего новых путей. И.И. Ясинский предупредил, что тенденции «Страды» ничего общего со старым народничеством иметь не будут. Не подделываться под народные, чисто внешние примитивы будет новое общество, а извлекать из народных рудников подлинные, настоящие самоцветы.

То, что сказал И.И. Ясинский, описательно, наглядно подтвердил своим стихотворением «Гимн Страде» Сергей Городецкий, сам же его и прочитавший:

Верны заветной доле,
С зарей мы вышли в поле
На песни и труды.
Довольно тёмной дрёмы!
Стучим во все хоромы.
Настали дни страды.

Твои сердца, Россия –
Колосья золотые –
Взошли и налились.
От нашей мощной песни
И ты, кто спишь, воскресни
И жизни помолись...

Каждое слово этого гимна горело искренней любовью, вернее, даже влюблённостью в Русь, в красоту русского народного духа... Русь в изображении поэта вставала в такой «красе», которую «кто слеп – и тот увидит»...

<...> Он видит вокруг себя неисчерпаемые богатства русского духа, русского быта, видит всю красоту спящей красавицы-России, чувствует, что сон, в который она погружена, – глубок, что одному ему не разогнать, и вот он зовёт на помощь...

Его призыв был встречен бурными аплодисментами».

О самом концерте суждения газет были довольно разнообразны. Так откликнулась газета «Вечернее время»:

«Симпатичная цель общества – содействовать развитию и процветанию народной поэзии и распространению её художественных образов – сама говорит за то, что молодые свежие таланты найдут здесь, в обществе, приют и развитие. Несколько таких талантов выступило в программе вечера. Интересны «избяные песни» Н. Клюева в духе олонецких былин-сказаний, написанных красивым народным языком. <...> Оригинальные стихи молодого С. Есенина, крестьянина-пахаря; живой и правдивый рассказ «Валенки» И. Ломакина – всё это нравилось аудитории, большей частью состоящей из молодёжи. <...> В общем, немногочисленная публика осталась довольна вечером».

А в газете «Новое время» петроградцы читали:

«Программа концерта была интересна и разнообразна. Может быть, даже слишком разнообразна, так как к общему тону вечера совершенно не подходили ни соло на скрипке, ни эффектная итальянская ария, которую так странно было слышать между «Избяными песнями» Клюева и «Николаем Чудотворцем» Есенина:

*На престоле светит зорче
В алых ризах кроткий Спас.
Миколае Чудотворче,
Помолись ему за нас.*

Надо ли говорить, какой из двух жанров имел больший успех в публике, общеконцертный или народный...»

После успешного начала деятельности «Страды» раскол, неожиданно произошедший в рядах её организаторов, поразил всех. Поводом к нему было пожелание Ясинского и Игнатова видеть среди членов «Страды» поэта и беллетриста Д.М. Цензора, баллотировке которого воспротивился Городецкий. Об этом он писал в своём резком письме Ясинскому.

Свой следующий вечер «Страда» собиралась посвятить творчеству Есенина и Клюева, и секретарь общества Игнатов договаривался с Ясинским:

«...Ваше выступление на Клюево-Есенинском вечере необходимо как выражение отношения «Страды» к их творчеству.

Что захочет сделать Городецкий для этого вечера, пусть делает, но я на него не надеюсь. Серьёзно думаю, что он откажется от всякого в нём участия и, кроме того, он не может говорить от лица «Страды». Мы ему не доверяем. <...>

...послали ли Вы ему письмо на его неопозволительное к Вам обращение? Надо послать. Вообще недопустимо, чтобы наш председатель <...> получал оскорбительные письма от сочленов по О-ву. Оскорбляя Вас, он оскорбляет и «Страду». <...>

...Цензора проведём в члены во что бы то ни стало, т. к. в этом случае задето достоинство «Страды». <...>

На Клюева и Есенина письмо Городецкого произвело ужасное впечатление и они открыто говорят о полной своей от Городецкого отчуждённости».

4

Число печатных откликов, собираемых Есениным о своих выступлениях и творчестве, росло, и пополнилось вскоре ещё одной вырезкой – из екатеринодарской газеты «Кубанская мысль» со статьёй П.А. Кузько «О поэтах из народа (Сергей Есенин)»:

«Мы ещё имеем очень мало стихов Есенина, и они разбросаны по периодическим изданиям, но то, что есть, уже даёт возможность говорить о значительности и силе поэтического таланта этого юноши-поэта – крестьянина с золотистыми кудрями и светлой искренней улыбкой.

<...> в поэзии Есенина уже чувствуется загорающееся пламя любви к родине.

*Ах ты, Русь, моя родина кроткая,
Лишь к тебе я любовь берегу.
Весела твоя радость короткая
С громкой песней весной на лугу, –*

воскликает поэт, определяя русскую радость как радость «короткую» и родину – словом «кроткая»...

Взыскав Христа и правду любви Христовой, поэт говорит:

*И в каждом страннике убогом
Я вызнать пойду с тоской –
Не помазуемый ли Богом
Стучит берестяной клюкой...*

Подлинно медовой, «спасовой» Русью, весёлым хороводным плясом веет от таких строчек поэта:

*Пахнет яблоком и мёдом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за хороводом
На лугах весёлый пляс.*

Сочность, красочность и другие, ещё скрытые от широкой публики неисчислимые богатства русского языка видны уже и в этих приведенных мною небольших стихотворных отрывках».

С секретарём редакции московского журнала «Заря» Рыковским Сергей виделся в Москве в конце сентября, проездом в Петроград. Ему и отправлял он сейчас стихи для публикации:

«Г-н Рыковский!

Дружески пожимаю Вашу руку и шлю свои стихи. Может быть, Вы забыли желтоволосого, напоминающего пастуха на стене у Любови Никитичны <речь о картине работы брата поэтессы в квартире Столицы>.

Сей муж достал для Вас «Ярь» и перешлёт со своей книгой...

Передайте Любови Никитичне привет и скажите, что мне очень досталось <очевидно, от Городецкого> за то, что Любовь Никитична уехала <из Петрограда>, не повидавшись с Городецким.

Ещё раз жму руку.

Уважающий Вас Сергей Есенин.

Вместе в одном конверте стихи Клюева».

Гротескное описание ещё одной встречи Есенина и Клюева с М. Горьким оставил Пимен Карпов: «Это было в Питере зимой в разгар мировой войны. Давался один из вечеров, кажется, у художницы Любавиной. В просторной квартире собрались редкие гости – «жрецы искусства»... Художники рисовали, артисты драмы декламировали, певицы пели, балерины плясали, поэты читали свои стихи. Горький рассказал сказку-импровизацию о русском солдате, который спасал Европу. Европу солдат не спас, а без ног остался. Дали инвалиду-солдату костыль для передвижения «по миру», да он плохо передвигается... Норовит смазать «по рылу» своих радетелей. Ох, и огреет же он радетелей этих костылём, рано или поздно! – заключил Горький насмешливо.

...Какие-то дяди требовали от него рассказов для сборника «в пользу раненых воинов». Горький разводил руками – нету рассказов! А сам наблюдал за двумя «избяными» поэтами – Клюевым и Есениным. Те в бархатных кафтанах и шёлковых рубахах читали свои стихи о Руси. Горький вначале им хлопал, но когда они кончили – пробубнил добродушно:

– Однообразно уж очень... Изба да лапти. Это – несчастье наше: лапти. А у нас склонны их воспевать. Гм!

«Кондовой» Клюев в извозчичьей скобке, длинноусый, смиреннейше, с низкими поклонами возвратил Горькому его стрелы:

– Вы сами, Ликсей Максимыч, воспели бродячую Русь, которая... можно сказать, совсем без лаптей! И как воспели! По-гомеровски!

А Есенин кричал с задором:

– Лапти! Чего проще! Сами плетём!

Горький двинул плечами:

– Действительно... стихи писать – не лапти плести! Но я-то при чём? Певец Руси? Впервые это слышу. Почему Русь?

– Потому что вы – русский народный писатель, – опять, кланяясь в пояс, подтверждал Клюев.

– Я? Народный писатель? Спасибо, удружили. Может быть, русский писатель? Но только вряд ли «народный»... <...>

Горький остался верным себе: он подтрунивал над «народствующими» поэтами, а выдвигал поэтов-рабочих, поэтов города. Стихи же изыбаного Клюева называл «подделкой»...

5

Сказки Рязанской губернии, ещё весной обещанные Есениным Ремизову, Сергей передал вскоре после приезда, навестив Алексея Михайловича в его квартире на Таврической улице. Он привёз ему народные предания о Николае Чудотворце.

Ремизов использовал их в собственных творческих целях, художественно пересказывая и преобразуя в притчи. Уже в начале декабря он опубликует три из них: в газете «Речь» – «Свеча воровская» и «Николин умолот»; и в газете «День» – «Калёные червонцы». В 1917 году Ремизов издаст книгу «Николины притчи», где, среди прочих примечаний, уточнит, что пользовался и «рязанскими сказками с. Константинова, переданными мне поэтом С.А. Есениным»...

«О ту пору два модных имени: Клюев и Есенин... <...> ...бродят по «мережковским» закрепить своё литературное имя, но какая ж корысть. – Мережковский, Блок, Иванов-Разумник. Ведь появление Клюева в Петербурге – я заключил из его божественных патриотических признаний – по распутинской дороге он хочет пробраться во дворец к царю и Серёжу протащит с собой, «рыльце симпатичное», Клюеву надо – «Биржевка».

Молодой поэт Всеволод Рождественский, студент университета, с которым Сергей познакомился ещё весной в одной из редакций, однажды «...затащил Есенина в кружок университетских поэтов. Он пошёл неохотно, с видом некоторого снисхождения. Ему уже успели прискучить подобные выступления и в более льстивших его самолюбию кругах. Но здесь, среди горячей молодёжи, которая не обнаруживала перед ним и тени почтительной лестии, Есенин неожиданно оживился и с глубоким интересом стал вслушиваться в общий разговор. Читали в этот вечер много, с увлечением, спорили больше, чем обычно. Есенин не отставал от других. Я не узнавал его. Словно волною смыло с него всякую нарочитость. Впервые я услышал его непритворную и свободную речь о стихах. Он критиковал и восхищался совершенно так же, как и мы, его безвестные сверстники. Ему не перед кем было притворяться, и он с улыбкой сбросил свой оперный кафтан. Нашлась у кого-то гитара, Есенин сел боком на стул, задорно потрянул кудрями и уверенно тронул струны. Мягко, вполголоса пел он песни, свои и чужие, а лицо его было задумчивым и строгим. Когда попросили прочесть стихи, он так же просто отставил гитару в сторону и начал читать, постепенно всё более увлекаясь и увлекаясь движением собственной речи.

Я слышал многих поэтов, но никто из них не читал с такой предельной выразительностью, с таким самоупоением. Каждая фраза была гибкой и точной в есенинской передаче. Чувствовалось, что иначе и не могло быть произнесено, что найдены именно те слова, которые подсказывает подлинное волнение. Когда Есенин, кончив, вытирал лоб тёмно-малиновым платком, лицо его светилось широкой, рвущейся наружу радостью. И он был незабываемо красив в ту минуту. Зачем ему было рисоваться перед нами, щеголять нарочитыми славянизмами? Мы подняли бы его на смех. Он и сам не прочь был посмеяться над своими «высокими покровителями». Надушенный воздух великосветских салонов давно уже неприятно щекотал ему ноздри. Там ему всё же было душновато. И, только повинувшись Клюеву, тогдашнему своему наставнику, соглашался он ездить на эти званые вечера».

6

Открывала Сергею старый Петербург и девятнадцатилетняя Зоя, дочь Иеронима Ясинского:

«Однажды я провожала Есенина к Новой деревне и по дороге, как гид, рассказывала о литературных достопримечательностях Чёрной речки. На даче, в Лесном, летом 1844 года, совместно проживали В.Г. Белинский и И.С. Тургенев. За Удельным парком, на поляне, в сторону Коломяг лежит небольшой чёрный, совершенно необтёсанный камень. «Дикий», без всякой надписи – здесь происходила дуэль Пушкина с Дантесом. Есенин собирался посетить это место, и я объясняла, как проехать и пройти туда. Не знаю, успел ли Есенин выполнить своё намерение.

На Строгановской набережной, на берегу Невки, я показала Есенину дачу графа Строганова – красивый, двухэтажный барский дом, выкрашенный светлой охрой, с белыми наличниками. Здесь в тридцатых годах прошлого века жил на даче Пушкин с женой и детьми. Мы подошли близко к дому. На нём, конечно, тоже не было мемориальной доски. Обширный парк, выходящий также и на набережную узкой и вонючей Чёрной речки, до войны содержался в большом порядке. Теперь он был наполовину вырублен. В парке появились новые временные постройки, где разместились военные склады. Всё вокруг было захлавлено. В доме помещалась воинская часть, и нам не разрешили проникнуть внутрь. Есенин был искренно огорчён тем, что в столице разрушаются литературные памятники, а ему так хотелось «походить по тем комнатам, где Пушкин жил с женой», услышать, как скрипят половицы в старинном доме.

Есенин был литературно образован. Он многое успел прочесть».

Часто делился Сергей своими переживаниями с Володей Чернявским, с которым сблизился с первой встречи. Поэтому воспоминания того наиболее полны и интересны:

«В ноябре Сергей по частным причинам отошёл от Городецкого, и с тех пор его ближайшим другом, учителем и постоянным спутником становится Николай Клюев и начинается полоса их общей работы, прошедшей

под знаком верности народным «истокам» и той распри, о которой писал впоследствии Сергей.

Эти сложные взаимоотношения двух индивидуально ярких поэтов, о которых опасно говорить в коротких словах, неизбежно станут большой и, вероятно, загадочной темой для будущего исследователя; она потребует тонкого и бережного анализа, которому не пришлось ещё время. Но во всяком случае влияние Клюева на Есенина в 1915-1916 годах было огромно.

Не всегда относясь к Клюеву положительно, подымая иногда бунт против его авторитета и мистагогии, инстинктивно и упорно стремясь отстоять и утвердить свою личную самобытность, Есенин благоговел перед Клюевым как поэтом. В часы, когда тот читал с большим искусством свои тяжёлые, многодумные, изошрённо-мистические стихи и «беседные наигрыши», Сергей не раз молча указывал на него глазами, как бы говоря: вот они, каковы стихи!.. <...>

...эпизод, который Есенин не то весело, не то серьёзно, точно удивляясь самому себе, называл своим «романом». Его завязка относится к самому разгару успешных выступлений Сергея и вызвала слёзные нарекания и уговоры его спутника <Клюева>. В этой давней странице его городских блужданий, не коснувшейся по существу его личной жизни, есть одна остро запомнившаяся подробность, не случайная для будущего Есенина. Его дама принадлежала к художественному кругу. Увидев в фойе, что она кокетливо разговаривает, по его мнению слишком весело, «с каким-то бритым не то актёром, не то адвокатом», Сергей вдруг вскипел ревностью и, когда она, ничего не подозревая, подошла к нему, он навсегда простился с ней крепчайшим ругательством. По его словам – она, вся бледная от неожиданности, только тихо ответила ему: «Вот когда наконец мужик сказался».

Эта фраза произвела на него огромное впечатление».

«...на одном из вечеров в Тенишевском зале, – вспоминал Михаил Бабенчиков, – когда Василий Гнедов читал после Ахматовой, а Северянин – после Хлебникова, я зашёл в артистическую. В клубах табачного дыма мелькали – тяжёлая голова Сологуба, манерный Кузмин и улыбалось своей особенной улыбкой розовое лицо Есенина. Он стоял, прислонясь к стене, внимательно прислушиваясь к литературным разговорам. В его глазах горел огонёк живого интереса, и было ясно, что всюду он прозревал новизну, быть может, даже там, где её и не было, – он творил её».

Жизнь «раннего» Есенина – это в сущности борьба одного против всех. Два-три сторонника не могут пойти в счёт. И если бы не уверенность Есенина, что он победит, то он погиб бы в самом начале. Конечно, большинство думало иначе. В самом деле, что мог сделать какой-то деревенский парень «в плисовых штанах», почти неуч, против сплочённой, культурной, белокостной группы литературных патрициев. Есенина разглядывали как диковинку, выставленную в витрине. На самом деле в витрине была среда, в которую он попал, а за стеклом два жадных глаза «кудрявого мальчика», прикидывавшего в своём «мужицком» уме, сколько «мы» городские можем стоить.

Никто не травил Есенина, правда, его не понимали, меряя на свой аршин (например, считали тогда одно из его реалистических стихотворений «В избе» эстетским «натюрмортом»), но Есенина безусловно и умышленно отравляли. Он это ясно всегда сознавал и с этим боролся. Мне и ряду других лиц Есенин не раз говорил о своей любви к Фету».

Поэтесса и начинающая журналистка Лариса Рейснер выпустила в ноябре первый номер своего журнала «Рудин», в котором только сейчас опубликовала фельетон о вечере «Краса» (под псевдонимом Л. Храповицкий).

«Вот оно «просыпается красовитое слово народное», – писала она. – Видно, недаром добрый молодец, млад Есенин из Рязани, потряхивая кудрями русыми, приплясывал ножками резвыми!

Недаром и Ремизов, «старец-угрюмец», сорок лет на одном месте стоял, «камень не камень, твёрдый, как камень».

А «кружевница трущобная», кроткий отрок Городецкий! Поёт звонким голосом псалмы иорданские, тут вдвоицу неутешную приветит, там голодного обогреет, шелудивого обласкает.

Пусть ты многое перенесла, «родина страдалая», но за такими богатями не бывать тебе, «уточке без селезня».

Перед текстом была помещена карикатура, где на одном сучке сидели, в виде птиц-Сиринов: Городецкий – облезлый попугай, Клюев – поющая сова, Ремизов – снегирь и маленький воробышек – Есенин.

А. Блок в своём дневнике назвал журнальчик «Рудин» «плюющимся злобой и грязным», а карикатуры на поэтов по поводу «Красы» – «злыми».

НАРОДНЫЕ ПОЭТЫ

1

Очередное собрание членов общества «Страда» обсудило подготовку первого закрытого вечера общества, посвящённого «произведениям народных поэтов Н.А. Клюева и С.А. Есенина». После него секретарь общества Игнатов ещё раз напомнил письмом Ясинскому: «В четверг 10-го <...> вечер Клюева и Есенина. *За Вами слово «Страды» о них.* Согрейте их словом любви».

В эти же дни Чернявский был с Есениным и Клюевым в Мариинском театре на представлении оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деде Февронии»:

«Сергей, внимательный только к литературному слову как таковому, очень равнодушно относился к театру (многие частности культурной жизни подобно этой его не затрагивали). Он не умел быть «публикой». Исключения же, однако, бывали. На представлении «Китежа» (декабрь 1915 г.), где мы тоже были втроём (с ним и Клюевым), Сергей восторгался и оперой и исполнением Ершова».

Это признание Чернявского – «...тоже были втроём» – говорило о его возможности замечать многое из отношений Есенина и Клюева:

«К единству своего пути с судьбой Есенина, к их общей крестьянской миссии Клюев относился крайне ревниво, настойчиво опекая Сергея и иногда в лицо говоря «интеллигентам», что они Есенину не нужны и ничего, кроме засорения, не принесут в его жизнь и поэзию. Из тогдашнего постоянного общения с Клюевым родился, конечно, и теоретический трактат Есенина «Ключи Марии», вышедший впоследствии, после ссоры его с Клюевым, под знаком имажинизма».

В письме к своему другу Василию Гиппиусу (от 1 декабря) Чернявский писал: «Он <Клюев> совсем подчинил нашего Сергуньку: поясок ему завязывает, волосы гладит, следит глазами».

Мелкие и редкие гонорары за публикацию стихов заставили Есенина обратиться с письмом к критику и публицисту Иванову-Разумнику, как к члену комитета Общества для пособия нуждающимся литераторам и учёным («Литературный фонд»):

«Многоуважаемый Разумник Васильч!

В прошлом году я начал первый раз в Питере печатать свои стихи в «Русской мысли», «Северных записках», «Ежемесячном журнале», «Новом журнале для всех», «Голосе жизни», «Биржевых ведомостях», «Огоньке» и др.

На днях выходят сразу одна за одной мои две книги «Радуница» и «Авсень».

С войной мне нынешний год пришлось ехать в Ревель пробывать паклю, но ввиду нездоровости я вернулся. Приходится жить литературным трудом, но очень тяжело. Дома на родине у меня семья, которая нуждается в моей помощи. Ввиду этого, Разумник Васильевич, я попросил бы Вас похлопотать в Литературном фонде о ссуде руб. в 200.

Дабы я хоть не поскорю должен был искать себе заработок и имел возможность выбрать его.

Адрес мой: Фонтанка. 149, кв. 9.

Уважающий Вас Сергей Есенин.

Заседание членов комитета, состоявшееся через пару недель, заслушало «прошение поэта Сергея Есенина о ссуде в размере 200 руб.» и определило: «Выдать бессрочную ссуду 50 руб.» (В аналогичном прошении Литфонду, рассмотренном на этом же заседании, Н. Клюев просил о ссуде для себя в 300 руб.).

О подготовке Есенина к своему первому вечеру вспоминала Зоя Ясинская: «Печататься тогда, в условиях военного времени, было трудно, поэтому решили организовать вечер чтения стихов Есенина и Клюева. У нас, на Чёрной речке, в узком кругу литераторов, стихи Есенина оценили как новаторские, оригинальные, а главное, русские, и это сулило успех Сергею Есенину. Поэтому, естественно, обращали большое внимание на форму, чтобы не дать повода злостным критикам для нападок и насмешек в прессе.

Подробно обсуждалась и есенинская манера читать стихи. Их надо было «подать» для большой аудитории любителей поэзии, которые в течение полутора десятков лет воспитывались главным образом символистами

и понимали поэзию прежде всего как звучащее слово, по известной формуле французского поэта Поля Верлена: «Музыка, музыка прежде всего». Столичная публика, посещавшая «поэзо-концерты», была избалована: она знала различные и очень разнообразные способы «подачи» поэзии с эстрады у символистов, акмеистов, эгофутуриста Игоря Северянина и кубофутуристов. Широкая публика, в поисках «изюминки» заглядывавшая в подвал «Бродячей собаки», уже заинтересовалась чтением Маяковского, утверждая, что в его манере «что-то есть». Таким образом у Есенина было много соперников. Учитывая это, поэту давали всевозможные советы, тренировали, некоторые строфы просили повторить. На Чёрной речке Есенин как бы имел последнюю репетицию перед публичным выступлением.

И, надо сказать, Сергей Есенин выдержал экзамен с честью! Манера чтения у него уже была выработана. Позднее он только отделял детали, научился модулировать и управлять голосом, но главное – постановка голоса, певучесть с некоторым усилением её в конце строки – всё это уже было, и было своё, ни у кого не заимствованное. Читал Есенин уже тогда изумительно хорошо, свободно, с упоением. Когда читал – преображался, жестикулировал, увлекался сам и увлекал других. Жесты его были как бы аккомпанементом, хотя и не соответствовали ритму стиха, в то же время он заметно раскачивался в такт. Эта манера чтения значительно усиливала впечатление от стихов»...

Вечер состоялся в помещении общества «Страда», в том же Зале гражданских инженеров на Серпуховской. Кроме двух «народных поэтов», к участию были приглашены хор гуляров для исполнения «Русских песен»; артисты Малого театра, тоже для чтения стихов Клюева и Есенина и В. Устругова с русскими сказками.

Вступительное слово «Поэзия Клюева и Есенина» произнёс Ясинский: «...Стала шевелиться и сверкать блёстками золота и жемчугом пестрядинная ткань сутёмок русской души, стало оживать то, что чудилось мёртвым и оцепенелым, уже неспособным к самобытной жизни. А тут ещё эти сутёмки, вслед за частушкой <...>, выбросили из своих недр, из океана народного духа, увы! далеко не ведомого нам – на наш литературный берег таких двух поэтов, как Николай Клюев и Сергей Есенин. <...>

Мужественнее и грознее муза Клюева, женственнее и нежнее муза Есенина. Они точно представляют собой мужское и женское начало народной души в её поэтических проявлениях <...>

Достаточно послушать наших поэтов и вникнуть в мелодии жажды света, воли, любви и красоты юного Есенина и в угрюмые, как северные леса, и широкие и звучно льющиеся, как могучие северные реки, стихи Клюева, чтобы на вас пахнуло дыханием какой-то небывалой ещё у поэтов, приходящих из народных сутёмок (пользуюсь выражением Клюева), мощи и грозовой яркости настроений <...> И это не языческие образы, не те, которые погребены в летописях, в былинных сказах, не древний пепел истлевших форм русского слова, а что-то новое, никем ещё не уловленное <...>

Поэтическая душа Клюева подобна вулкану, который вот-вот изойдёт лавой, но только таинственно бушует и рокочет под крышкой своего кратера; а душа Есенина – цветник благоухающих русских цветов».

О выступлении поэтов на этом вечере рассказал Лев Клейнборг: «...он <Есенин> стал звать меня на Серпуховскую, где <...> готовился вечер Клюева и Есенина. Этот зал вообще облюбовала «Страда», устроив здесь свой клуб с дешёвым буфетом.

– Приходите, – говорил он, – очень вас просим.

– Что же будет?

– Вот придёте... увидите...

Когда я пришёл, была масса каких-то девиц и молодых людей. Здесь был Ясинский, если мне память не изменяет, Измайлов, критик «Биржевых ведомостей»; Городецкого не заметил. Разумеется, из этих людей, столь типичных в театрах, на вечерах, на журфиксах, я тотчас выделил Клюева, которого Есенин собирался привести ко мне, но так и не приводил.

Крепкий, высокий, с мохнатыми бровями, он был в поддёвке, в сапогах бутылками. И в такой же поддёвке и рубахе с поясом был Есенин. Но различие они заметно. Клюев напоминал хозяйственного мужичка, который приехал себя показать и на людей посмотреть: он весь был в степенности. В Есенине клюевской степенности не было и следа.

Увидев меня, он тотчас заулыбался мне: что-то зауценное мелькнуло в этой улыбке... <...>

Сцена представляла собой сельский вид, вид крестьянского двора; сами же Клюев и Есенин – в своих поддёвках, сапогах бутылками – театральные пейзажи. Клюев читал былины, сказки, Есенин – песни; уверенно выходили на сцену. Есенин-чтец ещё не достигал той музыкальной силы выражения, какая у него была впоследствии. Но чтение шло от естества, стихи их покоряли всех. И лица их светились сознанием своего значения».

2

Вскоре после вечера Есенин вновь встретился с Клейнборгом у него в Лесном: «...Есенин стучался в мой кабинет. В облике его пряталась тишина, которую уже я знал по встречам, и вместе с тем уверенность, что он желанный гость.

– Вот и я, старуха, – сказал он, пожимая руку.

Он мне дал накануне свой «Яр», позднее напечатанный в книжках «Северных записок», единственная как будто вещь, в которой он себя попробовал как прозаик.

– Не разобрался я местами, – сказал я. Но всё же высказал свой взгляд на «Яр». Это была иллюстрация к первому же стихотворению, которое он мне прочёл.

*Потонула деревня в ухабинах,
Заслонили избенки леса...*

Повесть так и начиналась: «По оконцам кочкового болота скользили волки». Тот же колорит лежал на языке: «вяхири», «бурьга», «голицы»...

«Просинья тыкала в лапти травяниковые оборки». Как и в стихах, божеское было перемешано с человеческим, с звериным... Та же древность, та же начальная грусть маячила между строк рассказа. Но в то же время стихия таланта отсутствовала. Не было тайников, из которых шла ветровая воля его поэзии... Всё это я ему и высказал. Выслушал он это уважительно, как всегда.

– Да, мне это говорят, – сказал он. – Но я могу и получше сделать.

Потом, помолчав:

– Понимаете, хотелось изобразить... Люблю я мужиков этих, коров, телеги, хомуты...

Он сделал какой-то жест, хотя, вообще, ещё не жестикулировал рукой. Рыжеватое лицо засветилось. Но ничего не округлилось у него. Я предложил ему две-три мелкие поправки.

– Что ж, это можно. Оно, в самом деле, ловчее.

Потом встал, прошёлся. Скользнул взглядом по книжным полкам. И как будто вне связи с тем, о чём шла у нас речь, полубопытствовал:

– Не заглушаете вы себя среди этих знаний?

– Почему это вам пришло в голову? – спросил я, не отвечая на вопрос.

– Да так, у нас в народе говорят: не вилай умом, как собака хвостом.

Если бы это сказал другой, можно было бы заподозрить обидный смысл. Но в словах Есенина ничего не было, кроме наивности, которая граничила, правда, с хитростью...».

Сергей Митрофанович Городецкий, покинувший «Страду» так неожиданно, в ответном письме к Александру Ширяевцу, перебравшемуся к этому времени из Чарджуя в Ташкент, не удержался от высказываний в адрес Есенина и Клюева:

«Дорогой Александр Васильевич!

Получил сейчас Ваши подарки, а третьего дня письмо. Надел тюбיתהйку и сию в ней. Анна Алексеевна ещё спит, – раскинул ей платок перед глазами. Нае <семилетняя дочь Городецких, Рогнеда> талисман очень полюбился. Все мы благодарим Вас очень, но я, по дружбе, сверх того и браню Вас крепко, зачем истратились.

Петроград Вас не забывает. Среди китов «Красы» имеется и Вы. Посылаю программу нашего вечера. К сожалению, мужики мало похожи на кремень, народ не очень прочный, лютый до денег, из-за чего на все стороны улыбки посылают. Я говорю о наших гостях-мужиках, Клюеве и Есенине.

Ваши новые работы очень меня интересуют. Радуюсь, когда вижу Вас в печати. Присылайте новое!

Ташкент, как я слышал, чудесный город. Что теперь делается в том доме, где умерла Комиссаржевская? Сохранена ли комната, есть ли какая-нибудь памятка? Сходите, посмотрите и напишите мне подробно.

Я с удовольствием вспоминаю, как лазал к Вам на Пушкинскую; и Ваш жилет, и открытки, и карамель, которой Вы питались, всё мило мне и дорого.

Обнимаю крепко, пишите чаще. Ваш С. Городецкий».

Анну Ахматову на вечерах и выступлениях Есенин встречал не часто. Жила она в Царском Селе с мужем, Николаем Гумилёвым и маленьким сыном. О себе позже она писала так:

«В тревожные годы первой мировой войны я, живя в Царском Селе, редко бывала в Петрограде и, право, меня не очень волновали «мировые события», слишком было много личного... Я жила в зачаровавшем меня мире поэзии. Писалось легко, хотя сердце часто было тревожным. Спасение от этих тревог находила в непрерывной песне о любви. Было уже прожито четверть века и я говорила себе – «старуха», но разве сердцу прикажешь молчать. Увлечена была акмеизмом, а это значит, что каждый поэтический образ у меня должен быть реально осязаемым, ясным, а язык кристально чист; герой чуть-чуть выше других и, может быть, чуть-чуть над другими, он совершенно реальный и в то же время не такой; которым можно любоваться и идти за ним и, как он, минуть суету сует».

Сергею нравились сокровенные стихи Ахматовой, которые она удивительно хорошо читала сама. О знакомстве с ней он даже не помышлял, видя её всегда строгой и неприступной, не похожей ни на одну из поэтесс.

Но ничего невозможного не существовало для Клюева, бывавшего, разумеется, у неё и Гумилёва. Так, в один из рождественских дней Клюев и Есенин появились в их доме на тихой царскосельской улочке Малая.

Анна Андреевна очень по-доброму вспоминала это знакомство с Есениным: «Видимо это было уже на второй или третий день Рождества, потому что он <Есенин> привёз с собой рождественский номер «Биржевых ведомостей». Немного застенчивый, беленький, кудрявый, голубоглазый и донельзя наивный, Есенин весь сиял, показывая газету. Я сначала не понимала, чем было вызвано это его сияние. Помог понять, сам не очень много понятый, его «вечный спутник» Клюев:

– Как же, высокочтимая Анна Андреевна, – расплываясь в улыбку и топорща моржовые усы, почему-то потупив глазки, поворковал, да, поворковал сей полудьяк, – мой Серёженька со всеми знатными пропечатан, да и я удостоился.

Я невольно заглянула в газету. Действительно, чуть ли не вся наша «знать», как изволил окрестить широко тогда известных поэтов и писателей Клюев, была представлена в рождественском номере газеты – Леонид Андреев, Ауслендер, Белый, Блок, Брюсов, Бунин, Волошин, Гиппиус, Мережковский, Ремизов, Скиталец, Сологуб, Тренёв, Тэффи, Шагинян, Щепкина-Куперник и Есенин, и Клюев. Иероним Ясинский умудрился в один номер газеты, как в Ноев ковчег, собрать всех, даже совершенно несовместимых, не позабыв и себя. Я не попала в эту «антологию», видимо, потому, что за несколько дней до этого он опубликовал в той же газете моё «Воспоминание» – «Тот август, как жёлтое пламя...». Но и без меня получился довольно пёстрый букет. Недавно, разыскивая забытые публикации, я просмотрела и эту газету и только сейчас, пятьдесят лет спустя, сделала открытие – в рождественском номере нет ничего рождественского; потом шла война, а на литературном Парнасе столицы мир и спокойствие, и только Блок туманно горевал над «Варшавой» да Сологуб вещал:

Огнедышащей грозюю,
Непросветны и могучи,
Над твоею головою
Пронеслись, отчизна, тучи...
Враг грозит нам бурей снова,
Мы же вспомним дни былые,
Как могуча и сурова
Ополчилась ты, Россия.

Тревожилась Гиппиус:

Вместо ёлочной восковой свечи
Бродят белые прожектора лучи,
Мерцают сизые, стальные мечи,
Вместо ёлочной восковой свечи.

Я хорошо представляла себе, как трудно было юноше разобраться в этом смешении имён и каких-то идей, ведь ему было всего двадцать лет и он был, или только казался мне, страшно открытым.

Но я чувствовала, что ему очень хочется прочесть его стихи, и попросила прочитать. Он назвал меня Анной Андреевной, а как же мне его называть? Так хотелось просто назвать – Серёжа, но это противоречило бы всем правилам неписаного этикета, которым мы отгораживали себя от тех, кто не принадлежал к нашей «вере», вере акмеистов, и я упрямо называла его Сергей Александрович.

И он начал читать, держа в одной руке газету, другой жестикулируя, но, видимо, от смущения, жесты были угловаты.

*Край родной! Поля, как святцы,
Роца в венчиках иконных,
Я хотел бы затеряться
В зеленах твоих стозвонных.*

*По меже, на переметке,
Резеда и риза кашки,
И вызванивают в чётки
Ивы, кроткие монашки...*

Услышав слово «чётки», я невольно подумала о своём последнем сборнике стихов «Чётки», интересно, одно и то же слово, а ведь оно служило разную службу: у него звенят ими ивы – кроткие монашки, а у меня я сама их перебираю, отмеривая вздохи чувств.

Читал он великолепно, хоть и немного громко для моей небольшой комнаты. Те слова, которые, он считал, имеют особое значение, растягивал и они действительно выделялись.

*Тебе одной плету венок,
Цветами сыплю стёжку серую.
О, Русь, покойный уголок,
Тебя люблю, тебе и верую.*

Постепенно скованность его уходила, и он доверчиво уже готов был

спорить. Он знал мои стихи и, прочитав наизусть несколько отрывков, сказал, что ему нравится – уж очень красивые и «о любви много», только жаль, что много нерусских слов. Это было очень наивно, но откровенно. Я парировала «удар» и сказала, что в его стихах много таких русских слов, которые разве что на Рязанщине знают. На мою реплику он не обратил внимания...

Мне его стихи нравились, хотя у нас были разные объекты любви – у него преобладала любовь к далёкой для меня его родине, и слова он находил совсем другие, часто уж слишком рязанские и, может быть, поэтому я его в те годы всерьёз не принимала...»

Из этого дома Есенин увозил оттиск из журнала «Аполлон» с поэмой – «У самого моря» и надписью: «Сергею Есенину – Анна Ахматова. Память встречи. Царское Село. 25 декабря 1915». Николай Гумилёв подарил ему сборник «Чужое небо», тоже с автографом.

О его впечатлении от этого знакомства рассказала Зоя Ясинская: «Помню, как волновался Есенин накануне назначенного свидания с Анной Ахматовой: говорил о её стихах и о том, какой он её себе представляет, и как странно и страшно, именно страшно, увидеть женщину-поэта, которая в печати открыла сокровенное своей души.

Вернувшись от Ахматовой, Есенин был грустным, заминал разговор, когда его спрашивали о поездке, которой он так ждал. Потом у него вырвалось:

– Она совсем не такая, какой представлялась мне по стихам.

Он так и не смог объяснить нам, чем же не понравилась ему Анна Ахматова, принявшая его ласково, гостеприимно. Он не сказал определённо, но как будто жалел, что поехал к ней».

4

О литературной жизни Есенина в Петрограде Чернявский отмечал: «Во второй половине 1915 года и в 1916 году Сергей, на поверхностный взгляд, мало менялся, продолжая пассивно осваиваться с новым миром и разбираясь в «разногласии мнений». Не колебался и строй его песни, навсегда чужой ежедневности. «Подвиг» его лишь в том, как он нёс и защищал эту песню: в этой защите разрывалась и крепла его личность. Податливый только на те влияния, которые не сбивали его с органического пути, он не изменял ничему изначальному своему. Нельзя было ни убить его иронией, ни захвалить – ни то, ни другое его не пронзало. Он знал себе цену, но по-малкивал о ней: к откликам прислушивался с детской радостью, преувеличивая их искренность; на шипение не плевал, а скорее улыбался. С резкими выпадами ещё не боролся, притихал. Но стремление по-своему оценивать людей и вещи, входящие в круг его ближайших интересов, проявлялось в нём сильно. Он судил обо всём уже определённо, решительно, «буйственно». Его смирение было чисто внешним. Никакая рефлексия не размягчала его здоровых мускулов.

Если иногда на миру, в обществе так называемых «культурных людей», его вовлекали в щекотливый литературный спор, он старался не теряться.

Но его нестройный разговорный язык не ассонировал с академической речью и над ним смеялись.

Начиная развивать своё мнение на отвлечённую тему и ища обобщающих формул, он впадал в косноязычие и орудовал одними народными образами первобытного «имажинизма», облекая в них все понятия. Он хотел говорить как поэт.

На эту удочку его легко было поймать и, когда он сбивался, не менее легко было почесать языки по поводу некультурности «чернозёмного паренька». Нечего и говорить, что Сергей не любил этих бесед.

Но в своей компании, где тянулись к нему нити дружбы, где перестали помнить, что он чужой и «гость», он спорил с азартом и отстаивал свои мнения упрямо, по-мальчишески поругиваясь, пересыпая свои доказательства неизменным: «Понимаешь? Да ты пойми!». Был он всегда весел, и, когда вносил свою незабываемую «Сергунькину» улыбку на порог комнаты, мы все становились ещё моложе, чем были. Он часто смеялся, не очень громко, погыкивая, высоким добрым смешком, до щёлочек сощуривая свои озорные глаза, делая меткие сравнения и всех заражая своим задором. Хорошо было весёлой гурьбой – с ним в центре – гулять по улицам. <...>

В наружности Сергея – под разными последовательными влияниями – скоро появился внешне профессиональный отпечаток. Его старшие начётчики с самыми лучшими намерениями старались стилизовать его на разные лады. В этом он был более всего пассивен и сам колебался в вопросе, какие прикрасы ему больше к лицу.

Некоторые советовали ему, отпустив подлиннее свои льняные кудри, носить поэтическую бархатную куртку под Байрона. Но народный поддёвочный стиль восторжествовал; его сторонником был главный наставник Сергея – Клюев, о котором пришлось бы говорить непрерывно, вспоминая общий дух его «трудов и дней»...».

Отдельные разговоры были у Чернявского с Сергеем на тему странных отношений, встречавшихся среди городских типов столицы:

«...Весной 15-го года ему было не до того, как не было особенного соблазна и в вине, выпиваемом им в гостях деликатно и умеренно. И только впоследствии, во второй приезд, он откровенно поделился в дружеском разговоре со мной новым обеспокоившим его вопросом, над которым раньше не очень задумывался. Речь шла о том, что он называл «мужеложством», удивляясь, что так много этого вокруг и научившись разбираться в столичных городских типах и порочных двойственных взглядах».

В записи Чернявского (от 23 декабря) звучит сожаление, что нельзя отвести Есенина от Клюева:

«К Клюеву нет у меня по-прежнему симпатии и в нытьё его нет веры; ничего он не «нашёл», воровит, хитрит, не любя никого, кроме, пожалуй, Сергуньки, которого так хочется избавить от этого духовного главенства. Ощущение явственное: подлинный цветок и столько бесов, городских, и иных, – вокруг».

«...Ни одной минуты я не думал, – вспоминал Чернявский, – что эротическое отношение к нему (Есенину) Клюева, в смысле внешнего его проявления, могло встретить в Сергее что-либо кроме резкого отпора, когда духовная нежность и благодатная ласковость перешли в плоскость физиологии.

С совершенно искренним и здоровым отвращением говорил об этом Сергей, не скрывая, что ему пришлось физически уклоняться от настойчивых притязаний «Николая» и припугнуть его большим скандалом и разрывом, невыгодным для их поэтического дела.

Особенно его возмущало, что к нему «смеет лезть» этот «больной», который «дома всё возится с мазями, банками и рецептами» и глотает нивесь от чего лекарства. Говорил он (Есенин), что Клюев, приходя из гостей, где пил со смирением только голый кипяток, докусывая сухариками, громко объявлял, что проголодался и просит сестру подать ему поскорее «ветчины да чаю». <...>

...Ко мне лично Клюев обратился с просьбой «Оставить Серёженьку», только однажды, да и то обиняком; рассказывали, что перед другими он даже молебно становился на колени и чуть не плакал. Всюду сопровождая Сергея, он следил за ним с неотступным вниманием.

...Клюев много хорошего мне говорил, но чем лучше и нежнее говорил, тем дальше и чужее становился, даже и целую «в сердечко».

Эти мистагогические беседы Клюева часто заставляли нас резко менять мнение о нём. То казался он тонким и сладким хитрецом («Клюев большая и хитрая дрянь»), то убеждал в своём тайном знании. Но когда беседы чересчур затягивались и от туманных вершин «глубинности» перекидывались к обоюдоострым вопросам практической морали, где между нами не могло быть ничего общего, Клюев сам обрывал их, как бы во имя духовного целомудрия: «Ну, довольно, родненький. Поаккуратнее, поаккуратнее в словах-то...»

В буржуазных салонах, которые Клюев охотно посещал, держа себя, однако, постником и отказываясь от чая и мяса, его иногда довольно нагло припирали к стене, говоря ему в шутку: бросьте притворяться, Николай Алексеевич, ведь говорят же о вас, что вы кончили университет. Памятен неожиданно резкий его отпор на прямой упрёк во лжи: он ответил собеседнику, что ложь, может быть, единственное их (подлинных людей из народа) оружие против интеллигентов».

И ещё запись Чернявского: «Был вчера с ним (Серёжей) и Клюевым в храме Воскресения. Клюев рассказывал о Соловках, объясняя технику всякого шитья: «смотри, смотри, родненький». Мне с ними хорошо, хотя Клюев и хитрец со своей полуаскетической пустыней».

Однажды у Ясинских при Есенине зашёл разговор о Блоке:

«Мы знали, что, приехав в Петроград, Есенин прямо с вокзала явился к Блоку, и осторожно спросили, не разочаровал ли его Блок при личном свидании? Ведь Блок, говорили мы, такой гордый или самоуглублённый, не поймёшь, ходит, высоко подняв голову, не замечая простых людей. Я <Зоя Ясинская> именно таким запомнила Блока. Как-то поздним зимним вечером он приезжал к отцу с Натальей Потапенко, спросил меня ледяным голосом:

«Дома ли Иероним Иеронимович? Если никого нет, я пройду к нему, а если кто-нибудь есть, – мы уедем...». И просил, чтобы никто не входил.

Помнится, как горячо стал Есенин защищать Блока:

– Тут другое... Блок не только такой, как его стихи, он намного лучше своих стихов.

Есенин говорил, что Александру Блоку он бы простил всё».

Иероним Иеронимович считал себя не только большим писателем, но и хорошим художником. Со многими художниками, вплоть до Репина, он дружил, участвовал в выставках и даже сдавал свои работы в магазин для продажи.

Портрет Сергея Есенина, маслом с натуры, он написал давно, а в одно из появлений Сергея с Клюевым сделал с них зарисовку.

На переднем плане – профиль Клюева, с высоким лбом и «моржовыми» усами, а из-за него, слегка наклонив голову, скромно глядит на нас кудрявый юноша.

5

Из Москвы приехала в столицу на Рождество молодая поэтесса Марина Цветаева. На званом вечере у Каннегисеров, под самый Новый – 1916-й – год она и увидела впервые Сергея Есенина. Об этой встрече – в её очерке «Нездешний вечер» (1936 г.), посвящённом памяти поэта Михаила Кузмина.

Начало публикуемого отрывка – её диалог с отцом Лёни («...высокий, важный, иронический, ласковый, неотразимый» инженер Иоаким Каннегисер, которого Цветаева звала про себя – «лорд»):

« – Вас очень хочет видеть Есенин – он только что приехал. А вы знаете, что сейчас произошло? Но это несколько... вольно. Вы не рассердитесь?»

Испуганно молчу.

– Не бойтесь, это просто – смешной случай. Я только что вернулся домой, вхожу в гостиную и вижу: на банкетке – посреди комнаты – вы с Лёней, обнявшись.

Я: – Что-о-о?!

Он невозмутимо:

– Да, обняв друг друга за плечи и сдвинув головы: Лёнин чёрный затылок и ваш светлый кудрявый. Много я видел поэтов – и поэтесс, – но всё же, признаться, удивился...

Я:

– Это был Есенин!

– Да, это был Есенин, что я и выяснил, обогнув банкетку. У вас совершенно одинаковые затылки.

– Да, но Есенин в голубой рубашке, а я...

– Этого, признаться, я не разглядел, да из-за волос и рук ничего и видно не было.

Лёня, Есенин. Неразрывные, неразливные друзья. В их лице, в столь разительно разных лицах их сошлись, слились две расы, два класса, два мира. Сошлись – через всё и вся – поэты.

Осип Мандельштам, полузакрыв верблюжьи глаза, вещает:

Поедем в Ца-арское Се-ело,
Свободны, веселы и пьяны,
Там улыбаются уланы,
Вскочив на крепкое седло...

Пьяны ему цензура переменяла на рьяны, ибо в Царском Селе пьяных уланов не бывает – только рьяные!..

Критик Григорий Ляндау читает свои афоризмы. И ещё другой критик, которого зовут Лаурсаб Николаевич. Помню из читавших ещё Константи-на Ляндау из-за его категорического обо мне, потом, отзыва – Ахматовой. Ахматова: – Какая она? – О, замечательная! – Ахматова, нетерпеливо: – Но можно в неё влюбиться? – Нельзя не влюбиться. (Понимающие мою любовь к Ахматовой – поймут).

Читают Лёня, Иванов, Оцуп, Ивнев, кажется – Городецкий. Многих – забыла. Но знаю, что читал весь Петербург, кроме Ахматовой, которая была в Крыму. И Гумилёва – на войне.

Читал весь Петербург и одна Москва.

...А вьюга за огромными окнами подвижно бушует. А время летит. А мне, кажется, пора домой, потому что больна моя милейшая хозяйка, редакторша «Северных записок», которая и выводит меня в свет, сначала на свет страниц журналов (первого, в котором я печатаюсь), а сейчас – на свет этих люстр и лиц.

София Исааковна Чацкина и Яков Львович Сакер, так полюбившие мои стихи, полюбившие и принявшие меня как родную, подарившие мне три тома Афанасьевских сказок и двух рыжих лисиц (одну – лежачую круговую, другую – стоячую: гонораров я не хотела) и духи Casmin de Corse – почтить мою любовь к Корсиканцу, – возившие меня в Петербурге на острова, в Москве к цыганам, все минуты нашей совместности меня праздновавшие...

Дом «Северных записок» был дивный дом: сплошной нездешний вечер. Стены книг, с только по верхам приметными тёмно-синими дорожками обоев, точно вырезанными из ночного неба, белые медведи на полу, день и ночь камин, и день и ночь стихи, особенно – «ночь». Два часа. Звонок по телефону. – К вам не поздно? – Конечно, нет! Мы как раз читаем стихи. – Это «как раз» было – всегда.

Так к ней тороплюсь, к Софье Исааковне, которая наверное с нетерпением ждёт меня – услышать про мой (а этим и свой) успех».

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

В МОСКВЕ

1

Полковник Ломан, активный деятель «Общества возрождения художественной Руси», близкий к придворным кругам, уже при первой встрече с

Клюевым и Есениным оценил их творческие возможности. У него возник план: выступить «сказителем» в Москве, перед Великой Княгиней Елизаветой Феодоровной.

Согласовав с ней возможность такого выступления, Ломан дал указание своему московскому «порученцу» Николаю Тимофеевичу Стулову обеспечить их в Москве жильём и в кратчайший срок пошить им новые концертные костюмы. Дело в том, что Стулов был совладельцем торгового дома – «Братья Стуловы», имеющего мастерские по пошиву «русского платья», а во время войны числился ещё и прапорщиком у Ломана, имея прямое отношение к различным поставкам для нужд Феодоровского Государева собора.

Великая Княгиня Елизавета Феодоровна Романова являлась настоятельницей Марфо-Мариинской обители в Москве. Урождённая принцесса Гессен-Дармштадтская, старшая сестра будущей Императрицы Александры Феодоровны, в 1884 году стала женой Великого Князя Сергея Александровича, московского генерал-губернатора. Приняв в 1891 году Православие, Елизавета Феодоровна много сил и средств отдавала созданию благотворительных организаций и общин, возглавила первый Комитет Российского общества Красного Креста.

После гибели мужа от бомбы террориста она полностью посвятила себя делам благотворительности. В Марфо-Мариинской общине, которую Елизавета Феодоровна создала в 1910 году, она вместе с сёстрами общины дала обет: «Я оставляю блестящий мир, где я занимала блестящее положение, но вместе со всеми вами я восхожу в более великий мир – в мир бедных и страдающих».

Клюев и Есенин прибыли в Москву 4 января 1916 года. «Торговый дом Братьев Стуловых» на Ильинке они разыскали к вечеру. Николай Тимофеевич сам отвёл их в «Лоскутную гостиницу», в которой братья владели несколькими номерами. Делами решили заняться с завтрашнего дня.

Мастерские Стуловых размещались при домовладениях братьев, и тут Клюев проявил себя знающим, хозяйственным мужиком: придиричиво шупал и перебирал шёлковые материи для рубаш, с понятием обсуждал покрой бархатных кафтанов, долго подбирал кожу для сапог, остановившись, наконец, на золотисто-коричневом цвете. Есенин полностью полагался на него.

Так как в Москву они попали под самое Крещение, то встреча с Великой Княгиней откладывалась на несколько дней.

Есенин навестил отца, повидался со старыми знакомыми, но только собрался к своей гражданской жене Анне Изрядновой и сыну, как тут же встретил неожиданное сопротивление Клюева:

«По возвращении из первой поездки в Москву, – вспоминал Чернявский, – Сергей рассказывал, как Клюев ревновал его к женщине, с которой у него был первый – городской – роман: *«Как только я за шапку, он – на пол, посреди номера, сидит и воет во весь голос по-бабьи: не ходи, не смей к ней ходить!..»*.

К этой же поездке относится и посещение храма Христа Спасителя, с пророчеством, известным нам со слов Клюева:

«1916 год. Россия падает... Мы идём с Сереженькой по Москве и уже в

третьем часу ночи заходим в храм Христа Спасителя. И тут от стены отделяется схимница в чёрном платье по брови и, обращаясь к Есенину, говорит: «Уходи отсюда, висельник!».

Сразу после Крещения Клюев и Есенин отправились на Большую Ордынку – тихую улицу в Замоскворечье, по сторонам которой двухэтажные дома и особняки, накрытые снежными шапками. За резными коньками крыш и голыми макушками деревьев виднелись золотящиеся купола. Среди векового парка стоял собор в орнаментах из резного белого камня с чертами зодчества древнерусских городов.

Их встретили Великая Княгиня и сёстры: в одинаково белых апостольниках (головной плат, закрывающий грудь и шею), под покрывалами, в платьях, напоминающих подрясники. Елизавета Феодоровна сама провела гостей по Покровскому храму, построенному в 1912 году зодчим Щусевым. Особенно восторгался Клюев работами своего любимого художника Нестерова: образом – «Христос у Марфы и Марии» и росписью в трапезной храма – «Путь ко Христу».

Им показали больницу и амбулаторию, где 34 врача ежедневно и безвозмездно принимали больных. Сёстры, кроме больницы, ходили по домам, а также вели занятия в воскресной школе при обители для девушек и женщин. Ежедневные обходы всех больных делала и сама Елизавета Феодоровна.

Выступали «сказители» перед больными и сёстрами в лазарете пока ещё в своих «поддёвочных» одеяниях. И не было у них, уже избалованных залами и салонами, лучших слушательниц.

После выступления Елизавета Феодоровна долго беседовала с ними, просила объяснить смысл некоторых клюевских сказаний, расспрашивала их о жизни.

Недаром через несколько лет, Клюев вспоминал:

«Гостил я и в Москве, у царицыной сестры Елизаветы Феодоровны. Там легче <чем в Царском Селе> дышалось и думы светлее были. Нестеров – мой любимый художник, Васнецов на Ордынке у княгини запросто собирались. Добрая Елизавета Феодоровна и простая спросила меня про мать мою, как её звали и любила ли она мои песни. От утончённых писателей я до сих пор вопросов таких не слышал».

Удивительные слова о Великой Княгине принадлежат перу Ивана Алексеевича Бунина: «На Ордынке я остановил извозчика у ворот Марфо-Мариинской обители: там во дворе чернели кареты, видны были раскрытые двери небольшой освещённой церкви, из дверей горестно и умиленно несло пение девичьего хора. Мне почему-то захотелось непременно пойти туда...

Но только я вошёл во двор, как из церкви показались несомые на руках иконы, хоругви, за ними, вся в белом, длинном, тонкокожая, в белом обрусе... высокая, медленно, истово идущая с опущенными глазами, с большой свечкой в руке, Великая Княгиня; а за нею тянулась такая же белая вереница поющих, с огоньками свечек у лиц, инокинь или сестёр, уж не знаю, кто были они и куда шли. Я почему-то очень внимательно смотрел на них...»

Разговаривая с Елизаветой Феодоровной, не знал Есенин, что через полгода он будет читать свои стихи в Царском Селе её сестре – Российской Императрице.

2

В типографии «Товарищества И.Д. Сытина» Есенина и Клюева ждала удача: в свежем номере журнала «Заря» была напечатана подборка клюевских стихотворений «Деревенские песни».

Луговые потемки, омежки, стога,
На пригорке ракета – сохачьи рога,
Захлебнулась тальянка горячею мглой,
Голосит, как в поминок семья по родной:
«Та-ля-ля, та-ля-ля, ти-ли-ли.
Сенокосные зори прошли...»
Медным плачем будя тишину,
Насулила тальянка войну.

А стихи Есенина обещали напечатать в ближайшем журнале.

Письмо, над которым трудился Николай Тимофеевич Стулов, являло полный отчёт полковнику Ломану:

«Глубокоуважаемый Дмитрий Николаевич!

Считаю долгом Вас уведомить, что, не получив от Вас указаний на то, как поступить с отобранными мною для Вас вещами в Кустарном музее, я распорядился запаковать оказавшиеся в наличии 12 стульев, одно кресло к обеденному столу и 6 люстр, и просил справляться ежедневно на Николаевской ж. д., когда откроется приём груза на Петроград большой или малой скоростью, и отправить мебель при первой возможности. <...>

Четвёртого января вечером приехали ко мне сказители <Есенин и Клюев>, и я предоставил в их распоряжение комнату и постарался устроить их возможно удобнее.

На другой день я отобрал по их указанию материи и отдал в работу вещи.

Сапоги с трудом, но удалось найти: они выбрали цвет кожи золотисто-коричневый, хотя не совсем стильный, но очень приятный, не режущий глаз.

Сапоги будут готовы только в пятницу.

Сказители были один раз в Марфо-Мариинской общине и выступали в присутствии Великой Княгини, завтра, уже в новых костюмах, они будут лично у Великой Княгини в её доме.

По их словам, они очень понравились Великой Княгине, и она долго спрашивала их о их прошлом, заставляла объяснять смысл их сказаний. <...>

Совершенно преданный Вам Н. Стулов».

12 января Есенин и Клюев вновь выступали в Марфо-Мариинской общине, в этот раз перед Великой Княгиней и небольшим числом ею приглашённых, среди которых были художники Виктор Васнецов и Михаил Несте-

ров. В комнате настоятельницы, украшенной лишь благолепными иконами, преобладал белый цвет. Гости располагались за столом, на креслах из камыша и простых стульях.

Живописец Михаил Васильевич Нестеров так запомнил это выступление: «В начале месяца мы с женой получили приглашение вел. княгини послушать у неё «сказителей». Приглашались мы с детьми. В назначенный час мы с нашим мальчиком были на Ордынке. Там собрался небольшой кружок приглашённых, знакомых и незнакомых мне. Вел. княгиня с обычной приветливостью принимала своих гостей. Все поместились вокруг большого стола, на одном конце которого села вел. княгиня. В противоположном конце комнаты сидели сказители. Их было двое: один молодой, лет двадцати, кудрявый блондин, с каким-то фарфоровым, как у куколки, лицом. Другой – сумрачный, широколицый brunet лет под сорок. Оба были в поддёрках, в рубахах-косоворотках, в высоких сапогах. Сидели они рядом.

Начал молодой: нежным, слащавым голосом он декламировал свои стихотворения. Содержания их я не помню, помню лишь, что всё: и голос, и манера, и сами стихотворения показались мне искусственными. После перерыва стал говорить старший. Его манера была обычной манерой, стилем сказителей. Так сказывали Рябинин, Кривополенова и другие, попадавшие к нам с севера. Голос глуховатый, дикция выразительная. Сказывал он и про «Вильгельма лютого, поганого». Называлось сказание «Беседный наигрыш». За ним шёл «Поминный причет» <правильно, причит> и, наконец, «Небесный вратарь». Последние два были посвящены воинам. Из них мне особенно понравился «Поминный причет».

Покойные солдатские душеньки
Подымаются с поля убойного:
До подкустыя они – малой мошкою,
По надкустыю же – мглой столбовитою,
В Божьих воздухах синью мерещатся,
Подают голоса лебединые,
Словно с озером гуси отлётные,
С святорусской сторонкой прощаются...

«Сказители эти были получившие позднее шумную известность поэты-крестьяне – Есенин и Клюев. Всё, что сказывал Клюев, соответствовало времени, тогдашним настроениям, говорилось им умело, с большой выразительностью.

После всего гости оставались некоторое время, обмениваясь впечатлениями. Был подан чай. Поблагодарив хозяйку, все разошлись...»

Растроганная и благодарная, Елизавета Феодоровна подарила «сказителям» по Евангелию и серебряные образки с изображением иконы Покрова Пресвятой Богородицы и святых Марфы и Марии.

Надписал им открытку с репродукцией своей картины «Святая Русь» и Нестеров: «Сердечный привет певцам русской были и небыли от Михаила Нестерова. Москва. 1916».

А в Петрограде в то же время полковник Ломан подал в Генеральный Штаб ряд представлений.

В первом из этих документов «ходатайствуется о зачислении в Царско-сельский военно-санитарный поезд № 143 ЕЁ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ФЕОДОРОВНЫИ следующих лиц: «...3) Крестьянина Рязанской губ. и уезда Кузьминской волости села Константинова Сергея Александрова Есенина...».

Во втором документе содержалась характеристика только одного человека: «Николай Алексеевич Клюев призыва 1907 года, белобилетник. Освобождён от военной службы вследствие тяжкой болезни. 6 месяцев лежал в Николаевском военном госпитале на испытании».

3

Концертные костюмы Есенина и Клюева стараниями Стулова были наконец готовы и поэты «обновили» их на своём последнем выступлении в Москве, в собрании «Общества свободной эстетики». На этом выступлении была и Анна Романовна Изряднова:

«В январе 1916 года приехал с Клюевым. Сшили они себе боярские костюмы – бархатные длинные кафтаны; у Сергея была шёлковая голубая рубашка и жёлтые сапоги на высоком каблуке, как он говорил: «Под пятой, пятой хоть яйцо кати». Читали они стихи в лазарете имени Елизаветы Фёдоровны, Марфо-Марьянской обители и в «Эстетике». В «Эстетике» на них смотрели как на диковинку...».

Самые подробные впечатления о поэтах оставил историк русской поэзии И. Розанов:

«21 января 1916 года я узнал, что в Москву приехал Николай Клюев и вечером будет выступать в Обществе свободной эстетики. Я не очень любил это общество и почти никогда там не бывал, но Клюева мне хотелось послушать и посмотреть. Уже четыре года, как он обратил на себя всеобщее внимание. Он уже успел выпустить три книги стихов, и я был ими очень заинтересован.

Собрание Общества свободной эстетики на этот раз происходило в помещении картинной галереи Лемерсье на Петровке. Я нашёл знакомых, с которыми ранее уговорился встретиться. Стали дожидаться вместе. Наконец раздался шёпот: «Приехал!».

И вот между пиджаками, визитками, дамскими декольте твёрдо и уверенно пробирается Николай Клюев. У него прямые светлые волосы; прямые, широкие, спадающие, «моржовые» усы. Он в коричневой поддёвке и высоких сапогах. Но он не один: за ним следом какой-то парень странного вида. На нём голубая шёлковая рубашка, чёрная бархатная безрукавка и нарядные сапожки. Но особенно поражали пышные волосы. Он был совершенно белоголовый, как бывают в деревне малые ребята. Обыкновенно позднее такие волосы более или менее темнеют, а у нашего странного и нарядного парня остались, очевидно, и до сих пор. Они были необычайно кудрявы.

Распорядитель объявил, что стихи будет читать сначала Клюев, потом... Последовала незнакомая фамилия. «Ясенин», послышалось мне. Это легко

осмысливалось: «Ясень», «Ясюнинские»... И когда через полгода я купил только что вышедшую «Радуницу», я не без удивления увидел, что фамилия автора начинается с «е» и что происходит она не от «ясень», а от «осень», по-церковнославянски «есень».

Сначала Клюев читал большие стихотворения, что-то вроде современных былин, потом перешёл к мелким, лирическим. Помню, как читал он свой длинный «Беседный наигрыш. Стих доброписный». Содержание было самое современное:

Народилось железное царство
Со Вильгельмищем, царищем поганым. –
У него ли, нечестивца, войска-сила,
Порядового народа – несусветно...

Клюев поражал своею густою красочностью и яркою образностью.

Очередь за другим поэтом. Он также начал с эпического. Читал о Евпатии Рязанском. Этой былины я нигде потом в печати не видел и потому плохо её помню. Во всяком случае, тут не было того воинствующего патриотизма, которым отличались некоторые вещи Клюева. Если тут и был патриотизм, то разве только краевой, рязанский. Потом Есенин перешёл к мелким стихам, стихам о деревне. Читал он их очень много, разделял одно от другого короткими паузами, читал, как помнится, ещё не размахивая руками, как было впоследствии. «Жарит, как из пулемёта», – сказал мой сосед слева. Большинство прочитанного поэтом вошло потом частью в «Радуницу», частью в «Голубень».

– Это что-то вроде Кольцова или Некрасова, которых я терпеть не могу! – сказала моя соседка справа, художница-футуристка, щеголявшая своей эксцентричностью.

Потом был перерыв, потом опять читали в том же порядке. В перерыве и по окончании в гардеробной слушатели обменивались впечатлениями о стихах и о наружности поэтов. Сосед мой слева, поклонник Тютчева, одобрял Клюева:

– Какая образность! Например: «Солнце-колокол». Помните у Тютчева: «Раздается благовест всемирный победных солнечных лучей».

Другой поэт, деревенский парень, ему не понравился.

Ещё резче отнеслась к нему моя соседка справа, художница. Когда на лестнице к ней подошёл Клюев, с которым она уже была раньше знакома, и спросил: «Ну как?», она с дерзостью избалованной женщины отвечала:

– Сначала я слушала, а потом перестала: ваш товарищ мне совсем не понравился.

– Как? Такой жавороночек? – И в тоне Клюева послышалась ласковость к своему «сынку» и сожаление.

– Впрочем, о вкусах не спорят, – смягчила свою резкость художница. – Может быть, кому-нибудь другому он и пришёлся по вкусу.

Впоследствии, глядя на Есенина, я не раз вспоминал это определение Клюева: «жавороночек».

Но среди слушателей раздавались и голоса, отдававшие предпочтение безвестному до сих пор в Москве Есенину перед гремевшим в обеих столи-

цах Клюевым. Я жадно прислушивался к этим толкам. Мне лично Клюев показался слишком перегруженным образами, а местами и прямо риторичным. Правились отдельные прекрасные эпитеты и сравнения, но ни одно стихотворение целиком. Есенина я, как и многие другие, находил проще и свежее. Тут были стихотворения, понравившиеся мне целиком, например, «Корова», где уже сказалась столь характерная для позднейшего Есенина нежность к животным. «Песня о собаке», написанная на однородную тему, конечно, лучше, но и здесь типичный мотив: «Для зверей приятель я хороший».

*Не дали матери сына,
Первая радость не впрок.
И на колу под осиной
Шкуру трепал ветерок.*

Кажется, в первый раз в русской поэзии поэт привлекал внимание к горю коровы.

Ещё более произвело на меня впечатление «В хате» («Пахнет рыхлыми драчёнами...»), а особенно три последние строчки:

*От пугливой шумоты,
Из углов щенки кудлатые
Заползают в хомуты.*

И ночью, уже ложась спать, я всё восхищался этой «пугливой шумотой» и жалел, что не могу припомнить всего стихотворения.

Это о стихах. Сами же поэты, главным образом их наряды, особенно внешность Есенина, возбудили во мне отрицательное ироническое отношение. Костюмы их мне показались маскарадными, и я определил их для себя словами: «опереточные пейзажи» и «пряничные мужички»...».

4

Поездка в Москву подарила Есенину знакомство с Юргисом Балтрушайтисом, удивительным поэтом и человеком непростой судьбы. Он родился в небогатой и многодетной семье литовского крестьянина, пас деревенское стадо и две зимы проучился у своего крёстного-ксендза, подготовившего его в Каунасскую гимназию. В ней Юргис начал писать стихи, а заканчивать гимназию ему пришлось, уже подрабатывая репетиторством. В Московском университете он посещал лекции сразу двух факультетов и, по его собственным словам, «почти исключительно занялся изучением литературы, овладел множеством языков и страстно заинтересовался новыми явлениями философии и искусства». Он читал в оригинале Ибсена, Уайльда, Меттерлинка, Гамсуна, увлекался Ницше, занимался переводами.

Познакомившись с Марией Ивановной Оловянишниковой, дочерью богатого московского промышленника, владельца фабрик церковной утвари и доходных домов, Юргис, несмотря на протест её семьи, тайно обвенчался с Марией. Её родственники долго не могли смириться с неравным браком.

В доме Балтрушайтисов встречались поэты, проходили литературные вечера. Юргис в те годы писал стихи лишь на русском языке и его творчество примыкало к символизму.

В своих мемуарах «Начало века» А. Белый набросал портрет Балтрушайтиса, «угрюмого, как скалы», который и в комнате «сидел с таким видом, точно он грелся на солнце, и точно под ногами его – золотела нива: не пол...»

«В его суровом с виду образе было много детскости, мягкости, простоты обращения, особого очарования, которому поддавали все соприкасавшиеся к нему», – писала жена поэта. «У него «золотое сердце»», – говорил К. Бальмонт. А В. Лидин вспоминал: «Как все молчаливые и замкнутые люди, Балтрушайтис казался суровым, но он был мягок, добр и до чрезвычайности расположен к людям», а внешне мало походил на символиста. «Свободен от всякой позы», – подчеркнул И. Бунин.

Стихи Балтрушайтиса Есенин уже встречал в «Новом журнале для всех», в «Русской мысли» и «Северных записках». Ему сразу понравилось внимательное и спокойное лицо прибалта, с высоким лбом и светлыми пушистыми усами. Глуховатым голосом, медленно проговаривая слова, Юргис читал Есенину:

Брожу один усталым шагом
Глухой тропинкою лесной...
Певучий шелест над оврагом
Уже не шепчется со мной...

Синеют дали без привета...
Угрюм заглохший круг земли...
И, как печальная примета,
Мелькают с криком журавли...

И Есенин читал Балтрушайтису:

*Тебе одной плету венок,
Цветами сыплю стёжку серую.
О Русь, покойный уголок,
Тебя люблю, тебе и верую.
Гляжу в простор твоих полей,
Ты вся – далёкая и близкая.
Сродни мне посвист журавлей
И не чужда тропинка склизкая...*

Юргис подарил Сергею сборники своих стихов, надписав: «Сергею Александровичу Есенину. Милому поэту русского раздолья и всех его дорог.

С приветом Балтрушайтис. Москва. 22.1.16».

«РАДУНИЦА»

1

Клюев и Есенин возвращались в Петроград – как домой.

Но, едва отойдя от московской суеты, стали готовиться к путешествию в Царское Село, к полковнику Ломану.

«Новый журнал для всех», вышедший в их отсутствие, пестрел знакомыми именами: стихи Блока, Клюева, Ширяевца, рассказ Рюрика Ивнева и

даже большая подборка Кости Ляндау. Иннокентий Оксенов, в обзоре «Литературный год», пройдясь по творчеству Гумилёва, упомянув Брюсова и Ахматову, писал:

«...Война, как таковая, вдохновила отчасти творчество футуриста Владимира Маяковского. У Маяковского есть какая-то титаничность, возносящая его очень высоко. Ему суждена трагическая судьба предтечи; он говорит:

Я обсмеянный у сегодняшнего племени,
Как длинный скабресный анекдот,
Вижу Идущего через горы времени,
Которого не видит никто.

Всё та же тоска о «красивой жизни через триста лет» оказывается у этого непримиримого нигилиста! Пусть Маяковский «бронзовый», пусть у него сердце – «холодной железкою», – всё-таки у него вырывается такой трогательный крик:

– Мама!

Петь не могу.

У церковки сердца занимается клирос.

...Маяковский раскрывает нам душу человеческую вообще, а вот Блок обнажает нашу русскую душу:

Грешить бесстыдно, непробудно,
Счёт потерять ночам и дням,
И, с головой от хмеля трудной,
Пройти сторонкой в Божий храм.

Три раза преклониться долу,
Семь – осенить себя крестом,
Тайком к заплёванному полу
Горячим прикоснуться лбом.

.....

А воротясь домой, обмерить
На тот же грош кого-нибудь,
И пса голодного от двери,
Икнув, ногою отпихнуть...

...Книжка Блока (Стихи о России) – книжка изумительная; самый нежный и самый беспощадный из русских поэтов принёс ею величайший жертвенный дар России.

...Драгоценный дар принёс родине и Ремизов. Его книги «Весеннее порошье» и «За святую Русь» свидетельствуют, что у автора – большое и нежное сердце (о художественном таланте Ремизова и его языке известно давно). <...>

Истекший год был годом внимания к так называемой «народной» поэзии. Образовалось книгоиздательство «Краса», в Тенишевском зале был вечер под этим именем, основалось литературное общество «Страда»... Из Рязанской губернии прибыл в столицу светловолосый певец Сергей Есенин – и это была нечаянная радость. Нет, слово живёт, что бы ни говорили там или тут».

Остановившись на стихотворении Ширяевца «Атаманская зазноба», Клюев вздохнул:

– Нам с тобой, Серёженька, ещё не так тяжко. А вот наш Александр, в азиатских-то пустынях, всё тоскует о своей волжской вольнице...

Изболелось ретивое
С той поры, как милый мой
С разудалой голытьбою
Вниз умчался на разбой...

В Царское Село с докладом Ломану о своём путешествии «сказители» ехали поездом в полном концертном обличии. Нанимая от вокзала извозчика, Клюев долго разъяснял ему, что ехать надо за Фёдоровский собор, к Императорской ферме.

По тихим заснеженным улочкам санки катили споро, мелькнули справа белокаменные терема, проплыл в стороне огромный золотой купол собора, и они подъехали к старинным красным зданиям фермы, напоминающим своими башнями крепость.

О визите поэтов к Ломану рассказал, десятилетний тогда, сын полковника Юрий:

«Как-то зимой 1916 года, вскоре после Крещения, вечером, раньше обыкновенного, ссылаясь на недомогание, отец стал собираться из своей канцелярии домой на ферму. Я никогда не видел отца больным и даже не представлял себе такой возможности. Поэтому сразу же увязался за ним. Заложенный в лёгкие санки гнедой красавец Прунчик мигом домчал нас до фермы. Но прилечь не удалось. Едва вошёл он в спальню, как в передней раздался звонок. Денщик Роман Фролов доложил: «Клюев просит его принять, а с ним ещё какой-то молодой. Ваше высокоблагородие, – переминаясь с ноги на ногу, продолжал Фролов, – всё народ, да народ, отдохнуть вам не дадут. Я скажу, что вы больны». «Нет, люди по делу приехали из Петрограда. Проси в кабинет».

Появился Клюев, всё такой же благостный, каким я привык его видеть. Он мне напоминал попа-расстригу, а они у нас тоже время от времени появлялись. На этот раз Клюев был не один. С ним пришёл молодой кудрявый блондин в канареечного цвета рубахе и русских цветных сапогах на высоком каблуке. Я на него глянул и мне показалось, что этот парень похож на Ивана-царевича, словно он только сошёл с серого волка.

Правда, даже если бы сам Иван-царевич появился у нас в гостях, я бы не удивился. Я привык видеть солдат – служителей Фёдоровского собора или «церковников», как их называли, в одежде, исполненной по эскизам В.М. Васнецова и очень напоминающей стрелецкий кафтан...

У нас в квартире бывали самые разнообразные люди: придворные чины в расшитых золотом мундирах, высшие иерархи православной церкви, офицеры в форме своих полков и крестьяне в зипунах (отец не терял связи с крестьянами Симбирской губернии, куда он был послан во время голода). Бывал у нас и знаменитый старец Григорий Распутин, которого я по привычке классифицировать людей поместил где-то между монахами и извозчика-

ми. По-моему, его что-то роднило и с теми, и с другими. В общем одеждой на меня произвести впечатление было трудно. Поразила меня молодость гостя и его белокурые вьющиеся волосы. Когда гости ушли, я спросил у отца, кто этот молодой парень? «Крестьянский поэт-самородок, рязанец, Сергей Есенин. Он будет служить в Городке».

2

С профессором Сакулиным Клюев и Есенин столкнулись на Невском. В Москве Сергей учился у него в университете им. Шанявского и даже читал ему свои стихи. Сейчас Павел Никитич был профессором Императорского Женского педагогического института, вёл литературный кружок и пригласил их выступить в нём.

Но главным событием для них в эти дни стали выпущенные издательством Аверьянова их собственные книги: «Мирские думы» Клюева, и «Радуница» Есенина. Цензурного разрешения на выход их в свет, ещё не было, но Есенин всё же выпросил у издателя несколько экземпляров «Радуницы».

Вот она в его руках – первая, тонкая, рыжеватая, с оттиснутым красной краской названием. Начиналась она поэмой «Микола». Из тридцати двух стихотворений в ней – половина! – напечатаны впервые:

*На плетнях висят баранки,
Хлебной брагой льёт теплынь.
Солнца струганные дранки
Загораживают синь...*

Это его первые впечатления от поездок с дедом на ярмарку в Кузьминское:

*Дробь копыт и хрип торговков,
Пьяный пах медовых сот.
Берегись, коли не ловок:
Вихорь пылью разметёт...*

И простая картинка его детства:

*Ты пошла коня из горстей в поводу,
Колыхались бусинки в зыбком пруду.*

*Я смотрел из окошка на красный платок,
Кудри чёрные змейно трепал ветерок.*

*Мне хотелось в кулюканьи пенистых струй
С алых губ твоих с болью сорвать поцелуй.*

*Но с лукавой улыбкой, брызнув на меня,
Унеслася ты вскачь, удилами звеня...*

Самый первый автограф Сергей адресовал Хитрову, своему учителю словесности Спас-Клепиковской учительской школы:

«Дорогому старому учителю Евгению Михайловичу Хитрову, от благодарного ученика автора этой книги 1916. 29 янв. Петроград».

В 1926 году Евгений Михайлович напишет:

«Когда Есенин окончил курс и мы с ним расставались, я ему советовал поселиться в Москве или в Питере и там заниматься литературой под чьим-нибудь хорошим руководством. Совет мой он принял и выполнил, и я довольно скоро имел удовольствие читать его стихи в «Ниве». Ещё большее удовольствие он мне доставил тем, что прислал мне первый свой сборник стихов «Радуница»...».

С большой благодарностью Сергей дарил книгу З. Д. Бухаровой, всегда тепло и по-доброму писавшей о его стихах:

«Дорогой Зое Дмитриевне Бухаровой с любовью и искренним расположением Сергей Есенин. 31 января 1916 г. Петроград».

Зинаида Николаевна Гиппиус в своём воскресном салоне долго и придирчиво разглядывала Есенина через лорнетку, но книгу приняла благосклонно. *«Доброй, но проборчивой Зинаиде Николаевне Гиппиус с низким поклоном Сергей Есенин».*

Лишь Философому, единственному, было посвящено в книге стихотворение «Выть». На подаренном сборнике Есенин написал:

«Дорогому Дмитрию Владимировичу Философому. За доброе напутное Слово от баяшника соломенных сужёнов. Сергей Есенин».

В свободные вечера, уходявшись за день, Клюев обычно дремал, а Сергей, загородив от него лампу, подолгу засиживался за стихами. Легко ложились на бумагу тоска по дому, по родному краю:

*За горами, за жёлтыми долами
Протянулась тропа деревень.
Вижу лес и вечернее польмя,
И обвитый крапивой плетень.*

*Там с утра над церковными главами
Голубеет небесный песок,
И звенит придорожными травами
От озёр водяной ветерок.*

Константиновская церковь за окном, дом отца Ивана... его племянница – Анна Сардановская, с которой навсегда сплетены все воспоминания детства и юности...

*...Каждый вечер, как синь, затуманится,
Как повиснет заря на мосту,
Ты идёшь, моя бедная странница,
Поклониться любви и кресту.*

*Кроток дух монастырского жителя,
Жадно слушаешь ты ектенью,
Помолись перед ликом Спасителя
За погибшую душу мою.*

«Анне Сардановской» – и посвятил он... это стихотворение.

Наконец-то Аверьянов выдал Есенину причитающиеся ему пятьдесят книжечек «Радуницы».

«...Получив авторские экземпляры, – рассказывал Мурашёв, – Сергей прибежал ко мне радостный, уселся в кресло и принялся перелистывать, точно пестуя, первое своё детище. Потом, как бы разглядев недостатки своего первенца, проговорил:

– Некоторые стихотворения не следовало бы помещать.

Я взял книгу, разрезал упругие листы плотной бумаги, и перечитывал давно знакомые строчки стихов <...>.

Ставя книги на полку, Есенин со вздохом произнёс:

– Надо приниматься за поэмы.

На книге, оставленной на моём письменном столе, Есенин написал: *«Другу славных дел о Руси «Страде великой» Михаилу Павловичу Мурашёву на добрую память. Сергей Есенин. 4 февраля 1916 г. Петроград».*

3

Вечер «Новой студии» очень заинтересовал петроградскую публику. «Биржевые ведомости» писали:

«Вчера открылся небольшой интимный театр «Новой студии», и открылся хорошо – при переполненном, в буквальном смысле этого слова, зале, несмотря на то, что зал этот находится в одном из глухих уголков Петрограда.

Факт – в высшей степени интересный. Наглядное доказательство того, что публика больше не удовлетворяется набившим ей оскомину театральным трафаретом и ищет чего-нибудь другого, нового, свежего. «Новая студия» посулила это новое – и вот на зажжённый ей тихий огонёк пошли...».

В газетном отчёте говорил об успехе и А. Измайлов:

«Если бы новый литературный театр, основавшийся в Зале гражд. Инженеров, сумел удержаться на высоте первого спектакля, – его дело было бы верным. Случится ли так, – пока большой вопрос, но открытие его во всяком случае показало, что репертуарная часть его в руках людей, настоящего литературного вкуса <...>

В музыкальной части исключительный и бурный успех имел талантливый г. Ершов, восторженно (и вполне справедливо) оценённый со стороны своего темперамента и удивительной экспрессии. Красиво пел г. Мозжухин, и исполнили молодые актрисы балетные номера (испанские танцы).

В своеобразных костюмах оперных крестьян, в бархатных поддёрках и цветных сапогах читали свои стихотворения поэты из народа г. Клюев, похожий на сказителя былин, и г. Есенин.

Молодые исполнители смотрят на своё дело, как на первые шаги к настоящему делу. Так их и надо принимать. И под этим углом их здоровое, ясное и искреннее устремление в сторону трезвого вечного искусства заслуживает всякого сочувствия и понятно, почему и художники, и опытные режиссёры ласково откликаются на их голос».

Но вот газета «Обозрение театров» была весьма иронична:

«...наконец, открылась «Новая студия» при литературном обществе

«Страда», во главе которого стояли «яроборец» Городецкий и народные поэты в духе Клюева.

В настоящее время «Страда» не стоит больше под знаком народничества, как этого добивался Сергей Городецкий.

С. Городецкий ушёл.

Но под каким знаком стоит сейчас начинающее общество искусства и литературы – ещё неизвестно.

Быть может, под знаком вопросительным. <...>

Городецкий ушёл, но его поэты – Клюев и Есенин, – кажется, ещё обвевают крылами своей «избяной» поэзии новое общество.

По крайней мере, вчера они почтили нас своими стихотворениями.

Это было единственное «искание» за весь вечер.

Но и их искание выразилось, главным образом, в искании... бархата на кафтан, плису на шаровары, сапогов бутылками, фабричных, модных, форсистых, помады головной и чуть ли не губной... Вообще, всего того, без чего, по понятию и этих «народных» поэтов, немислим наш «избяной» мужик.

Поиски в области версификации тоже сводятся к расфранчиванию и припомаживанию самими ими изобретённых квазинародных слов, вроде: «избяной», «подмикитошный», «воплю» и тому подобной «заумности».

Иероним Ясинский торжественно сообщил Есенину, что рекомендует его в члены общества поэтов имени Константина Случевского на первом же собрании. Оно прошло в воскресенье в доме Ясинского, которому Сергей подарил в этот день свою «Радуницу»: *«Самому доброму, самому искреннейшему писателю и человеку во ипостаси дорогому Иерониму Иеронимовичу Ясинскому На добрую память от размычливых упевов сохи-дерехи и поёмов Константиновских – Мещёрских певнозобых озёр Сергей Есенин».*

«После смерти Случевского, в 1904 году, – рассказывала Зоя Ясинская, бывшая на этом собрании, – участники кружка – это стало традицией – собирались в доме то одного, то другого поэта. Чтение сопровождалось ужином с вином. На заседаниях кружка было несколько чопорно и торжественно: мужчины являлись во фраках и визитках, поэтессы в вечерних туалетах. В 1916 году отец дважды принимал у себя участников кружка, один раз зимой, другой – поздней весной. Оба раза присутствовал и читал стихи Есенин. На первом из этих заседаний его приняли в члены кружка. В назначенный день на Чёрной речке, у нас, появился официант во фраке и в белых перчатках, ужин доставили из известного ресторана «Вилла Родэ» в Новой деревне. Отец на оплату счёта из ресторана «ухнул» гонорар за какой-то роман и вышел с честью из положения. Доставать продукты становилось всё труднее – начиналась разруха.

Мне как-то странно было видеть Есенина в окружении поэтов кружка Случевского. По возрасту это были люди солидные, преобладали лысые. Половина из них служила в каких-то министерствах, получая чины, в журналах их имена встречались редко, и книжечки своих стихотворений они издавали за свой счёт. На общем фоне выделялись писатели-профессионалы: Фёдор Сологуб и Гумилёв. Тогда Есенин <...> так и впился в него. Гумилёв с его

стройной фигурой, высокий, широкоплечий и худощавый, с бледным до синевы лицом, как бы припудренным пеплом, походил на рыцаря, успевшего снять доспехи и сошедшего с какого-то гобелена или с средневековой картины Эрмитажа. Серо-свинцовые глаза Гумилёва смотрели напряжённо и чуть презрительно, а на высокий лоб падали гладко зачёсанные пряди пепельных волос, подстриженных в виде чёлки, спускавшейся до самых бровей. А чёлка тогда была модной женской причёской.

Когда принимали Есенина в члены кружка, он держался довольно свободно, Гумилёва рассматривал дерзко-внимательно, несколько раз перевёл глаза с чёлки «вождя» акмеистов на чёлку хорошенькой молоденькой поэтессы. Я перехватила взгляд Есенина: в глазах его вспыхнуло насмешливо-озорное, знакомое мне выражение и угасло. Есенина попросили читать стихи. Он вышел, как-то особенно лихо потряхнув головой, будто говоря про себя: «Ну что ж, сразимся с рысаками». Он выбрал для чтения стихи о природе. Есенина приняли в общество. Гумилёв не выступал с критикой, он только читал стихи. Фёдор Сологуб не слушал.

Конечно, Есенин был чужд этой среде модных поэтов, лениво и небрежно открывших ему свои объятия. Всё наигранное, фальшивое Есенин презирал».

В эти дни разрешился вопрос о призыве Есенина:

«Уполномоченному поезду, лейб-гвардии Павловского полка полковнику Ломану.

Последовало ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволение на перечисление в санитары... <перечислены 6 фамилий> ...и С. Есенина, с назначением всех в Ваше распоряжение».

Ходатайство Ломана о перечислении в санитары «белобилетника» Н.А. Клюева было отклонено.

4

«В комиссию для пособия литераторам при Академии Наук.

Прошение

Мы, поэты-крестьяне, Николай Алексеевич Клюев и Сергей Александрович Есенин, почтительнейше просим комиссию пособия литераторам при Академии Наук помочь нам в нашей нужде. Нужда наша следующая: мы живём крестьянским трудом, который безденежен и, отнимая много времени, не даёт нам возможности учиться и складывать стихи. Чтобы хоть некоторое время посвящать писательству не во вред и тяготу нашему хозяйству и нашим старикам-родителям, единственными кормильцами которых также являемся мы, нам необходима денежная помощь в размере трёхсот рублей на каждого.

(Заслуги наши перед литературой выражаются в сборниках стихов и сотрудничестве в лучших журналах и газетах).

*Николай Клюев
Сергей Есенин».*

Получив от комиссии отказ, Клюев и Есенин написали самому главе

академической комиссии Н. А. Котляревскому, ординарному академику Императорской АН. В этот раз комиссия «снизошла», написав под текстом – «60 р.», и пометив – в правом верхнем углу листа – «Есен. 20, Кл. 40».

«Помню вечер в Петербурге, – писал прозаик Г.Д. Гребенщиков, – у культурнейшего джентльмена Евг. Ив. Замятина читал Клюев. Его моржовые усы полузакрывали широко открытый рот, он закрывал глаза и голос его чеканил удивительный узор из образов и слов северного эпоса. Это был баян, сказитель, слепой калика переходжий.

После него начинал читать Серёжа. В ту пору у него была в ходу чудесная поэма о св. Микеле, который бродит по Руси и помогает в мужичьей доле... Поэма была полна религиозного чувства, но Серёжа из особого ухарства читал её с папироскою в зубах. Грешным делом, я ещё тогда подумал, что в душе юного поэта нет основного начала для поэзии – нет той духовной чистоты и радости, которая озаряет жизнь всякого настоящего художника и ведёт его к вершинам совершенства».

Замятину, на «Радунице» Есенин оставил надпись:

«Баяшнику, словомолитвенному рабу Евгению Замятину с поклоном и люттой верой Сергей Есенин 29 февр. 1916».

5

Одно из выступлений Клюева и Есенина в салонах описал Всеволод Рождественский: «Уже много лет спустя рассказали любопытный случай, относившийся к этой эпохе. Клюев с Есениным были приглашены на один из «четвергов» графини Клейнмихель, представительницы одного из крайних монархических течений. В великолепном особняке на Сергиевской собралось общество, близкое к придворным кругам. За парадным ужином, под гул разговоров, звон посуды и лязг ножей, Есенин читал свои стихи и чувствовал себя в положении ярмарочного фигляра, которого едва достаивают высокомерным любопытством. Он сдерживал закипавшую в нем злость и проклинал себя за то, что согласился сопутствовать Клюеву. Когда они собрались уходить и надевали в передней свои тулупы, важный старик дворецкий с густыми бакенбардами вынес им на серебряном подносе двадцать пять рублей.

– Это что? – спросил Есенин, внезапно багровея.

– По приказанию её сиятельства, вам на дорожку-с!

– Поблагодарите графиню за хлеб-соль, а деньги возьмите себе! На нюхательный табак!

И ушёл, хлопнув дверью.

Но такая независимость проявлялась у Есенина сравнительно редко. В основном он ничуть не старался разрушить творимую вокруг него легенду о «представительстве от народа». А это необходимо было поддерживать соответствующей линией литературного поведения и даже внешним обликом. Но было уже новое в отношении Есенина к такому – им самим избранному стилю. Он начинал им тяготиться».

Недаром позже, в 1924 году, Клюев напишет:

«За меня и за себя Есенин ответ дал. Один из исследователей русской литературы представил Есенина своим гостям как писателя «из низов». Есенин долго плевался на такое непонятие: *«Мы, – говорит, – Николай, не должны соглашаться с такой кличкой! Мы с тобой не низы, а самоцветная маковка на златоверхом тереме России, самое аристократическое – что есть в русском народе».*

Свой взгляд, на Есенина и салоны, Клюев изложил только в 1926 году: «На живого человека наврать легко, а на мертвого ещё легче. Липуче вранье, особливо к бумаге льнет, ни зубом, ни ногтем не отдерешь.

Лают залиvisto врали, что Есенина салоны портили, а сами-то, борзые вруны, в боярских домах, по ихнему в салонах, и нюхом не бывали.

Самовидец я и виновник есенинского бытия в салонах. Незванный он был и никем не прощенный, и не попасть бы ему в старопрежние боярские дома вовеки, да я (дурак – браню себя) свозил его раза три-четыре в знатные гости.

Вспоминать стыдно есенинский обиход!

Столовая палата вся серебром горит, в красном углу родовые образа царя Фёдора Ивановича помнят, жемчугом залитые. Хозяйка в архангельском сарафане, в скатной поднизи на голове, пир по чину правит... Пирог и вино в черед подаются.

Есенину черед непонятен, не видит он ни скатерти браной, ни крымских роз меж хлеба-соли. Свою персонную стопку с красным вином на скатерть пролил, вино из серебряного столового бочонка сам цедит, рыбу астраханскую, что китом на блюде изукрашенном пасть ширит, ножом с хребтины ворочает. У самого рожа сальная, нос не утерт, а на языке разное слово глупое, неплавное. Срам чистый!

Хозяйка, царская сказочница Варвара Устругова (людей, чай, видала) поглядела на Есенина да и говорит: «Ты знаешь, молодец, что корм не в коня бывает! Поди-ка в холодную, там на сундуке посиди, понадобишься – солдата пришлю». (Муж у ней полковник от Литовского полка был).

Вот так по разным гостям раза три-четыре, говорю я, его водил, и везде он мне машкеру одевал, ни обихода, ни людей не чуял и розы со стола под сапоги ронял, и людей не стыдился. А людей хороших, знающих и бывалых на тех боярских трапезах встречалось вдосталь. Ни одного гнилого слова Есенин от них не слыхивал, и в пьянство его никто не втравливал. Гости и хозяева хоша и гордые были, но меня с Есениным как родных честили. Только Есенину честь не в честь была.

Больше я его в салоны и не возил».

6

«В 1916 году беседы Клюева, – вспоминал Чернявский, – его узорчатый язык, его завораживающие рассказы об олонецких непроходимых лесах, старообрядческих скитах, о религиозной культуре севера вообще производили большое впечатление на слушателей.

В тонкую, обоюдоострую систему клюевской морали естественно вхо-

дила и ложь, как единственное оружие их – подлинных людей из народа – против интеллигентов. К лагерю этих святых лжецов он недвусмысленно стремился присоединить и послушного ему на некоторое время Сергея.

Принимая отчасти ту классовую правоту, которую можно было расслышать в недоговорённых словах Клюева, видя постоянное сотрудничество и, казалось, преданную любовь к нему Сергея, невольно приходилось смотреть на них как на нечто единое. Ни у кого из петербургских попутчиков Есенина не было достаточно прав считать себя более близким ему человеком, чем у Клюева: этот песенный союз сурово обволакивала чуждая малым городским поэтам изысканная стихия.

В начале 1916 года Сергей, кажется, впервые заговорил со мной откровенно о Клюеве, без которого даже у себя дома я давно его не видел. С этих пор, не отрицая значение Клюева как поэта и по-прежнему идя с ним по одному пути, он не сдерживал своего мальчишески-сердитого негодования. В этой порывистой брани подчас звучало больше горячности и злобы, чем их было в сердце Сергея. В иной, более глубокой сфере сознания он, конечно, не переставал считать Клюева своим другом и, несмотря на всё дальнейшее охлаждение и разъединение, не покинул его внутренне до последних дней».

«В ином свете рисуются отношения Есенина с Блоком, – рассказывал Чернявский. – Их внешние проявления незначительны, их рамки узки. С 1916 года, да и раньше, поэты встречались не часто. Блока почти нельзя было видеть на рядовых литературных сборищах, где Сергей был постоянным гостем. В практической жизни писательского круга Есенин от Блока не зависел, но изредка по невольному влечению приходил поговорить с ним. Это случилось и в те дни, когда он (после Октябрьской революции) упорно настаивал на том, что «Блок – плохой поэт». Если не ошибаюсь, был только один случай, когда, являсь к Блоку, он держал себя с ним, по собственному признанию, вызывающе и дерзко, а потом, вернувшись домой, нахмуренный, объявил, что у него с Блоком – кончено и что больше он к нему не пойдёт. Это был период, когда он в яростном напряжении молодых сил и самоуверенности ничего не видел, кроме рождения «новой России» в мужичьих яслях...

«К Блоку только сначала подойти трудно», – говорил он мне в 1916 году. Преодолев это наплывающее на него каждый раз чувство отчуждения, он вновь начинал видеть в Блоке родного ему поэта, к кому он пришёл, и пришёл не случайно.

В памяти моей неизгладимо запечатлелось, как неподвижные и несколько надменные черты Блока вдруг прояснились самой ребяческой, так и не сходившей с лица улыбкой, когда читал свои стихи Сергей. Из своего одиночества Блок лучше, чем кто-либо, предупреждал его об опасности хождения по буржуазным салонам и общения с литературными дегенератами, советуя ему хранить себя и углублённо работать. Сергей ценил эти советы и часто с любовью повторял его слова. Помню, как он наставительно и серьёзно уговаривал меня заниматься науками, шутливо прибавляя: «Ну, запишись ты хоть на время от баб. Ты сиди, сиди, как Блок сидит...».

Живой портрет Есенина тех дней оставил Михаил Бабенчиков:

«Вскоре появился сборник стихов Есенина «Радуница». О нём много писали. И мне отраднo сейчас вспоминать, что я знал его в самые счастливые дни его золотой юности. В это время Есенин часто выступал с чтением своих стихов.

Читал их он с каким-то самозабвенным упоением, мерно покачиваясь всем своим гибким телом. И в середине чтения, точно боясь, что упадёт, судорожно сжимал обеими руками спинку стула. В самом финале он отпускал её. И кончал читать, не держась ни за что, как бы оторвавшись от земли и пребывая в свободном полёте. Это впечатление плавного парения усугублялось тем, что манере есенинского чтения была присуща некая волнообразность ритмического колебания вверх и вниз, неотразимо действовавшая на слушателей...

Но что больше всего покорило в есенинском чтении, так это слитность музыки стиха с живой образностью. Нечто подобное тому, что можно встретить только в устной народной поэзии, где звучность и красота слова никогда не заслоняют внутреннего глубокого содержания. Кончил читать Есенин как-то сразу, внезапно оборвав на полуслове. Будто вздохнул и затих. Странно, но мне показалось в эту минуту, что в комнате стало темно, до такой степени звуковое впечатление от его чтения неразрывно слилось в моём представлении с чем-то светлым, зримым и сияющим. Все сидели словно замороженные. И только один он продолжал стоять, смущённо улыбаясь, точно не сознавая того, что произошло. Затем устало опустился на стул, налил дрожащей от волнения рукой стакан вина и, одним взмахом опрокинув его, по-хозяйски утёр широким рукавом губы».

«ДРУЖИЩЕ МИША...»

1

Знакомство Клюева с известной певицей Надеждой Васильевной Плевицкой, блистательной исполнительницей русских крестьянских песен, состоялось в начале весны.

«На второй неделе поста, – вспоминала она, – в Михайловском театре давался концерт под покровительством великой княгини Ольги Николаевны в пользу семей убитых воинов.

Там было моё первое выступление после приезда с фронта...

Тогда же тихой, вкрадчивой поступью вошёл ко мне и поэт-крестьянин Н. Клюев.

Мне говорили, что Клюев притворяется, что он хитрит. Но как может человек притворяться до того, чтобы плакать.

Я пригласила его к себе, и Н. Клюев бывал у меня.

Он нуждался и жил вместе с Сергеем Есениным, о котором всегда говорил с большой нежностью, называя его «златокудрым юношей». Талант Есенина он почитал высоко.

Однажды он привёл ко мне «златокудрого». Оба поэта были в поддѣв-

ках. Есенин обличьем был настоящий деревенский щёголь, и в его стихах, которые он читал, чувствовалось подражание Клюеву.

Сначала Есенин стеснялся, как девушка, а потом осмелел и за обедом стал трунить над Клевым. Тот ёжился и, втягивая голову в плечи, опускал глаза и разглядывал пальцы, на которых вместо ногтей были поперечные, синеватые полоски.

– Ах, Серёженька, еретик, – говорил он тишайшим голосом.

Что-то загаённое и хлыстовское было в нём, но он был умён и беседой не утомлял, а увлекал, и сам до того увлекался, что плакал и по-детски вытирал глаза радужным фуляровым платочком.

Он всегда носил этот единственный платочек.

Также и рубаха синяя, набойчатая, всегда была на нём одна. Я ему подарила сапоги новые, а то он так и ходил бы в кривых голенищах, на стоптанных каблуках.

Иногда он сидел тихо, засунув руки в рукава поддёвки, и молчал. Он всегда молчал кстати, точно узнавал каким-то чутьём, что его молчание мне нужнее беседы».

Эти встречи привели к их совместным выступлениям. Уже в апреле Клеов примет участие в гастрольных поездках Плевицкой по городам России, читая со сцены свои стихи и былины.

Петербургская публика, падкая до эстрадных песенок и романсов, не прошла Плевицкой её крестьянского происхождения и народного репертуара.

Так уж совпало, но в «Плевицкие» попали и Клеов с Есениным, после выхода мартовского «Журнала журналов» со статьёй Н. Лернера «Господа Плевицкие»:

«Футурист Маяковский выпустил «Облако в штанах», а издатель Аверьянов – двух Плевицких в штанах. Вот они: Сергей Есенин «Радуница». Николай Клеов «Мирские думы».

Оба поэта принадлежат к народникам, но народникам современного жанра, который по справедливости можно назвать «жанром Плевицкой». Оба, в особенности Есенин, не чужды поэтических настроений, оба воспринимают красоту мира, но оба плывут в мутной струе отравляющего в наши грозные дни шовинизма и оба до мозга костей пропитались невыносимым националистическим ухарством. Трудно поверить, что это русские, до такой степени стараются они сохранить «стиль рюсс», показать «национальное лицо». Таких мужичков у нас не бывало с тех давних пор, как на подмостках перестал «появляться в рубахе крестьянской Петипа»... <...>

...балетные мужички зорко следят за своим театральным нарядом. В отношении туалета они заботливы, как Петипа, как Плевицкая. Г. Есенин не решается сказать: «слушают ракиты». Помилуйте: что тут народного? А вот «слушают ракиты» – это самое нутро народности и есть. «Хоровод» – это выйдет чуть не по-немецки, – другое дело «корогод», квинт-эссенция деревенского духа. Г. Клеов тоже не скажет «теперь», а «теперича», и вместо «душистый» непременно «духмяный», «духмянистый», чтобы читателю ажно в самый нос шибало (у г. Есенина – «духовитый»).

Русский народ у наших поэтов говорит, понятно, «по-народному». Г. Есенин сам слышал, как девка крикнула парню, «вшигая в сруб»:

*Что же? Красив ты, да сердцу не люб:
Кольца кудрей твоих ветрами жжёт,
Гребень мой вострый другой бережёт.*

Это уже не балет, а прямо итальянская опера. А вот как отплясывает за русского мужика г. Клюев:

Он возстал за сырых братьев,
И, возмездием горя,
Пал на лысину Карпатов –
Кладенец богатыря... <...>

Г. Есенин, впрочем, без особых претензий и весело, и залиvisto воспе-
вает себе мир, хотя созерцает его в образах не всегда ясных и убедительных.
Например:

*Солнца струганные дранки
Загораживают синь...
Жёлтые поводья,
Месяц уронил...
По кустам зелёным лугом
Льнут охлопья синих рос...*

Он до того опростился и омужичился, что решительно не в состоянии
словечко в простоте сказать: «синь сосёт глаза», «лижут сумерки золото сол-
нца», «в пряже солнечных дней время выткало нить», и даже смиренная по-
левая кашка носит «ризу».

2

«Глубокоуважаемый Виктор Сергеевич! – писал Ширяевец Миролюбо-
ву из Ташкента. – Шлю Вам десяток песен, если подойдут – поместите в
«Ежемесячном журнале».

Продолжительное моё молчание объясняется тем, что стихи более сла-
бые посылать Вам я не решался, рассовывая их в разные «Огоньки» и т. д. и
откладывая для Вас более удачные (по-моему). Но, может быть, я ошибаюсь,
тогда опустите их в корзину. <...>

О «братьях-писателях»... – ещё раз возвращался он к своей поездке в
Петроград. – Но это длинная история. Скажу только, что Вы оказались пра-
вы в своей оценке... Кое-что я уразумел, и от многого меня отшатнуло...»

Алкал услышать вещи я речи,
Чуть не пророков чаял я узреть, –
Ну и пророки! Ой, до них – далече!
Не золото чеканить им, а медь...
Так и гудело: «выпивка», «авансы»,
«Заказы» на стихи, роман, рассказ...
Ах, лучше быть бы мне
в глубоком транс,
И лучше бы не видеть вас!

«Сладко журчащий о России, о русском народе г. Блок, оказывается, не расположен заводить знакомства с писателями из народа. Не принял меня, а до меня не принял Сергея Клычкова (по рассказу А. Тинякова), который тщетно пытался познакомиться с ним. Один только Есенин попал к нему, да и то обманным путём (тоже по рассказу Тинякова). Честь и слава! Оно, конечно, не подобает потомку крестоносцев иметь дело с разным сбродом...

А теперь я в Ташкенте – с октября. Служба та же, жизнь та же тусклая, вот только Кудеяры мало-мало расцветивают её, да воспоминания о своей поездке... Думаю выпустить книгу стихов «Волжские песни», авось удастся.

М. Горький взял у меня для «Второго пролетарского сборника» два стихотворения».

Встречи Есенина с Клейнбортом, хотя и редкие, продолжались:

«...он перестал ко мне ездить. Лишь изредка встречал я его в местах, где он читал стихи, а вслед за тем – частушки. Что меня удивляло в этом чтении, так это самый переход от стихов к частушкам. Разная сущность какая-то сидела в нём тогда, когда он читал стихи, и тогда, когда пел частушки. В стихах его белели снега, синели дали среди придорожных берёз, мерцали свечи прадедовских времён. Что-то волновало сердце неясным раздумьем. В частушках же ничего не было, кроме озорства, часто похабщины. И пел он их забудыгой, с хмельными интонациями, под свою пресловутую «тальянку». Но переходил он от того к другому без борьбы. В глазах искрилась лишь весёлость.

Его окружали какие-то люди. И мы даже не говорили здесь друг с другом. Но раз – по выходе уже «Радуницу» – мы столкнулись как-то на углу Невского и Садовой. Под белесоватым небом высились многоэтажные дома, и всё кругом было сутолокой столичной жизни. Он остановился, тронул рукой волосы.

– Знаете, «Радуницу» мою выпустили...

Он мне даже книжки не прислал <...>.

– Ну, что же, хорошо вам уплатили? – спросил я.

Он даже усмехнулся.

– На это икота не прокормишь.

Затем помолчал:

– Холодно как! Хорошо бы теперь водки выпить.

В самом деле, сеял мелкой изморозью ветер. Я стал с ним прощаться.

– Я зайду к вам... «Радуницу» привезу.

– Честное слово?

– Честное слово.

– Смотрите же, я жду вас.

Он в самом деле приехал на другой же день. Топилась печь в моём кабинете, и свет пламени спорил с блеском снега, который был здесь же где-то. За окнами всё было бело... Стоял сад в инее. Что-то хрустнуло в звонкой тишине. А в доме было домовито. И неуловимая черта отделяла одно от другого.

– Нравится мне у вас, – сказал Есенин и вынул свою «Радуницу» из кармана.

– Милости просим, с кого гривен восемь, а вам – даром.

На ней значилось: «Дорогому Л. М. На ласковом слове спасибо».

Затем на словах:

– Не взъщитесь, уж ведь порядочно, как вышла книжка...

Я спросил его, был ли он у Горького.

– Как же, как же, – сказал он, – в «Летописи», конечно...

И вспомнил о Чапыгине <...>. Чапыгин был явно ближе ему, чем Горький... Опять рассказывал о Клюеве, о своих успехах у рецензентов, у мистиков, у патриотов, у дам. Я лишь покачивал голову:

– Н-да! Сиротское дело такое. Заступиться некому».

3

О книге «Радуница» напечатал довольно справедливый отзыв Н. Венгрова журнал «Современный мир»:

«Есть что-то от «приволя зелёных лех» в этой весенней и очень молодой книжечке стихов...

*Не видать конца и края,
Только синь сосёт глаза...
...А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя...
...Пахнет яблоком и мёдом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах весёлый пляс...*

И ещё много других можно привести строчек – по всей книжечке так и «тенькает синица меж лесных кудрей»...

Несомненно, что Есенин знает то, что пишет, – сам оттуда, от земли. И потому большой любовью к земле и к травам, и к «посвисту ветряному», и к «ухлюпам трясин» пропитаны его строки.

И несколько по-детски звучит:

*Если крикнет рать святая:
Кинь ты Русь, живи в раю!
Я скажу: не надо рая,
Дайте родину мою!*

И без этого – любовью веет от всех его образов. Потому что разве, не любя, можно рассказать о том, как

*...из углов щенки кудлатые
заползают в хомуты? <...>*

И всё-таки «ой, ты гой еси» – восклицают только в тех местах, где восторга собственными, только поэту принадлежащими словами выразить не дано...

И творчество «под лубок» Есенину столь же присуще, как и остальным поэтам его направления.

«Белая свитка и алый кушак», «кольца кудрей», «красна девица, гадающая в семик» и всё прочее в таком роде – так же ново и так же «своё», как «слёзы-грёзы» и «кровь-любовь»... Хорошо бы с этой дешёвой и уже вульгарной стилистикой покончить и найти новое для выражения несомненно тоже нового в деревне».

«Весна 1916 года, – вспоминал Михаил Мурашѳв. – Империалистическая война в полном разгаре. Весной и осенью призывали в армию молодѳж. После годовой отсрочки собирался снова к призыву и Есенин. Встревоженный, пришѳл он ко мне и попросил помочь ему получить железнодорожный билет для поездки на родину, в деревню, а затем в Рязань призываться. Я стал его отговаривать, доказывая, что в случае призыва в Рязани он попадѳт в армейскую часть, а оттуда нелегко будет его вызволить. Посоветовал призываться в Петрограде <...>

Хотя поэт немного успокоился, но предстоящий призыв его удручал. Есенин стал чаще бывать у меня. Я старался его успокоить и обещал после призыва перевести из воинской части в одно из военизированных учреждений морского министерства.

В одно из таких посещений, 15 марта 1916 года, придя домой с работы, я застал Сергея за моим письменным столом.

Он писал стихи на подвернувшихся под руку моих личных бланках.

Зная его скрытность в вопросах творчества, я немного схитрил – принес полотенце, мыло и сказал:

– На, иди мой руки. Сейчас обедать будем.

Он повиновался, а я в это время заглянул в написанное. Передо мной лежало уже законченное и переписанное стихотворение «Деревня». <...>

Тут же были наброски, начальные строки других стихотворений...

Устал я жить в родном краю

В тоске по гречневѳм просторам...

Перед уходом в армию Сергей принѳс мне на сохранение свои рукописи, а черновые наброски на моих бланках передал мне со словами:

– Возьми эти наброски, они творились за твоим столом, пусть у тебя и остаются.

За обедом мы много говорили о петроградской литературной жизни. Сергей в этот раз рассказал о своих литературных замыслах: он готовился к написанию большой поэмы.

После обеда, когда перешли в кабинет, он прочѳл несколько новых стихотворений и в заключение преподнес мне свой портрет, написав на нѳм:

*«Дорогой дружнице Миша,
Ты, как вихрь, а я, как замять,
Сбереги под тихой крышей
Обо мне любовь и память.*

Сергей Есенин 1916 г. 15 марта».

Принимая подарок, я сказал:

– Спасибо, дорогой Сергей Александрович, за дружески тѳплую надпись, но сохранить о себе память должен просить тебя я, так как я старше тебя намного и, естественно, должен уйти к праотцам раньше твоего.

– Нет, друг мой, – грустно ответил Сергей, – я недолговечен, ты переживѳшь меня, ты крепыш, а я часто трушу перед трудностями. Ты умеешь бороться с жизнью.

Сергей Есенин стал звать меня с собой к Блоку.

– Уж больно хочется повидать Александра Александровича, а я уже с месяц не видал. Миша, позвони ему по телефону, может быть, у него найдётся полчаса для нас.

Позвонил. Ответили, что Блока нет дома, но ждут с минуты на минуту, к обеду. Прошёл час или полтора, но ответного звонка не было.

Чтобы успокоить Сергея, я предложил пойти к Блоку на авось. Он жил недалеко. В квартире Александра Александровича нам сказали, что он звонил и приедет домой очень поздно.

Обратно пошли мы по набережной реки Пряжки. Несмотря на раннюю весну, вечер был тёплый. Солнце сползло за силуэты мрачных корпусов судостроительных заводов. Гигантские краны, точно жирафы, вытянули свои шеи. Где-то ухали паровые молоты.

Прошли набережную реки Мойки, вышли к Новому адмиралтейству и завернули на Английскую набережную. Особняки петербургской знати хранили молчание. Только за зеркальными стёклами парадных подъездов изредка виднелись парчовые галуны бородатых швейцаров.

Прошли Николаевский мост, вышли к Сенатской площади. Обе набережные Большой Невы в вечерних лучах солнца казались удивительно прекрасными, их архитектурный ансамбль был строг и величествен. Лёд на Неве почернел, переходы по нему закрыты.

– По этой набережной любил ходить Александр Сергеевич Пушкин, – задумчиво промолвил Есенин».

День призыва Есенина приближался. Они обменялись с Клюевым фотографиями:

«Сергею Есенину. Прекраснейшему из сынов крещёного царства, моему красному солнышку, знак любви великой – на память и здравие душевное и телесное. 1916 г. Н. Клюев».

«Дорогой мой Коля! На долгие годы унесу любовь твою. Я знаю, что этот лик заставит меня плакать (как плачут на цветы) через много лет. Но это тоска будет не о минувшей юности, а по любви твоей, которая будет мне как старый друг. Твой Серёжа 1916 г. 30 марта Пт.»

5

Надеясь на призыв в Царскосельский санитарный поезд, Есенин был очень удивлён, когда его вдруг вызвали в управление Петроградского уездного начальника и вручили призывные документы для зачисления в списки Петроградского резерва.

Клюев тут же обратился к Ломану:

«Полковнику Ломану.

О песенном брате Сергее Есенине моление.

Прекраснейший из сынов крещёного царства мой светлый братик Сергей Есенин взят в санитарное войско с причислением к поезду № 143 <...>

В настоящее время ему, Есенину, грозит отправка на бранное поле к пе-

редовым окопам. Ближайшее начальство советует Есенину хлопотать о том, чтобы его немедленно потребовали в вышеозначенный поезд. Иначе отправка к окопам неустраима. Умоляю тебя, милостивый, ради родимой песни и червонного всерусского слова похлопотать о вызове Есенина в поезд – вскорости.

В желании тебе здравия душевного и телесного остаюсь о песенном брате молещик Николай сын Алексеев Клюев».

Пасху Есенин встречал у Мурашёва. В этот день и была снята фотография, на которой Сергей читает Мурашёву стихотворение Клюева.

«Когда вышел сборник «Страда», – вспоминал Мурашёв, – принесли пробные экземпляры. Есенин принялся читать мне стихотворение Клюева:

Шесток для kota, что амбар для попа,

К нему не заглохнет кошачья тропа,

Зола, как перина, лежи-почивай:

Приснятся снетки, просяной каравай.

– Олонецкий знахарь хорошо знает деревню, – сказал Есенин.

Уходя, он записал в альбом хозяина:

«Не надо радости всем ласкостям дешевым,

Я счастлив тем, что выпил с Мурашёвым.

Пасха, 1916 г., 10 апреля, 12 ½ ч. ночи».

Сергей успел ещё выступить с Клюевым в зале Тенишевского училища на «Вечере современной поэзии и музыки».

Наряду с ними стихи читали: Г. Адамович, А. Ахматова, Г. Иванов, Р. Ивнев, М. Кузмин, О. Мандельштам.

Газета «Речь» писала: «...почти половина указанных в афише лиц, из которых особенно обаятельно имя Блока, не выступила вовсе. Таким образом, интерес программы свёлся к чтению молодых поэтов-эпигонов, справедливо признаваемых плеядою Кузмина, который и открыл вечер двумя нежными и прекрасными стихотворениями (особенно хорош «Русский рай»).

Особо стояли так называемые народные поэты – Клюев и Есенин – и независимые по своему жанру Мандельштам и Ахматова. Последняя пользовалась в этот вечер восторженным успехом, объединившим публику, в общем далеко не согласно и даже некультурно настроенную. Впрочем, шиканье и свистки придавали вечеру своего рода живость и остроту. Первые протесты вызвали прекрасные стихи Клюева, к сожалению, читаемые им всё более нарочито, претенциозно, «костюмно», да к тому же трудные и утомительные в чисто филологическом смысле (в особенности постоянно повторяемый поэтом Беседный наигрыш «с малым погребом ногтевым и суставным»). Несомненно искренни и просты были стихи юного и свежего Сергея Есенина, вступающего в критический и опасный для популярного юноши период поэтической зрелости».

Воинские документы в Царскосельский санитарный поезд Есенин получил на руки 16 апреля:

«Резерв препровождает при сём в распоряжение Поезда санитаря Сергея ЕСЕНИНА (личный знак № 9999), прося о времени его прибытия уведомить...».

А на другое утро, словно подчёркивая расставание Есенина с «вольной» жизнью и провозая его, «Биржевые ведомости» опубликовали:

*Запели тёсаные дороги,
Бегут равнины и кусты.
Опять часовни на дороге
И поминальные кресты.*

*Опять я тёплой грустью болен
От овсяного ветерка,
И на извёстку колоколен
Невольно крестится рука...*

Часть третья

НА СЛУЖБЕ ЦАРСКОЙ

ГЛАВА ПЯТАЯ

ВОЕННО-САНИТАРНЫЙ ПОЕЗД

1

Феодоровский городок, где предстояло служить Есенину, поразил с первого взгляда. Он был похож на сказочный древнерусский Кремль: каменная зубчатая ограда с бойницами, сторожевые угловые башни, стены с полукруглыми въездными воротами. А за ними – «боярские» терема с шатровыми крылечками и причудливыми крышами из черепицы или фигурных деревянных дощечек.

Расспросив раненых солдат, гулявших по двору, Сергей нашёл канцелярию в «Розовой палате». Писарь зарегистрировал сопроводительное письмо «санитаря Есенина Сергея, Личный № 9999» и, по «Записной книжке санитаря» установил, что он «20 апреля 1916 года назначен в Полевой Царско-сельский военно-санитарный поезд № 143 Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны...». Зачислив Есенина «в списки поезда и на довольствие», писарь подписал документы в кабинете полковника Ломана и направил новобранца получать обмундирование. На погонах выданной ему гимнастёрки были укреплены вензеля из букв АФ (Александра Феодоровна), ниже вензелей вышитые буквы ЦВСП (Царско-сельский военно-санитарный поезд), а под ними номер – 143. Превращение

поэта в солдата было быстрым и необратимым: сперва он расстался со своими кудрями, потом – баня и... комнатка в доме «для нижних служащих», куда его поселили.

Четыре койки под грубыми солдатскими одеялами. На спинках коек – полотенца, вышитые огненными петухами. Стол с русским старинным орнаментом и такие же стулья, с подушками на них из русской цветастой набойки. Сергею досталось свободное место возле одного из двух окон. Над изголовьями коек – дощечки с надписями. На своей он аккуратно вывел мелом: «*Рядовой Сергей Есенин*».

Соседями его были братья Прибытковы: усатый унтер-офицер Фёдор, служивший шофёром, и, молодой ещё, – Константин, исполнявший обязанности то кучера, то посыльного. А четвёртым в комнате оказался писарь, оформлявший Есенина, Иван Кукушкин. Вольнонаёмный, он имел семью в Петрограде, и каждый вечер, хоть на последнем поезде, но старался уехать домой.

Помещение, куда поселили Сергея, находилось в пристрое к двухэтажной метеостанции с восьмигранной башней над ней. Напротив окон стояла «Сторожевая башня» (одна из шести в Городке), где работали резчики по дереву, а мастера из Палеха реставрировали древние иконы для музея Городка. К зданию метеостанции примыкали гараж и конюшня, над которой возвышался сеновал в виде рубленой избушки. Кочегарка, прачечная и баня соединялись крепостными воротами с лазаретом. В его первом этаже помещались раненые солдаты, а во втором – раненые офицеры. Лазарет был назван именем Великих Княжён Марии и Анастасии (младших дочерей Николая II). Они ежедневно приходили к раненым из Александровского дворца.

Строительство Трапезной и Белокаменной палат только что закончилось и сейчас шла их отделка. Трапезная, облицованная белым камнем, напоминала Грановитую палату Московского Кремля. Венчал её высокий шпиль с бронзовым Георгием Победоносцем. А против Трапезной, за небольшим прудом, на возвышенности, над ослепительно-белыми стенами сиял огромной позолоченной шапкой с крестом купол Феодоровского Государева собора.

Молодых санитаров стали обучать с первых же дней. Унтер-офицер учил их маршировать, стоять навытяжку, приветствовать старших по чину, привыкать к своей солдатской форме.

А в это время, в «Северных записках», вышли первые главы повести «Яр», и сразу же, в «Биржевых ведомостях», появилась статья критика Измайлова:

«...местный колорит, усиленно создаваемый совершенно непонятными словами, – ушук, летуга, коряжник, еланка, олахарь, корогод, веретье, щипульник, растагарить, тропыхать, кугакать, – говорит только о том, что рискованно писать повесть для широких кругов на местном наречии. <...>

Русский народ Есенин любит, в деревню верит, рисуя её, не жалеет красок ни на бабьи сарафаны, ни на светлое деревенское солнце и кроткие зори. Но вдруг возьмет да и напишет такой рассказ, о том, как двое мужиков затевали убийство и грабеж, но сами попали в обделку. <...>

Повесть Есенина не выдвинется в значительное явление, куда же поэт Есенин интереснее Есенина-рассказчика, пишущего какими-то необычайно однообразными двустрочиями, в монотонном и надоедливом ритме. Наконец, это просто старая школа народной повести, изводящей кропотливо написанными мелочами, давно осужденная в Потехине и Златовратском».

Приказ коменданта поезда № 143, прапорщика Воронина, был по-военному краток: «...Согласно Высочайшего Её ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ФЕОДОРОВНЫ повеления Поезд завтра 27-го сего апреля отойдет в 30-ю поездку по направлению Москва-Курск-Симферополь-Евпатория, забрав раненых из Петрограда и Царского Села. <...>

Объявляю распределение по вагонам фельдшеров и санитаров: <...> Вагон № 6: фельдшер ИКОННИКОВ и санитары ГРЕЧИШНИКОВ, ЕЖОВ, ЗУБИН и ЕСЕНИН; <...>».

2

«Дорогой Миша! Ау!

Еду в Крым (с поездом). В мае ворочусь. Живи, чтоб всем чертям было тошно, и поминай меня.

Что-нибудь для тебя покопаю там.

Поезд сегодня уходит в 6 ч.

Серёжа.

Письма сбереги».

Эту записку передал Мурашёву Костя Прибытков, ездивший в Петроград с пакетом от Ломана.

Тридцатая поездка военно-санитарного поезда была назначена для эвакуации нуждающихся в дальнейшем лечении офицеров и нижних чинов из госпиталей г. Петрограда и Царского Села на южный берег Крыма.

Как отмечал в докладе комендант поезда: было принято «...28 офицеров, 48 нижних чинов и 5 сестёр милосердия, а также лиц, сопровождающих г.г. офицеров.

С поездом следовали: А. А. Вырубова <Фрейлина Её Величества>, полковник Вильчковский, врач действительный статский советник Коренев, городской голова г. Евпатории господин Дуван.

В вагонах № 1 и 2 (для тяжело раненых) помещались больные и раненые офицеры, в вагонах для легко раненых – больные и раненые нижние чины, в вагоне 7 (офицерский) находились: в одной половине больные офицеры, а в другой – сопровождающие их лица и едущие для лечения сёстры милосердия».

К отправке поезда прибыла даже Императрица с дочерьми. К концу погрузки разразился ливень, но помешать он не мог, потому что вся платформа павильона была крытой.

Под шум дождя, стекающего с оконных стекол вагона, и отправился санитар Есенин в свою первую поездку.

О военно-санитарном поезде интересно и подробно рассказано в специальной брошюре, изданной в 1916 году:

«Полевой Царскосельский военно-санитарный поезд № 143 <...> с 14 ноября 1914 г. находится в действии, работая на передовом театре войны. За истекшее время поезд оказывал помощь на протяжении всего фронта от Рижского района до Галиции, сделав 15000 вёрст, и перевёз более 12000 человек раненых и больных офицеров и нижних чинов. <...> Персонал служащих в поезде состоит из коменданта, старшего врача, двух младших врачей, священника, 8 сестёр милосердия, 65 санитаров, кухонная и походная прислуга – всего около 100 человек. <...>

Состав поезда так велик, что тянется чуть не на полверсты и состоит из 20 вагонов. <...> В двух багажных вагонах помещаются склады всего необходимого в пути, в хозяйстве и вообще в жизни, начиная с белья, в которое одевают раненых, и кончая папиросами, которые в изобилии даются всем курящим во время их пребывания в поезде. В этих же вагонах помещены иконки и образки нагрудные, благословение Её Величества – евангелия, молитвословы, брошюры и листки религиозно-нравственного содержания. <...>

Далее следуют два вагона, оборудованные специально для тяжело раненых; в каждом из них помещаются по 20 человек. Здесь налицо все возможные удобства к облегчению страданий героев во время пути. Койки в два ряда расположены вдоль вагона. Каждая койка состоит из матраца (набит морской травой), 2-х подушек (набиты перьями), тёплого одеяла, двух простынь. Конечно, при необходимости всё удваивается и после каждого пользования всё белье сменяется, ибо запас его имеется всегда в изобилии в вещевых складах багажных вагонов поезда. У каждой койки имеется электрическая лампочка, электрический звонок, гигиеническая плевательница, пепельница для курящих и весьма удобная выдвижная доска для тех, кои не могут подниматься; эта доска совершенно заменяет им стол, и раненые на ней обедают и пишут. Что поражает всех осматривающих поезд, это безукоризненная чистота и образцовый порядок. Места для раненых нумерованы, и у каждого места имеется: предохранительная занавеска и мешочек для отчётной карточки со сведениями о ранении, семейном положении и службе занимающего данную койку. В каждом вагоне имеется усовершенствованная вентиляция; кроме того, воздух освежается прекрасными озонаторами и сосновой водой из распылителей. В каждом вагоне имеется стеклянный ящик для всех медикаментов, необходимых в оказании первой помощи раненому и больному. <...>

Самим внешним видом поезд отличается от других: все вагоны окрашены в тёмно-синий цвет и носят вензелевое изображение имени Её Величества и надпись с наименованием поезда».

В Евпаторию поезд прибыл 1 мая в 1 час ночи, добравшись сюда за три дня пути вместо обычных пяти – по расписанию. Утром команда санитаров участвовала в «сдаче по назначению 18 офицеров и 33 нижних чинов».

Последние раненые покинули поезд на другой день, в Севастополе. Есенин вспомнил, как он, в 1914 году уволившись из типографии Сыти-

на, прикатил в Крым. *«Севастополь мне очень нравится, – писал он тогда отцу, – особенно у набережной, где памятник Нахимову».* Писал и о своей поездке парохомом в Ялту: *«Дорога была не из приятных. Когда вышли из Севастополя, в нас хотели стрелять из миноносца. Всё вышло по недоразумению. Наш капитан не ответил на три сигнальных выстрела. Был ветер, на море волны, и не было слышно».* Письмо было отправлено 19 июля, в день объявления Германией войны с Россией. Война же снова привела его в Севастополь.

Перед отправлением к фронту поезд стоял на станции «Симферополь»: «Здесь в 7 час. утра поезд посетил таврический губернатор свиты Его Величества генерал-майор Н. А. Княжевич в сопровождении врачебного инспектора. Подробно осмотрев поезд, г. Губернатор выразил своё полное восхищение прекрасным и благоустроенным видом его.

В 2 часа дня поезд посетил Высокопреосвященный Димитрий, архиепископ Таврический и Симферопольский, в сопровождении иеромонаха Серапиона. Владыку встретили у поезда – персонал служащих в поезде во главе с поездным священником, команда санитаров и служащих поезда. Хор певчих поезда встретил Высокопреосвященнейшего Владыку пением...».

3

В ночь с 4 на 5 мая поезд № 143 вышел из Симферополя в очередную «тридцать первую поездку»: «...за ранеными на Юго-Западный фронт, имея направление: Синельниково – Лозовая – Полтава – Киев. Из Киева должны <...> последовать указания о дальнейшем маршруте».

Хотя поезд шёл без раненых, персоналу скучать не давали. Очередной приказ по поезду поступил при остановке в Синельниково:

«Сегодня в вагоне № 1 в 8 час. вечера священником поезда о. В. Кузьминским будет отслужена всенощная, а завтра, в день рождения Его Императорского Величества, в том же вагоне в 9 час. утра будет совершена Божественная литургия, по окончании – благодарственный молебен. На богослужении присутствовать всему персоналу и всем свободным от службы нижним чинам поезда».

Бескрайние цветущие степи за окнами поезда сменялись рощами пирамидальных тополей, мелькали белые хатки малороссийских сёл с пышными соломенными кровлями.

В Полтаве поезд задержался на пару часов, и на другой день уже въезжал в Киев, запомнившийся сиянием золотых куполов и цветущими каштанами.

В пять часов дня, в составе команды санитаров поезда Есенин отправился (по новому приказу коменданта) в Киево-Печерскую лавру на всенощную. Ночью поезд вышел из Киева на Ровно и весь следующий день персонал был занят: утренним богослужением, медицинским осмотром команды санитаров в вагоне № 10 и вечерним богослужением. Последний день, перед приёмом раненых, поезд простоял в Ровно.

«Пользуясь продолжительной стоянкой поезда, – читаем в докладе коменданта, – старший врач статский советник Авдеевский, врач хирург Си-

нозёрский и сёстры милосердия Пыжёва и Лазарева на автомобиле Красного Креста выехали на позиции и здесь, с разрешения начальника дивизии, раздали от имени Вашего Величества подарки воинским частям в окопах, находящихся в непосредственной близости от неприятельских».

На следующий день поезд продвинулся на запад и на станции «Клевань» в течение шести часов принимал больных и раненых: «К 10 часам вечера поезд принял одного больного офицера и 125 раненых и больных нижних чинов – всё наличное число раненых и больных, подлежащих эвакуации. В ночь на 11 мая поезд возвратился в Ровно», где взяли ещё 180 раненых, затем – 15 раненых на станции «Здолбуново» и полностью догрузили поезд сотней раненых нижних чинов на станции «Кривин».

В Киеве часть раненых сдали на распределительный пункт и пополнили запасы провианта.

Не забывали и о богослужениях: «Сегодня в вагоне-столовой, в 7 час. 30 мин. веч. священником поезда о. В. Кузьминским будет отслужена все-нощная, а завтра, в день Священного Коронования Их Императорских Величеств, в том же вагоне, в 6 час. 30 мин. утра – Божественная Литургия. На богослужении присутствовать всем свободным от службы».

К вечеру девятнадцатого дня путешествия, сдав раненых (1 офицера и 276 нижних чинов) на стационарное лечение, уставшая команда вернулась в свой Городок.

4

В комнате, где жил Есенин, часто находился сын полковника Ломана Юрий, друживший с братьями Прибытковыми. Сергея удивляло, что десятилетний мальчик был одет в точную копию формы санитара поезда, да ещё с лычками ефрейтора.

Из воспоминаний Юрия:

«Дети из «приличных семей» со мной не дружили и вот почему. Когда мне исполнилось 6 лет, отец отвёл меня в 1-ю роту Сводного полка, которой он в то время командовал. Собрал солдат и, обращаясь к ним, сказал: «Я привёл к вам своего сына, воспитайте его так, чтобы ваши дети, если придётся им служить под его командованием, сказали – он хороший командир».

Я много раз слышал, как отец рассказывал о том, как он, юный подпоручик 146 Новочеркасского полка совсем не знал солдат, которыми ему пришлось командовать, и что теперь офицер должен не только командовать, но и воспитывать солдат, и что он хочет, чтобы его сын вырос среди солдат. Как-то полуротный командир 1-й роты, которой командовал отец, старший лейтенант Могульский сказал: «У нас всё наоборот, полковой священник отец Николай печётся о дисциплине солдат, а капитан Ломан о их душе».

И я действительно почувствовал себя солдатом 4-го взвода. Да к тому же взводом командовал наш бывший денщик Фёдор Прибытков, мой закадычный друг и наставник. Я ел с солдатами из одного бачка, ходил с ними на стрельбище. Вставал с постели под звуки горна и ложился спать, как только горнист протрубит зорю.

Многие из сверстников моего отца были свитскими генералами или флигель-адъютантами, т. е. имели придворные чины, а у отца их не было.

Говорили, что он вспыльчив, устраивал разносы, не стеснялся осуждать начальников. Особенно от него доставалось непосредственному начальнику – дворцовому коменданту генералу Воейкову, который об этом знал. Отец старался по всем вопросам обращаться к высочайшим особам помимо Воейкова, на что тот ему неоднократно указывал.

Солдаты отца очень любили и он, в свою очередь, постоянно о них заботился. По его инициативе в Сводном полку была открыта солдатская лавка, солдатская читальня, на дверях своей квартиры он вывесил ящик, куда солдаты могли опускать письма с жалобами и просьбами. При всяком удобном случае отец старался добиться наград для своих подчиненных. Это даже послужило поводом для доноса на него».

Приказ об очередной отправке санитарного поезда был объявлен уже через десять дней после возвращения: 28 мая в 1 час 50 мин. дня «с Николаевского вокзала в 32-ю поездку по направлению: Москва – Курск – Конотоп – Киев – Шепетовка». Предлагалось «всему персоналу поезда собраться к 12 часам дня».

32-я поездка санитарного поезда, в которой приняли участие полковник Ломан с сыном, не задалась с самого начала. Из Петрограда выехали с опозданием и в дальнейшем движении на Москву вынуждены были пропускать пассажирские и скорые поезда, нагонявшие их в пути.

На другое же утро Есенин оказался на операционном столе с приступом аппендицита. После операции лежал он в одиночестве в вагоне для тяжело-раненых, и, пользуясь свободным временем, готовил обещанную Мурашёву рукопись поэмы «Русь».

Закончив, сделал приписку: «31 мая 1916 г. У Конотопа».

Интересно совпадение, что именно в этот день вышел в Петрограде толстый и уважаемый журнал «Вестник Европы» со статьёй профессора П.Н. Сакулина «Народный златоцвет»:

«Поэтическое творчество русского народа не замерло: оно приняло лишь новые формы. <...>

...всегда были есть и будут поэты, имена которых спасены от забвения. Степень их самобытности, так сказать «народности», до бесконечности разнообразна. <...>

Я остановлюсь на творчестве двух поэтов этой категории, которые уже успели привлечь к себе сочувственное внимание читателей и ценителей искусства. Это Николай Алексеевич Клюев и Сергей Александрович Есенин. Оба они – кровные дети крестьянской России. Живут в деревне и ведут мужицкое хозяйство. Пока их нельзя даже называть профессиональными писателями. <...>

...молодой двадцатилетний певец С.А. Есенин только что издал сборничек «Радуница». <...>

С первых же минут своей жизни Есенин приобщился к народно-поэти-

ческому миру. Он – «внук купальской ночи». Матушка в купальницу по лесу ходила, собирала «травы ворожбиные»; тут и сына породила.

Родился я с песнями в травном одеяле.

Зори меня вешние в радугу свивали.

Весенним, но грустным лиризмом веет от «Радуницы». Славословье природы, поэзия быта, искорки молодой любви и молитва Богу – вот спектр этой едва распускающейся поэзии.

Нежно любит Есенин свою родную сторону и находит для неё хорошие, ласковые слова. <...>

Мила, бесконечно мила поэту-крестьянину деревенская хата, где «пахнет рыхлыми драчёнами, у порога в дежке квас, под печурками точёными тараканы лезут в паз». Он превращает в золото поэзии всё – и сажу под заслонками, и kota, который крадётся к парному молоку, и кур, беспокойно квохчущих под оглоблями сохи, и петухов, которые на дворе запевают «обедню стройную», и кудлатых щенков, забравшихся в хомуты. <...>

...в Есенине говорит непосредственное чувство крестьянина, природа и деревня обогатили его язык дивными красками. «В пряже солнечных дней время выткало нить», – скажет он; или: «Выткался на озере алый свет зари... Жёлтые поводья месяц уронил»...

Клюев и Есенин нашли заветный клад из самоцветных камней. Благоговейной рукой они выкладывают из них художественно-мозаичные образы. А иногда, беззаботно подбрасывают их на ладони, любят их ярким блеском и сочетанием красок.

Родник «народного» творчества не иссяк.

Пусть местами его запорошило пылью, закоптило дымом; пусть кое-где несёт он с собою муть. Но сколько в нём кристально-чистых и звонких струй! Высоко бьют они и золотыми искрами переливаются на солнце поэзии».

5

«Отец собрался в путь и всё-таки взял меня с собой, – вспоминал об этой поездке сын полковника Юрий Ломан. – Нас сопровождает денщик Роман Егорович Фролов.

Если поезд шёл за ранеными и дел было немного, в вагоне-столовой за большим четырёхугольным столом собирались врачи и сёстры. На председательском месте сидел главный врач поезда Андрей Александрович Авдудевский. По правую руку от главного врача сидел комендант поезда невысокого роста, рыжеусый, в очках, похожий не то на врача, не то на учителя, богатейший фабрикант сарептской горчицы Александр Васильевич Воронин. На его средства содержался санитарный поезд. Надо сказать, что на санитарную колонну деньги давали московские фабриканты Стулов и Корзинкин, а Городок строился на средства многих благотворителей, как они тогда назывались.

Отец проявлял необыкновенную энергию в доставании денег на свои многочисленные начинания. Иногда он целыми днями ломал голову над тем, как заплатить за продукты, забранные в кредит для лазарета или за материалы для строительства Городка. Даже известная Анна Александровна Вы-

рубова и та раскошелилась и оплатила счёт за электропроводку в Городке. Убеждать людей отец умел. <...>

Но вернёмся в поезд. Чуть поодаль сидели несколько врачей, батюшка – отец Покровский, царскосельский аптекарь Каск, содержавший поездную аптеку и ею заведовавший, и сёстры милосердия. У отца было излюбленное место на диване, придвинутом к столу. Этот диван носил название жёрдочки и на нём допоздна велись бесконечные беседы и споры. Я сидел рядом с ним на диване».

Главные дела у команды поезда наступили после прибытия в Киев и отправки на Ровно. Есенин уже вернулся в свой вагон, но в работе санитаров пока не участвовал.

Из доклада коменданта поезда Императрице о погрузке в Шепетовке: «...в 5 час. дня 3-го июня приступили к погрузке раненых. Приём был прерван на некоторое время сильным дождём. Около 7 часов вечера погрузка закончилась, причём принято было 437 человек, преимущественно тяжело раненых. При приёме раненых из теплушек, где они в силу необходимости находились в тяжёлых условиях, все работающие в поезде были свидетелями, насколько велики значение и польза, приносимые поездом Вашего Величества.

Раненые первоначально не предполагали, что поезд будет принимать их, а затем, оказавшись в поезде, где они были переодеты и накормлены, самым трогательным образом выражали свою благодарность, благословляя Имя Вашего Императорского Величества».

Все раненые были сданы 4 июня на распределительный пункт станции «Киев», и персонал ознакомили с приказом о выходе поезда на станцию «Новоселицы» в 33-ю поездку.

Отцу в Москву Есенин писал: *«Дорогой папаша. Еду по Румынской границе по направлению к Черновцам. Чувствую себя лучше и веселей».*

Здесь, на границе России, Румынии и Австро-Венгрии, и сделан групповой снимок персонала и команды поезда фотографом А. М. Функом.

После погрузки раненых поезд отправился «в обратный путь по маршруту Киев – Курск – Москва – Царское Село».

Как следует из доклада коменданта, в Киеве «осчастливила поезд Своим посещением» вдовствующая Императрица Мария Феодоровна. Она «изволила обойти все десять вагонов, наполненных ранеными, удостоила раненых милостивой беседой, желая им скорейшего выздоровления... Также изволила посетить вагон-перевязочную». От Киева до Царского Села поезд сумел добраться за четыре дня.

Согласно последнему приказу по поезду, был составлен список «О награждении медалями «За усердие»». (Есенина, ввиду болезни, в этом списке не было). Но зато наградой ему был «Увольнительный билет»: «...санитару поезда Сергею Есенину в Рязань сроком на пятнадцать дней по 30 июня с/г».

6

Клюев возвратился в Петроград недавно, после большой концертной поездки с Н. В. Плевицкой по прифронтовой полосе и другим городам Рос-

сии. Только за апрель-май они проехали по маршруту: Двинск – Витебск – Минск – Могилёв – Гомель – Киев – Орёл – Тамбов – Пенза – Сызрань.

Обогрела его и Сергея рецензия З. Бухаровой на книгу «Радунница», опубликованная в мае в приложении к журналу «Нива»:

«Имя Сергея Есенина ставят у нас рядом с именем Николая Клюева. Между тем общее между этими двумя поэтами, кроме их постоянно-совместного публичного выступления, только одно: народность. Правда, оба они – дети деревни, пишут о деревне. Но и подход их к своим темам, и манера, и форма трактовки совершенно разные.

Сергей Есенин очень молод, и на всём его сборнике лежит прежде всего печать подкупающей юной непосредственности. Соблазны культуры почти ничем ещё не задели ясной души «Рязанского Леля». Он поёт свои звонкие песни легко, просто, как поёт жаворонок. Усталый, пресыщенный гражданин, слушая их, приобщается к забытому аромату полей, бодрому запаху чёрной разрыхлённой земли, к неведомой ему трудовой крестьянской жизни, и чем-то радостно-новым начинает биться умудрённое всякими исканиями и искусами вялое сердце...

У Сергея Есенина есть, несомненно, будущее. Но он должен твёрдо держаться принятого пути, не увлекаться опасными модными течениями, погубившими уже столько свежих дарований. Мы так давно, так мучительно ждали голоса родной земли, родной деревни. Тяжёлые настоящие времена, сквозь свои слёзы и кровь, словно в утешение дарят нам гордость и радость таких подлинно национальных талантов, как мудрый, глубокий «сказитель» Клюев и нежный, ласково-чарующий крестьянский лирик Сергей Есенин. Приветствуя их книги, мы согреваемся душою и верим в самые светлые достижения непочатых, неиссякаемых сил нашего народа».

Встречи после долгих санитарных поездок были как-то по-новому значительны. В редакции «Северных записок» Есенин случайно познакомился с поэтом Алексеем Ганиным. Был тот из деревни Коншино Вологодской губернии. Даже в судьбе их нашлось что-то общее: Ганин окончил Вологодское медицинское училище, служил, по мобилизации, в Николаевском военном госпитале Петрограда, а сейчас, по состоянию здоровья, был освобождён от армии и уезжал в Вологду. Он, как и Есенин, был в форме санитаря.

Встретив Пимена Карпова, Сергей подарил ему свою фотографию, написав: «Друг ты мой, товарищ Пимен, кинем мы с тобою камень в небо, кинем. Исцарапанные хотя, но доберёмся до своего берега и водрузим свой стяг, а всем прочим осиновый кол поставим. Сергей Есенин 1916. 16 июня».

Мурашёв оказался в длительной командировке в Финляндии, и Сергей, забрав из его квартиры свою корзинку с рукописями, опять перенёс её к Клюеву.

Клюев собирался с Есениным в Константиново, но денег у них, как всегда, не было. Они обратились к Иерониму Ясинскому, надеясь получить гонорар за стихи, напечатанные в сборнике «Страда», однако записка Ясинского не помогла. Так и простились они на Николаевском вокзале, откуда Есенин выехал в Москву.

«ПРИВЕТСТВУЕТ МОЙ СТИХ МЛАДЫХ ЦАРЕВЕН...»

1

В Москве Сергей решил не задерживаться и уехать в Константиново этим же вечером. День прошёл в бегах и вместил в себя немало событий, даже знакомство с поэтом-суриковцем Иваном Морозовым. Есенин, собственно, знал его давно, так как тот являлся одним из учредителей Суриковского кружка, но был он старше Сергея и близкого знакомства тогда не случилось.

Между кратких свиданий с отцом, Анной, сыном Сергей успел забежать и к своему другу Ивану Репину. На его доме возле Щипка на Серпуховской всё ещё висела вывеска «Яичная торговля» – родовое купеческое занятие поэта-самоучки.

О приезде Сергея в Константиново в отпуск вспоминала сестра Екатерина: «Худой, стриженный наголо приехал он на побывку. Отпустили его после операции аппендицита.

– Какая тишина здесь, – говорил Сергей, стоя у окна и любуясь нашей тихой зарёй.

В армии он ездил на фронт с санитарным поездом, и его обязанностью было записывать имена и фамилии раненых. Много тяжёлых и смешных случаев с ранеными рассказывал он. Ему приходилось бывать и в операционной. Он говорил об операции одного офицера, которому отнимали обе ноги.

Сергей рассказывал, что это был красивый и совсем молодой офицер. Под наркозом он пел «Дремлют плакучие ивы». Проснулся он калекой...».

Снова Сергей был среди своих: мать, сёстры, дед, гостеприимный дом о. Ивана и тёти Капы, закадычные друзья детства – Клавдий и Тимоша. Приехала даже родственница о. Ивана Анюта Сардановская, его юношеское увлечение, теперь – учительница села Дединово.

И всё это выплеснулось!..

*Я снова здесь, в семье родной,
Мой край, задумчивый и нежный!
Кудрявый сумрак за горой
Рукою машет белоснежной.*

*Седины пасмурного дня
Плывут всклокоченные мимо,
И грусть вечерняя меня
Волнует непреодолимо...*

Хозяйкой барского дома после смерти Кулакова стала его дочь Лидия Ивановна Кашина. Сергей помнил её со времён своего босоногого детства, когда вместе с друзьями бегал по константиновской улице за каретой, из которой, смеясь, смотрела на них юная Лидия.

В Константинове же Лидия познакомилась со своим будущим мужем,

преподавателем русской словесности Николаем Павловичем Кашиным, который занимался в имении с её братом Борисом.

Кулаков был против небогатого учителя гимназии и перехватывал его письма к дочери. Лидия просила Кашина писать «...не до востребования, а вот как: Рязанская губ., Кузьминское почтовое отделение, село Константиново, кр. (крестьянину) Фёдору Андреевичу Титову, передать Татьяне Титовой <племянница есенинского деда Фёдора>. Адрес самый верный...»

В брак с Н.П. Кашиным она вступила вопреки воле отца. Живя в Москве, Лидия Ивановна лето проводила с детьми в своём константиновском доме, где гостями её бывали видные литераторы того времени. Стал её гостем и Сергей Есенин, подаривший ей свою первую книгу стихов.

«Тимоша Данилин, друг Сергея, занимался с её детьми, – вспоминала Екатерина. – Однажды он пригласил с собой Сергея. С тех пор они стали часто бывать по вечерам в её доме.

Матери нашей очень не нравилось, что Сергей повадился ходить к барыне. Она была довольна, когда он бывал у Поповых <дом о. Ивана>. Ей нравилось, когда он гулял с учительницами. Но барыня? Какая она ему пара? Она замужняя, у неё дети.

– Ты нынче опять у барыни был? – спрашивала она.

– Да, – отвечал Сергей.

– Чего же вы там делаете?

– Читаем, играем, – отвечал Сергей и вдруг заканчивал сердито. – Какое тебе дело, где я бываю!

– Мне, конечно, нет дела, а я вот что тебе скажу: брось ты эту барыню, не пара она тебе, нечего и ходить к ней. Ишь ты, – продолжала мать, – нашла с кем играть.

Сергей молчал и каждый вечер ходил в барский дом».

Побывка закончилась. На обратном пути в Петроград Сергей снова был в Москве. Любовь Столицу он не встретил и оставил ей письмо:

«Дорогая Любовь Никитична!

Только на днях возвратился с позиций и застал Вашу открытку. Простите, что поздно отвечаю. Лучше поздно, чем никогда. Городецкий служит тоже, и на днях заберут Блока.

Провожая меня, мне говорили (Клюев) о Клычкове, он в Гельсингфорсе и поет.

Видел в «Северных записках» Ваши стихи, они уже сверстаны в июльскую книгу.

Любящий Вас Есенин».

2

По прибытии к месту службы Есенин распоряжением полковника Ломана стал числиться по колонне санитарных повозок. Но на передовые позиции, где тогда находилась колонна, не был направлен, а оставался в Царском Селе при Феодоровском Государевом соборе.

Отцу написал сразу, указав свой новый адрес:

«Дорогой Папаша!

*Доехал, слава Богу, как и прежде, лёг камешком, а поднялся калачиком.
Слоняюсь, как отравленный, из стороны в сторону без дела и мешаю
то столяру, то плотникам. В общем, положение среднее.*

Сергей.

Царское Село.

Канцелярия по постройке Феодоровского собора.

С. А. Е.».

Написал и Анюте Сардановской:

*«Я ещё не оторвался от всего того, что было, поэтому не преломил в
себе окончательной ясности.*

*Рожь, тропа такая чёрная и шарф твой, как чадра Тамары <отзвук
строк из поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон»>.*

*В тебе, пожалуй, дурной осадок остался от меня, но я, кажется, хоро-
шо смыл с себя дурь городскую.*

*Хорошо быть плохим, когда есть кому жалеть и любить тебя, что ты
плохой. Я об этом очень тоскую. Это, кажется, для всех, но не для меня.*

*Прости, если груб был с тобой, это напускное, ведь главное-то стер-
жень, о котором ты хоть маленькое, но имеешь представление.*

*Сижу, бездельничаю, а вербы под окном ещё как бы дышат знакомым
дурманом. Вечером буду пить пиво и вспоминать тебя.*

Сергей.

Царское Село.

*Р. С. Если надумаешь перекинуться в пространство, то напиши. Капи-
толине Ивановне и Клавдию с Марфушей поклонись».*

Главным же событием стала для Сергея увольнительная записка от пол-
ковника Ломана.

«Предъявитель сей санитар...» был отпущен полковником в Петроград,
куда пригласил его Мурашёв на литературное совещание по редактирова-
нию выпускаемых сборников.

«В то время я собирал материал для литературных альманахов «Друж-
ба» и «Творчество», – вспоминал Мурашёв. – У меня встречались писатели,
участвовавшие в редактировании сборников. Одно из таких литературных
совещаний было назначено на 3 июля. Я пригласил и Сергея Есенина.

Все собрались. Пришёл Есенин. Ждали Блока, но он почему-то запаз-
дывал.

В это время, возвращаясь с концерта на Павловском вокзале, зашёл ко
мне скрипач К. Вслед за ним пришёл художник Н., только что вернувшийся
из-за границы, откуда он привёз мне в подарок репродукцию с картины Яна
Стыки «Пожар Рима». Эта картина вызвала такие споры, что пришлось да-
вать высказываться по очереди. Причиной спора была центральная фигура
картины, стоящая на крыше дворца с лирой в руках, окружённая прекрасны-
ми женщинами и не менее красивыми мужчинами, любующимися огненной
стихией и прислушивающимися к воплям и стонам своего народа. Горячо

высказывались писатели, возмущённо клеймили того, кто совмещал поэзию с пытками. Есенин молчал. Скрипач К. – тоже. Обратились к Есенину и попросили высказаться.

– Не найти слов для оправдания, ни для обвинения – судить трудно, – тихо сказал Есенин.

Потребовали мнения К.

– Разрешите мне сказать музыкой, – произнёс он.

Все разом проговорили: «Просим, просим!».

К. вынул скрипку и стал импровизировать. Его импровизация слушателей не удовлетворяла. Он это почувствовал и незаметно для нас перешёл на музыку Глинки «Не искушай» и «Сомнение». Эти звуки дополняли яркие краски картины.

В этот момент по телефону позвонил А. Блок. Услышав музыку, он спросил, что за концерт. Я рассказал, в чём дело. Он изъявил желание послушать музыку К., зная, что его слушает А. А. Блок, сыграл ещё раз «Не искушай». Блок поблагодарил К., извинился перед собравшимися, что не может присутствовать на сегодняшнем совещании из-за болезни, и просил отложить заседание на следующий день.

Сергей Есенин подошёл к письменному столу, взял альбом и быстро, без помарок написал следующее стихотворение:

«16 г. 3 июля.

Слушай, поганое сердце,

Сердце собачье моё.

Я на тебя, как на вора,

Спрятал в руках лезвие.

Рано ли, поздно всажу я

В рёбра холодную сталь.

Нет, не могу я стремиться

В вечную сгнившую даль.

Пусть поглупее болтают,

Что их загрызла мета;

Если и есть что на свете –

Это одна пустота.

Примечание>. Влияние «Сомнения» Глинки и рисунка «Нерон, поджигающий Рим». С. Е.»

Я был поражён содержанием стихотворения. Мне оно казалось страшным, и я тут же спросил его:

– Сергей, что это значит?

– То, что я чувствую, – отвечал он с лукавой улыбкой».

Через неделю Сергей получил очередное увольнение в Петроград. Побывав в обществе «Страда», он навестил по пути и молодую поэтессу Мальвину Марьянову.

«После нашей первой встречи у Ясинского Есенин стал бывать у меня, – рассказывала она. – В то время мы с мужем Д.И. Марьяновым жили на Забалканском проспекте. В нашем доме собирались молодые, начинающие авторы. Особенно ярко запомнился один день. Пришёл Есенин утром, чем-то возбуждённый, радостный, попросил меня прочесть мои стихи, потом начал смотреть мой альбом и вдруг совершенно неожиданно написал:

«Мальвине Мироновне – С. Есенин.

В глазах пески зелёные

И облака.

По кружеву краплёному

Скользит рука.

То близкая, то дальняя,

И так всегда.

Судьба её печальная –

Моя беда.

9 июля 1916».

3

Скучая в Городке, Есенин сочинил детскую сказку в стихах – «Исус младенец»:

Собрала Пречистая

Журавлей с синицами

В храме:

«Пойте, веселитесь

И за всех молитесь

С нами!»...

Длинная сказка написана легко, но уже через несколько дней духовный цензор-протоиерей П.Н. Лахостский из Петроградского Комитета по делам печати сказку эту для печати запретил...

Пока Есенин находился в Царском Селе, в Петрограде произошло трагическое событие: деревянный Исаакиевский мост, пересекавший Неву строго по оси «Медного всадника», был наплавным и сгорел от искр, вылетевших из трубы проходившего парохода. Пламя быстро охватило мост, а ветер сорвал с наплавных опор и понёс горящим факелом по Неве.

Анна Ахматова, наблюдавшая это с Александром Блоком, позже писала: ««Записная книжка» Блока дарит мелкие подарки, извлекая из бездны забвенья и возвращая даты полузабытым событиям: и снова деревянный Исаакиевский мост, пылая, плывёт к устью Невы, а я с моим спутником с ужасом глядим на это невиданное зрелище, и у этого дня есть дата – 11 июля 1916 года...».

В очередном увольнении Есенин ночевал у известного артиста Императорской труппы В.Н. Давыдова.

На другой день в квартире Мурашёва «...состоялось деловое редакционное совещание, на котором присутствовал А. Блок. Был и Сергей Есенин.

Я <Мурашёв> рассказал Блоку о прошлом вечере, о наших спорах и показал стихотворение Есенина.

Блок медленно читал это стихотворение, очевидно и не раз, а затем покачал головой, подозвал Сергея и спросил:

– Сергей Александрович, вы серьёзно это написали или под впечатлением музыки?

– Серьёзно, – чуть слышно ответил Есенин.

– Тогда я вам отвечу, – вкрадчиво сказал Блок.

На другой странице этого же альбома Александр Александрович написал ответ Есенину – отрывок из поэмы «Возмездие», над которой в то время работал и которая ещё нигде не была напечатана:

«Жизнь – без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.
Над нами – сумрак неминучий,
Иль ясность Божьего лица.
Но ты, художник, твёрдо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрастной мерой
Измерить всё, что видишь ты.
Твой взгляд – да будет твёрд и ясен,
Сотри случайные черты –
И ты увидишь: мир прекрасен.

Александр Блок.

13. VII-1916 г.»

Получив письмо от Есенина, Анюта ответила ему в тот же день:

«Совсем не ожидала от себя такой прыти – писать тебе, Сергей, да ещё так рано, ведь и писать-то нечего, явилось большое желание. Спасибо тебе, пока ещё не забыл Анны, она тебя тоже не забывает. Мне несколько непонятно, почему ты вспоминаешь меня за пивом, не знаю, какая связь. Может быть, без пива ты и не вспомнил бы? Какая великолепная установилась после тебя погода, а ночи – волшебство! Очень многое хочется сказать о чувстве, настроении, смотря на чудесную природу, но, к сожалению, не имею хотя бы немного слов, чтобы высказаться. Ты пишешь, что бездельничаешь. Зачем же так мало побыл в Константинове? На праздник, 8-го было здесь много народа, я и вообще все достаточно напрыгались, но всё-таки

А. С.»

4

Когда Мурашёв вернулся из Финляндии, он ничего не знал о месте службы Есенина, и направился к Клюеву.

« – Серёженьке хорошо, он в Царском Селе, в безопасном месте, его на фронт не возьмут, – нараспев отвечал мне его друг.

Я настаивал дать мне его адрес. Тот отказался наотрез, заявив, что не

знает, а если бы и знал, то не мог бы дать. Этот разговор с Клюевым меня немало удивил, и я ещё больше обеспокоился за судьбу Есенина. Искать в Царском Селе Есенина, не зная адреса, была бессмыслица».

Когда Есенин сам появился у Мурашёва, он, почему-то, тоже говорил, что не может сказать своего адреса.

«И вот однажды, – вспоминал Мурашёв, – вечером зашёл ко мне какой-то солдат.

– Я от Есенина, он просит как можно скорей приехать к нему.

Я получил адрес и на другой день поехал навестить его. Всю дорогу до Царского Села я пытался разгадать место пребывания Есенина. Смущал адрес: Фёдоровский собор. Нанимая извозчика до Фёдоровского собора, я услышал от возницы, что до самого собора не довезёт: там «не пускают». Извозчик довёз меня до казарм, а от казарм с расспросами колесил среди воинских корпусов.

Спрашиваю солдата, сидевшего на корточках и чистившего кухонную медную посуду. Тот направил к небольшому одноэтажному домику. Вхожу в открытые двери, попадаю в тёмный коридор, зажигаю спичку, ищу дверь. Их оказалось три. Пробую стучать по очереди. В первой комнате никого, только стояли серые низкие койки солдат. Во второй комнате также никого. Вхожу в третью. Из правого угла с койки вскакивает Есенин и бросается на шею.

– Миша! А я думал, что ты не придёшь!

Начал разглядывать комнату. Окна под потолком, но без решёток. Это не острог, а такой стиль постройки для слуг. Мрачная продолговатая комната. В ней четыре койки, покрытые солдатскими одеялами. Койка Есенина была справа под окном. У койки небольшой столик и табурет. В головах койки чернела дощечка, на которой выведено мелом неровным почерком: «Сергей Есенин».

Спрашиваю:

– Что же это – казармы?

– Почти <...>, – коротко ответил Есенин и принялся угощать дешёвыми папиросами. <...>

– Угостил бы тебя, да денег нет, – говорит печально.

Я ему дал денег 15 рублей. Он повеселел.

– Хорошо бы поймать полковника, он бы дал записку на вино в госпитальный магазин.

Не успел он закончить фразы, как в дверь резко постучали, и без ответа на стук вошёл полковник Ломан. Есенин представил меня полковнику как своего близкого друга. Полковник был любезен и приветлив. Есенин с улыбкой обратился к нему:

– Господин полковник, дайте записочку, хочу угостить друга.

Ломан засмеялся и проговорил:

– Только поаккуратней.

Он подошёл к столику, сел на кровать Есенина и на небольшом листике бумаги написал: «Отпустить Есенину за наличный расчёт 1 бут. виноградного вина и 2 бут. пива. Полковник Ломан».

Потом отозвал Есенина в сторону и что-то тихонько сказал ему. Прощаясь со мной, он проговорил:

– Проводишь гостя, зайди ко мне.

Я спросил:

– Что ему от тебя нужно?

Есенин безнадежно махнул рукой.

– Ладно, Миша, вначале выпьем, а потом всё расскажу.

Полковник написал записку на обороте какого-то стихотворения. Я предложил Есенину переписать.

Надев фуражку, он сказал:

– Я и так его помню. – Он было пошёл, но, вернувшись от двери, присел к столику, исправил на записке из одной бутылки вина 4, а из двух бутылок пива – 12.

– Я на все деньги возьму.

– Бери, но пить будем немного, – сказал я.

– Там видно будет.

Через минут пятнадцать он пришёл в сопровождении солдата с двумя корзинами.

Выпив немного, мы отправились с ним осматривать строящуюся трапезную в древне-русском стиле, где художник Пашков расписывал стены. Затем он повёл меня осматривать Фёдоровский собор. Собор был открыт. Готовились к всенощной. Хранитель собора провёл нас в нижний этаж, где находились собранные со всей России старинные иконы. Показал узкую комнатку, точно застенок, в которой Николай исповедывался у своего духовника. После мы в этой клетушке с хранителем собора не раз распивали церковное вино.

Когда мы с Есениным вышли из собора и направились к парку, он обратил моё внимание на царский вход собора. На арке крыльца был сделан мозаичный архангел Михаил на коне. На золотом фоне белый вздыбленный конь с юным седоком. Огненный меч. Пунцовый развевающийся хитон на голубой тунике. Вечерние лучи скользили по цветным блестящим камням, и блики их как бы дрожали.

– Хорошо сделано, кажется, по рисунку художника Нестерова, – сказал Есенин.

После прогулки ещё немного «заглянули» в корзинку.

Скоро Есенин пошёл меня провожать. Дальше казарм он провожать не мог. Время близилось к девяти. То, что рассказал мне Есенин, мне было сразу не совсем понятно. Что же всё-таки он там делал? Прямой службы не нёс. И в лазарете бывал редко. Помогал в канцелярии фельдшерам и сёстрам писать списки больных, то заполнять продовольственные карточки, то несколько дней его не вызывали, тогда он лежал целые дни у себя в полутюремной комнате. Полковник Ломан его часто вызывал к себе и учил, как надо держаться с императрицей Александрой, если случайно придётся встретиться. А в лазарете она бывала часто».

Поэма «Галки», отвергнутая цензурой, не давала покоя Есенину. Миролюбов так и не решился напечатать её.

Встретив в Петрограде Алексея Ганина, Есенин съездил с ним в Вологду. Здесь в частной типографии Ганину был знаком заведующий С.В. Клыпин, который так вспоминал об этой встрече:

«18 июля ко мне пришли в типографию, заведующим которой я был, наш вологодский поэт Алексей Ганин и представил какого-то поэта Есенина, который хотел бы свою поэму «Галки» напечатать в Вологде, так как в Петрограде её не печатали. Я дал сведения о стоимости издания и как направить рукопись в цензурный комитет г. Москвы, где легче проходят рукописи, чем в Петрограде. <...> ...я заснял Есенина, не подозревая, что этот Есенин будет громадным поэтом».

5

Приближался день тезоименитства <именин> Великой Княжны Марии Николаевны, и полковник Ломан, задумав устроить в честь этого концерт в офицерском лазарете, поручил Есенину написать стихотворение для поздравительного приветствия Высочайшим особам. Из рассказа Юрия Ломана:

«Весной 1916 года в Городке было закончено строительство ещё одного дома, отделанного так же, как и здание Трапезной, белым камнем. В это здание перевели раненых офицеров, размещавшихся во втором этаже здания солдатского лазарета. Вот в этом лазарете 22 июля 1916 года в день тезоименитства вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны или, говоря обыкновенным языком, именин вдовы императора Александра III и великой княжны Марии Николаевны, был назначен концерт.

Часов около четырёх к лазарету подъехал огромный императорский «Делоне-де-Бельвилль». У автомобиля были большие медные фонари, а вместо номера на жестянке была нарисована буква «А» под императорской короной. За рулём императорской машины сидел шофёр в кителе офицерского покроя, в пальто песочного цвета и фуражке. А рядом с ним выездной лейб-казак в высокой меховой шапке с алой суконной выпушкой. В машине императрица и четыре великие княжны. Они приехали осмотреть лазарет и послушать концерт. Лейб-казак открыл дверцу и помог императорской семье выйти из машины.

Одеты сегодня высочайшие особы изысканно. Императрица не в костюме сестры милосердия, а в платье своего любимого сиреневого цвета. Великие княжны тоже в нарядных платьях. Это редкий случай, когда младшие великие княжны нарядно одеты. Обыкновенно у них довольно затрапезный вид: зимой они ходят в шерстяных вязаных кофточках, на голове вязаные шапочки, а вокруг шеи замотан длинный шарф, а летом – в длинных шёлковых кофточках, заметно выгоревших на спине.

После осмотра лазарета великие княжны остались болтать с ранеными офицерами, а императрица, по приглашению моей матери, поднялась на маленький балкончик, выходящий на пруд Фёдоровского собора. Здесь был сервирован чай на две персоны.

Пока императрица пила чай, в столовой лазарета и прилегающей к ней биллиардной всё было подготовлено для концерта. Я, по своему обыкновению, уселся среди солдат на ступеньки, ведущие из биллиардной в столовую, с нетерпением ожидая начала концерта. Вели концерт Есенин и Сладкопевцев. Есенин читал специальное приветствие и стихотворение, посвящённое «хозяйкам» лазарета:

*В багровом зареве закат шипуч и пенен,
Берёзки белые горят в своих венцах.
Приветствует мой стих молодых царевен
И кроткость юную в их ласковых сердцах.*

*Где тени бледные и горестные муки,
Они тому, кто шёл страдать за нас,
Протягивают царственные руки,
Благословляя их к грядущей жизни час.*

*На ложе белом, в ярком блеске света,
Рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть...
И вздрагивают стены лазарета
От жалости, что им сжимает грудь.*

*Всё ближе тянет их рукой неодолимой
Туда, где скорбь кладёт печать на лбу.
О, помолись, святая Магдалина,
За их судьбу.*

Затем Владимир Владимирович Сладкопевцев по своему обыкновению читал юмористические рассказы.

Второе отделение было отдано хору балалаечников под управлением Василия Васильевича Андреева. Третье отделение состояло из мозаики «Вечер в тереме боярышни XVII века». Постановка показалась мне ужасно скучной, и я с нетерпением ждал её конца.

По окончании концерта отец представил императрице и великим княжнам Есенина, Сладкопевцева, артиста Театра музыкальной драмы, служившего санитаром Н.С. Артамонова и режиссёра Арбатова. Во время беседы императрицы с ними, ей были преподнесены сборник стихов Есенина «Радуница» и сборник рассказов Сладкопевцева. Обе книги были переплетены в чёрно-белую набойку и их привезли в один и тот же день с подаренной мне отцом книгой в такой же чёрно-белой набойке – «1812 год» Авенариуса. Видимо, поэтому я запомнил внешний вид книг, преподнесённых императрице.

ФЁДОРОВСКИЙ ГОРОДОК

1

Концерт понравился Императрице и её дочерям, и полковник Ломан стал добиваться наград для участников, представлявших Императрице. Он обратился к ней с всеподданнейшим прошением:

«Увеселение, бывшее в Лазарете Их Императорских Высочеств 22-го сего Июля, которое Ваше Императорское Величество ошастливили своим посещением, было организовано артистом Николаем Николаевичем Арбатовым, лично потрудившимся в этом деле увеселения. Артисты также приложили все силы к возможно лучшему исполнению программы.

Докладывая об изложенном, имею счастье испрашивать указаний... на награждение организатора увеселения артиста Арбатова и выступавших с чтением стихотворений собственного сочинения артиста Сладкопепцева и санитара поезда Вашего Величества Есенина подарками от Кабинета Его Величества».

В Городке Есенин уже освоился и сошёлся со многими сослуживцами.

«В том же доме, – рассказывал Юрий Ломан, – только с отдельным входом, занимал двухкомнатную квартиру шофёр служебной машины отца старший унтер-офицер Георгий Павлович Костюк, в прошлом командир 3-го взвода 1-й роты Своднопехотного полка. Костюк не расставался с отцом, после окончания курсов стал его шофёром. Он только недавно женился на хорошенькой, очень трудолюбивой портнихе лазарета Вареньке. Венчание было совершено в Фёдоровском соборе, а затем для молодых был устроен многолюдный ужин в трапезной Городка и к этому дню был приурочен переезд Костюка в новую квартиру, обставленную мебелью, сделанной в Городке по эскизам Н. Н. Арбатова.

Через несколько дней после свадьбы Костюк пригласил отца на новоселье. В гости мы отправились целой компанией. Рядом с костистым, довольно высоким художником Георгием Ивановичем Нарбутом, маленький, юркий Владимир Владимирович Сладкопепцев. Оба они в форме военных чиновников. Сладкопепцев, оживлённо жестикулируя, продолжает какой-то разговор, начатый в кабинете отца, а Есенин в непривычной для моего глаза солдатской форме, громко хохочет. Идти нам недалеко, надо лишь пересечь двор Фёдоровского городка.

За столом мы уже застали небольшую компанию солдат. Шофёры Фёдор Прибытков, Сергей Анищенко, банщик Афанасий Воронин видно налили уже по рюмке из чайника, куда в целях конспирации по случаю «сухого закона» была налита водка, и выпили за здоровье молодых, сидевших под образами. <...>

Великолепный чтец-импровизатор Владимир Владимирович Сладкопепцев <хорошо знавший и Клюева, и Есенина, ещё по Петрограду> в лицах изобразил монастырь, где игуменом Клюев, а послушником Есенин. Затем он рассказал сказку о том, как ожила васнецовская птица-Гамаюн, в роскошном хвосте которой золотое перо – Клюев, серебряное – Есенин, и медные пёрышки – мы, сидящие за столом. Импровизации Сладкопепцева прерывались громким хохотом, а Георгий Иванович Нарбут выкрикивал какие-то хохлацкие слова, вызывавшие ещё больший смех.

Тогда, по малолетству я, конечно, не мог оценить мастерства Владимира Владимировича, хотя его рассказы смешили меня не меньше взрослых».

2

Зайдя однажды на Фонтанку к сестре Клюева, Сергей неожиданно встретил там их отца, приехавшего погостить у дочери.

Алексей Тимофеевич, в возрасте 75-ти лет, в прошлом отставной фельдфебель и сиделец казённой винной лавки, привёл Есенина в такое восхищение, что он тут же написал Клюеву:

«Дорогой Коля, жизнь проходит тихо и очень тоскливо. На службе у меня дела не важат. В Петроград приедешь, одна шваль торчит. Только вот вчера был для меня день, очень много доставивший. Приехал твой отец, и то, что я вынес от него, прям-таки передать тебе не могу. Вот натура – разве не богаче всех наших книг и прений? Всё, на чём ты и твоя сестра ставили дымку, он старается ещё ясней подчеркнуть, и для того только, чтоб выдвинуть помимо себя и своих желаний мудрость приемлемого. Есть в нём, конечно, и много от дел мирских с поползновением на выгоду, но это отпадает, это и незаметно ему самому, жизнь его с первых шагов научила, чтоб не упасть, искать видимой опоры. Он знает интуитивно, что когда у старого волка выпадут зубы, бороться ему будет нечем, и он должен помереть с голоду... Нравится мне он.

Сидел тут ещё Ганин, у него, знаешь, и рот перекосялся совсем от завшей его пустой и ненужной правды. Жаль его очень, жаль потому, что делает-то он всё так, как надо, а объясняет себе по-другому.

Пишу мало я за это время, дома был – только растравил себя и всё время ходил из угла в угол да нюхал, чем отдаёт от моих бываний там, падалю или сырой гнильюю.

За последнее время вырезок никаких не получал, говорил мне Пимен, что видел большую статью где-то, а где, не знаю. Клавдия Алексеевна говорила, что ты три получил. Пришли, пожалуйста, мне посмотреть, я их тебе отошлю тут же обратно. Дед-то мне показывал уж и какого размера, да всё, говорит, про тебя сперва, про Николая после чтой-то.

Приезжай, брат, осенью во что бы то ни стало. Отсутствие твоё для меня заметно очень, и очень скучно. Главное то, что одиночество круглое.

Как я вспоминаю пережитое...

Вернуть ли?

Твой Сергей Есенин».

3

Из последнего увольнения Есенин привёз в Городок июньскую книжку «Северных записок», выпущенную к началу августа. Печатание в журнале повести «Яр» уже закончилось. В этом номере он встретил очень корректную и доброжелательную рецензию на свою книгу поэтессы и литературного критика Софьи Парнок:

«Радуница» вышла, слава Богу, без предисловия Брюсова, Сологуба, без посвящения какому-либо из признанных поэтов, – повесив «за плечи к кудрям», «сухой кошель из хворостинок», «заходим богомольцем», без рекомендаций пришёл в поэзию Сергей Есенин. И потому, что гости из народа редки, и потому что есенинский «сухой кошель» подлинен, а не изготовлен в театральной

костюмерной, и, главное, потому, что новоприбывший пришёл «с улыбкой радостного счастья» – и семье поэтов и критике подобает принять его бережно.

Есенин в достаточной мере одарён для того, чтобы выдержать дружескую строгость приёма.

Такие стихи как: «Не с бурным ветром тучи тают...», «Гой ты, Русь, моя родная...», «Шёл Господь пытать людей в любви...», «Край родной, поля как святцы...» обеспечивают поэту гостеприимство в сердцах стихолобов и заставляют прислушиваться к молодому голосу, поющему:

*Всё встречаю, всё приемлю,
Рад и счастлив душу вынуть.
Я пришёл на эту землю,
Чтоб скорей её покинуть.*

Несомненная поэтическая ценность лучших стихов Есенина является для нас залогом того, что – 1) столь заманчивая для неискущённого воображения литературность выражений утратит своё обаяние для молодого поэта, и в следующем сборнике Есенина женщины не будут «свиваться в жгучее пляски кольцо», «брызгать смехом в лицо», поэту не будет «хотеться», «в кулюканы пенистых струй» «с алых губ сорвать поцелуй», сумерки не станут «лизать золото солнца», а «ветерок» если и будет «трепать чёрные кудри», то не обязательно по-бальмонтовски – «змеино»; 2) что природный вкус, справившись с соблазнами культурности и поэтичности, сумеет обратить их себе на пользу, – разбавив засказанными словами, как водой, свой, как вино, крепкий, душистый и зачастую без помощи словаря Даля, непонятный язык; 3) что поэт не слишком проникается городским сознанием интересности деревни, и такие эстетические натюрморты как «В хате» утратят для него заманчивость стихотворной темы; 4) что художественный такт избавит поэта от таких досадных рифм, как «Иисусе – гусе – брус» и т. п.

Сергей Есенин в начале длинного и широкого пути. Через «Радуницу», из глубины России послан нам «напоённый сердцем взгляд», и мы рады, что можем ответить ему с полным дружелюбием».

По пути от Городка к Царскосельскому вокзалу Есенин иногда делал крюк, посещая священное для себя место.

Пройдя мимо парка и Александровского дворца, в котором жила царская семья, он входил в небольшой садик. Перед ним, задумчиво облокотившись на узорную чугунную скамью, сидел... лицеист-Пушкин.

*Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен –
Неколебим, свободен и беспечен
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастье куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.*

Лицеем же Есенина в этом же Царском Селе являлся... Фёдоровский городок...

«Я помню концерт в большой угловой палате солдатского лазарета, – рассказывал Юрий Ломан, – в котором участвовал С. Есенин. На специально устроенных подмостках выступали различные артисты. Дошла очередь и до Есенина. Волосы стали у него короче, но он не был острижен. Одет он был в такую же одежду, в какой я увидел его в первый раз на ферме.

Читал он много и раненые слушали его со вниманием. Но я запомнил только «Русь». Не до Есенина мне было. Я с нетерпением ждал, когда выйдут лапотники-гусяры, Николай Николаевич Голосов поведёт густыми бровями и раздадутся звуки «Калинки», а потом ложкари начнут выделять такие штуки, что прямо дух захватывает. А после гусяров артистка Устругова начнёт сказывать сказки дивные, умные, поучительные, всегда рождающие добрые чувства, всегда утверждающие победу добра над злом.

После концерта отец устроил для артистов ужин. За столом: Ходотов, де-Лазари, Сладкопевцев, Морфесси, Рамш, Устругова и Есенин. Отец сидел в деревянном резном кресле, а я по обыкновению рядом с ним.

По его просьбе Есенин несколько раз прочёл «Русь», затем Сладкопевцев, маленький человечек в защитном френче с университетским значком и погонами военного чиновника на плечах, читал свои рассказы. Мастерски, и каждый рассказ вызывал дружные аплодисменты. Книгу своих рассказов он мне подарил (тогда они мне казались верхом совершенства).

После него сказки сказывала Устругова. За столом она сидела в том же сарафане, в котором выступала. Но вот из-за стола поднялся Морфесси, брюнет с крупными чертами красивого лица и ослепительно белыми зубами. Он эффектно выглядел в русской синей поддёвке и белой шёлковой косоротке, подпоясанной наборным кавказским ремешком. Морфесси был в зените славы. Кажется все граммофоны нашей страны крутили пластинки с романсами в его исполнении. А сам он был желанным участником любого благотворительного концерта.

Он был в ударе и с большим подъёмом под аккомпанемент баяна исполнил популярный в то время романс «Как цветок душистый аромат разносит, так бокал налитый тост задравный просит». Здесь вставляется имя, за которое будут пить. Выпили за отца. Морфесси повторил романс и на этот раз выпили за меня, потом за Ванечку де-Лазари. Тронутый вниманием артист благодарил и стал со всеми обниматься. Разговор за столом становился всё громче и оживленнее, как вдруг отец с бокалом в руке поднялся со своего места и, перекрывая царивший в столовой шум, предложил «выпить за нашего молодого поэта». Выпили за Есенина. <...>

– Серёжа! – сказал отец, обращаясь к Есенину, – прочти «Вещий сон». А вы, господа, внимательно послушайте. Это и к вам относится. Может, и вы скоро станете санитарями.

В то время Дмитрий Николаевич стремился заполучить в Городок Клюева (вспоминала тётка Е. Петерсон), но тот оказался белобилетником и его не удалось призвать на военную службу, сделав санитаром. Это и послужило поводом для стихов Есенина.

Улыбаясь, Есенин прочёл «Вещий сон». В этом стихотворении поэт рассказал, как он во сне увидел Пушкина, который пришёл в Городок и спросил, как пройти к полковнику Ломану.

Из этого стихотворения мне запомнились лишь несколько строк. Вот они:

*Он спросил меня через дворовый гомон:
– А где живёт полковник Ломан?*

Есенин проводил Пушкина в «дом розовый» и услышал, как полковник, обращаясь к Пушкину, сказал:

*Чем сидеть на памятнике даром,
Я предложил бы вам проехать санитаром.
А чем писать ваши шутки и прибаутки,
Вы носили бы урыльники и «утки».*

Стихотворение было довольно длинное и явно в моём духе. (Читал Есенин – весело улыбаясь и не напевно). Ужин закончился. В кабинете отца, окружённый артистами и солдатами, которых отец по своему обыкновению в конце ужина пригласил к столу, Есенин что-то оживлённо говорит и его слова покрываются взрывами смеха. Но, видимо, то, что он говорит, не для моего слуха, стоит мне подойти к Есенину, как он умолкает. Но всё же, кое-что мне удалось услышать. Оказывается, он рассказывает анекдоты...»

Не все критики были очарованы есенинской «Радуницей». Газета «Приазовский край» (Ростов-на Дону) напечатала довольно суровую отповедь Б. Олидорта:

«Нужна большая смелость, чтобы после Александра Блока писать стихи о России. Сергей Есенин смелостью этой обладает, не на радость, впрочем, читателю. Стихи его пестрят сарафанами, девичьими голосами, удалыми парнями и прочей бутафорией. В стихах своих Есенин прибегает к весьма простому приёму, освящённому Уот Уитманом: просто перечисляет всё то, что попадаете ему на глаза.

Но то, что у Уот Уитмана было неподдельным восторгом упоённого дикаря, впервые обретшего мир, у г. Есенина превращается в рифмованный какой-то преискуртант деревенских предметов первой необходимости.

С. Есенину нужно много работать над собой и, главное, приобрести необходимое писателю качество: суровую строгость к своим писаниям.»

Творческие дела Есенина в это время складывались довольно удачно: в газете «Биржевые ведомости» было напечатано стихотворение «Странник»; там же в ближайшие дни обещали опубликовать его рассказ «У Белой воды».

А Миролубову, в «Ежемесячный журнал», он сдал новое стихотворение, полное раздумий о жизни:

*День ушёл, убавилась черта,
Я опять подвинулся к уходу.
Лёгким взмахом белого перста
Тайны лет я разрезаю воду.*

*В голубой струе моей судьбы
Накипи холодной бьётся пена,
И кладёт печать немого плена
Складку новую у сморщенной губы.*

*С каждым днём я становлюсь чужим
И себе, и жизнь кому велела.
Где-то в поле чистом, у межи,
Оторвал я тень свою от тела...*

5

«...Есенин был призван на военную службу и зачислен в один из царскосельских госпиталей санитаром, – вспоминала Зоя Ясинская. – Он редко появлялся у нас и приходил в штатском, а не военном костюме. Одевался он в это трудное время с иголки и преображался в настоящего денди. Научился принимать вид томный и рассеянный. Он был уже вполне уверен в себе, а временами даже самоуверен. Раньше, когда читали и разбирали его стихи, он внимательно прислушивался к критике или, по крайней мере, делал вид, что слушает. Теперь он обиделся, когда ему посоветовали переделать строку «пляшет девок корогод» на более понятное – «хоровод». Есенин быстро отпарировал того критика, который указал ему за год до этого, что в словарях великорусского языка нет слова «вить» в качестве существительного. Теперь Есенин сослался на словарь Владимира Даля, где слово «корогод» в значении «хоровод» действительно можно найти.

– Пишите просто, к этому вы всё равно придёте, милочка. Читайте больше Пушкина, читайте и перечитывайте Пушкина по два часа ежедневно, – советовал Есенину отец.

– Что мне Пушкин! – возразил Есенин. – Разве я не прочёл Пушкина? Я буду больше Пушкина...

Это было на заседании кружка имени К. Случевского.

После я упрекнула Есенина за эту демонстрацию самоуверенности. Никого из литераторов на этот раз не было. Думала, что Есенин обидится на меня, и ждала, что он ответит надменно и насмешливо. Ничуть не бывало: он сказал подчёркнуто мягко:

– Если бы Иероним Иеронимович упрекнул меня наедине... сказал бы с глазу на глаз... А то сидит Фёдор Сологуб с бородавкой на щеке и думает, что я не читал Пушкина. А я Пушкина люблю. Но сейчас России нужны другие стихи, иная поэзия».

Полковник Ломан воспитания был военного и с подчинённых спрашивал, как с самого себя.

«Предки Ломанов были выходцами из Швеции, – рассказывал Юрий Ломан, – Мой прадед – Логин Иванович Ломан – преподаватель Патриотического института. Дед – Николай Логинович Ломан – преподаватель

русского языка и словесности Второго Кадетского корпуса, учитель 2-й Санкт-Петербургской военной гимназии и Елизаветинского училища <...>.

Из-за частых выпивок дед фактически многие годы не жил в семье, бабушка с пятерыми детьми перебивалась переводами с французского, скрывая своё бедственное положение. Вследствие этого мой отец – Дмитрий Николаевич Ломан был зачислен в Павловское военное училище с 6 лет. Во время отпусков находился в семье царского коменданта генерала Петра Степановича Степанова, богатого помещика. По окончании Павловского училища служит в 145 пехотном Новочеркасском полку, а с 1892 г. – в лейб-гвардии Павловском полку, подпоручик. В 1894 г. исполняет обязанности хозяина офицерского собрания лейб-гвардии Павловского полка. В 1901 г. – штаб-капитан, в 1913 г. – полковник».

«Миша, – писал Есенин Мурашёву, – я под арестом на 20 дней. Нужно во что бы то ни стало сорок рублей мне. Сходи в «Северные записки» и попроси их.

К 7 часам на дом: Саперный, 21, кв. Сакера».

Дисциплинарное взыскание было применено к санитару Есенину в связи с несвоевременным возвращением из Петрограда, и заключалось в лишении увольнений на ближайшее время и нахождении в своей комнате.

В последнем журнале «Северных записок» он прочёл большую подборку стихов Цветаевой. В памяти вспыхнула рождественская встреча в квартире Лёни Каннегисера... Когда... «Читал весь Петербург и одна Москва...» – Марина Цветаева. Как горячо прочла она:

Я знаю правду! Все прежние правды – прочь!
Не надо людям с людьми на земле бороться.
Смотрите: вечер, смотрите: уж скоро ночь.
О чём – поэты, любовники, полководцы?

Уж ветер стелется, уже земля в росе,
Уж скоро звёздная в небе застынет вьюга,
И под землёю скоро уснём мы все,
Кто на земле не давали уснуть друг другу.

6

«Друг Мишлэ, выручи, пожалуйста из беды. В Петроград меня ни за что, по-видимому, не пустят, а корзинку мне так хочется к тебе пристроить, прямо-таки слов нет. Поезжай или сходи к Клюевым и скажи, что, так мол и так, его не пускают и не пустят, поэтому она ему нужна (сиречь корзина-то). Ключ я оставил или в замке, или у них на окне.

Свободен будешь, заедь на минутку, уж мы давно, кажись, не виделись, и не мешало бы поговорить, а поговорить есть кой о чём, только уже без спирта, а то я спился было совсем.

Кланяйся твоим портретам, которые я так люблю, граммофону и музыкальным моментам.

Друг твой Мандалина.

А если хочешь, пожалуй, он и Сергей Есенин».

Мурашёв так пояснял есенинские слова: «В кабинете у меня были портреты Блока, Куприна с их автографами и другие. Им-то и «кланяется» Есенин... Я был не очень большой поклонник граммофона, но Есенин говорил, что иногда на концерт не попадёшь, а музыку послушать хочется. Тогда по его предложению мы пошли и купили граммофон и пластинки. Есенин очень любил слушать «Музыкальный момент» Шуберта».

«Корзину с трудом, – вспоминал Мурашёв, – но выручил – почти пустую. Есенин пожалел в ней кое о чём, но скоро забыл».

В это время и «сочинил» Сергей очередное Прощение в Литературный фонд:

«В Комитет Литературного фонда.

Находясь на военной службе и не имея возможности писать и печататься, прошу покорнейше литературный фонд оказать мне вспомоществование взаимообразное, в размере ста пятидесяти рублей, ибо, получив старые казенные сапоги, хожу по мокроте в дырявых, часто принуждён из немоготной пищи голодать и ходить оборванным, а от начальства приказ – ходи чище и имей сменную рубашку в церковь – хоть где хошь бери. А рубашку и шаровары одни без сапог справить рублей 50 стоит да сапоги почти столько.

Сергей Есенин.

Царское Село, Фёдоровский собор, лазарет № 17».

Позже, ознакомившись с этим «прощением», Юрий Ломан напишет: «Я не знаю, что поэт называет «немоготной пищей». Часто «он обедал вместе с отцом, а, насколько я помню, еда была отменная».

По соседству с комнатой, в которой Есенин иногда ночевал, размещалась сапожная мастерская. Почти все солдаты Городка щеголяли в перешитых по ноге казённых сапогах».

Напротив собора на высоком берегу пруда стояла избушка, срубленная в духе северных построек из толстых пятивершковых брёвен, покрытая тесовой крышей. «Избушка сторожа», как и прочие дома, освещалась электричеством, имела водопровод и канализацию.

Жил в ней унтер-офицер пехотного полка Роман Бобков – старший команды солдат – служителей Фёдоровского собора («церковников» – как их называли). Вместе с одеждами служителей собора, здесь хранились костюмы участников театрализованных выступлений, в том числе и концертный наряд Есенина.

Сергей часто заходил сюда, и гостеприимный хозяин угощал его чудесным массандровским кагором, предназначенным для причащающихся в соборе.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

«АРОМАТ ХРАМИНЫ ГОСУДАРЕВОЙ...»

1

Николай Клюев приехал в Петроград в середине сентября и сразу же направился к Есенину в Фёдоровский городок.

Полковник Ломан предложил им написать стихи о Феодоровском Государевом соборе, чтобы издать их отдельной книгой. Осторожный Клюев попросил возможности обдумать этот вопрос, обещая дать ответ в самое ближайшее время.

Вскоре Ломан получил от него письмо-трактат, озаглавленное «Бисер малый из уст мужижких», в котором пояснялось, почему неприемлемо для них это предложение. Начиналось письмо строками стихотворения Есенина «Чую радуницу Божью»:

*«Голубиный дух от Бога,
Словно огненный язык,
Завладел моей дорогой,
Заглушил мой слабый крик.*

...Ведь это то же самое, что в Гурьевских росписях церкви Златоуста, что на Коровниках в Ярославле. Ведь это те же фрески, и в них открывается совершенно новый эстетический мир, необыкновенно поучительный для понимания русской души <...>.

На желание же Ваше издать книгу наших стихов, в которых бы были отражены близкие Вам настроения, запечатлены любимые Вами Феодоровский собор, лик царя и аромат храмины государевой, – я отвечу словами древней рукописи: «Мужие книжны, писцы, золотари заповедь и часть с духовными считали своим великим грехом, что приемлют от царей и архиереев и да посаждаются на седалищах и на вечерях близ святителей с честными людьми». Так смотрела древняя церковь и власть на своих художников. В такой атмосфере складывалось как самое художество, так и отношение к нему.

Дайте нам эту атмосферу, и Вы узрите чудо. Пока же мы дышим воздухом задворок, то, разумеется, задворки и рисуем. Нельзя изображать то, о чём не имеешь никакого представления. Говорить же о чём-либо священном вслепую мы считаем великим грехом, ибо знаем, что ничего из этого, кроме лжи и безобразия, не выйдет».

18 сентября Д. Н. Ломан, продолжая своё дело о подарках, обратился с письмом к заведующему канцелярией Её Величества графу Я. Н. Ростовцеву:

«Милостивый Государь Граф Яков Николаевич. Её Императорскому Величеству Государыне Императрице Александре Феодоровне благоугодно было соизволить на пожалование подарков из Кабинета Его Императорского Величества устроителю увеселения, бывшего 22 июля сего года в г. Царском Селе во вверенном мне Лазарете Их Императорских Высочеств Великих Княжён Марии Николаевны и Анастасии Николаевны и удостоенного по-

сещения Её Величества с Августейшими Дочерьми Их Императорских Величеств, Николаю Николаевичу Арбатову, а также выступавших на означенном увеселении с чтением стихотворений собственного сочинения артисту Владимиру Владимировичу Сладкопевцеву и санитару Царскосельского военно-санитарного поезда № 143 Её Императорского Величества Есенину.

Об изложенном имею честь довести до сведения Вашего Сиятельства, присоединяя к сему, что подарки желательно выдать следующие: г. Арбатову брошь, г. Сладкопевцеву кулон и санитару Есенину золотые часы с изображением Государственного Герба».

21 сентября Есенину исполнился 21 год, а к своим именинам <25 сентября – день памяти преподобного Сергия Радонежского> он, благодаря письму Ясинского, получил наконец и деньги за стихи, давно напечатанные в сборнике «Страда». Запиской в Петроград он известил своего друга Михаила Мурашёва:

«Дорогой мой, 25 я именинник. Жду тебя во что бы то ни стало. Будет выпивка. Мне за всё это время очень нездоровилось. Канáло брюхо паршивое. Поэтому так и не являлся к тебе.

Твой Сергей».

2

Встретившись в Петрограде, Есенин, Карпов и Клюев читали свои стихи в квартире Мурашёва.

Затем Клюев и Есенин отправились к Ремизовым, только что переехавшим в новую квартиру на 14-й линии Васильевского острова. От Ремизовых – к писателю Леониду Андрееву, заведовавшему тогда отделами беллетристики, критики и театра в газете «Русская воля». Не застав его дома, оставили записку:

«Дорогой Леонид Николаевич, навещающая А.М. Ремизова, мы с Клюевым хотели очень повидать Вас, но не пришлось, о чём глубоко жалеем. В квартире Вашей я оставил Вам несколько стихотворений и книгу. Будьте добродетельны, сообщите мне, подошло что, или нет, из них, так как я нахожусь на военной службе и справиться лично не имею возможности.

Уважающий и почитающий Вас Сергей Есенин».

На своей «Радунице» Сергей написал: «Великому писателю Земли Русской Леониду Николаевичу Андрееву От полей рязанских, от хлебных упевов старух и молодок. На память сердечную о сохе и понёве

Сергей Есенин».

26 сентября 1916 г. комитет Литературного фонда рассмотрел прошение Есенина: «Слушали <...> Есенин Сергей – находится на военной службе (видимо в лазарете в Царском Селе). Нет одежды и сапог, казённое дали всё очень старое, «а от начальства приказ – ходи чище». Просит 150 р.

Определили просить С.А. Венгерова выяснить вопрос о гонораре, который причитается Есенину от журнала «Северные Записки» за повесть (со слов Р. В. Иванова)».

На следующем заседании 10 октября 1916 г. было заслушано и принято к сведению соответствующее сообщение С.А. Венгерова: «Относительно Есенина: редакция «Сев. Записок» уплатила г-ну Есенину почти весь гонорар, и что, по её мнению, он теперь не нуждается».

Эти грустные стихи появились в дни «царскосельского заточения»:

*Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.
Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.*

*С алым соком ягоды на коже,
Нежная, красивая, была
На закат ты розовый похожа
И, как снег, лучиста и светла...*

3

«...вот и до нашего отца дошла очередь идти в солдаты, – вспоминала Екатерина Есенина. – Он приехал из Москвы домой на призыв. Простившись с нами, отец уехал в Рязань на медицинскую комиссию. В Рязани отец наш случайно оказался вместе с отцом Гриши Панфилова <(1893-1914), ближайший друг отрочества и ранней юности Есенина>, который тоже был призван в армию. Отец Гриши, услышав знакомую фамилию, спросил его, не родня ли он Серёжи Есенина. Встреча нашего отца с отцом Гриши Панфилова совпала с решающим моментом в жизни Сергея: ему было предложено написать стихи в честь Николая II. Это было в конце 1916 г. Канун революции. Сергей не мог писать стихи в честь царя и мучительно искал предлог для отказа. И в этот момент он получил от отца письмо, в котором тот сообщал о встрече с отцом Гриши Панфилова. С Гришей у Сергея были связаны все его свободолюбивые, революционные мечты, и это напоминание о Грише явилось «перстом указующим» в принятом Сергеем решении. И вот в Константиново пришло письмо:

«Дорогая мамаша, свяжи, пожалуйста, мне чулки шерстяные и обшей по пяткам. Здесь в городе не достать таких. Пришли мне закрытое письмо и пропиши, что с Шуркой и как учится Катька. Отец мне недавно прислал письмо, в котором пишет, что он лежит с отцом Гриши Панфилова. Для меня это какой-то перст указующий заколдованного круга. Пока жизнь моя течёт по-старому, только всё простужаюсь часто и кашляю. По примеру твоему натираюсь камфорой и кутаюсь.

Сергей Есенин».

Открытка эта была последней из Царского Села. На следующий день мать пошла в Кузьминское послать посылку...».

В этот же день послал он и открытку в село Дединово Рязанской губернии учительнице Анне Алексеевне Сардановской:

«Очень грустно. Никогда я тебя не хотел обижать, а ты выдумала. Бог с тобой, что не пишешь. Мне по привычке уже переносить всё.

С. Е.»

4

Есенин, по рассказам Зои Ясинской, не был далёк от понимания сущности общественных сдвигов в стране:

«Есенин был во власти больших ожиданий политических перемен, которые в корне должны изменить жизнь России. Вспоминается мне один знаменательный разговор, происходивший осенью 1916 года в присутствии молодого писателя Пимена Карпова, выпустившего роман из жизни сектантов-хлыстов «Пламень».

Есенин был у нас. Он был в плохом настроении. Торопился попасть к назначенному сроку в район Литейного проспекта, хотя и говорил, что очень не хочется туда ехать, но необходимо. Я вызвалась проводить Есенина и П. Карпова через огороды к новой трамвайной линии на Лесной проспект, что давало значительный выигрыш во времени.

Пошли краткой дорогой. Отодвинув доски, пролезли в расщелину забора. Наши собаки проворно выпрыгнули и увязались за нами. Они, конечно, чуяли, что предстоит великолепная прогулка, и не пожелали упустить случая. Шутя я сказала, что наши собаки «литературные» и не прочь познакомиться с автором «Песни о собаке».

Я сказала, что «Песня о собаке» мне очень нравится, я вижу в ней глубокий социальный смысл.

Этот ребяческий разговор и простор питерских окраин вдруг резко изменили настроение Есенина. Он оживился. Стали болтать на разные темы, и между прочим зашёл разговор о долголетьи. Я сказала, что боюсь смерти, хочу своими глазами увидеть жизнь после революции. У нас дома в тот вечер много говорилось о похождениях Григория Распутина.

Есенин так и загорелся:

– Только короткая жизнь может быть яркой. Жить – значит отдать всего себя революции, поэзии. Отдать всего себя, без остатка. Жить – значит сгореть.

Он привёл в пример Лермонтова и сказал:

– Жить надо не дольше двадцати пяти лет!»

5

Полковник Ломан, прочтя письмо Клюева «Бисер малый из уст мужицких», ещё более утвердился в своём желании получить от поэтов стихи о Феодоровском соборе. Он даже нашёл Клюеву и Есенину соавтора – поэта Алексея Ганина, которого знал ещё по его службе в Николаевском госпитале, и художника Павла Наумова, служившего санитаром в лазарете.

На всех четверых Ломан составил отношение начальнику дворцовой полиции для пропуска их на богослужения в собор 22 и 23 октября.

В субботу 22 октября, в день празднования Казанской иконы Божией

Матери, все они были на утренней службе («Литургия и молебен»), а потом и на вечерней (всенощное бдение). Так же – и на другой день.

Феодоровский собор впечатлял каждого. В книге о нём, изданной стараниями всё того же Ломана, читаем:

«Обширный фундамент, заложенный ещё академиком Померанцевым, дал возможность при сокращении размеров храма по проекту архитектора Покровского устроить целый ряд второстепенных низких помещений для папертей, часовень, входов, ризницы и пр.

Входы, устроенные в этих низких пристройках, с высокими крыльцами расположены так, что Высочайшие Особы, духовенство, офицеры и частные лица могут проходить отдельно прямо в те места в храме, какие для них предназначены.

Вход для Их Императорских Величеств расположен в юго-восточном углу храма и выделен в виде крытого крыльца с шатровым верхом, увенчанным золотым орлом. <...>

Внешность храма поражает своей простотой. Увенчанный одной густо вызолоченной главой, он не имеет почти никаких наружных украшений кроме пояса из колонок и арочек. Гладкая оштукатуренная поверхность белых стен храма оживляется лишь большими мозаичными образами над входами, а также красивыми решётками в окнах и дверями, окованными медью и железом.

На северной стороне над входом для чинов конвоя и полка ярким красным пятном выделяется мозаичное изображение Архангела Михаила, Архистратига всех небесных воинств бесплотных, Небесного Покровителя всех земных воинов. <...>

Над главным, западным, входом икона Божией Матери Феодоровской, окружённой Ангелами и ликами Святых. Над Царским входом, ведущим в нижнюю Серафимовскую Церковь, изображён Преподобный Серафим Саровский. Над офицерским входом – Св. Георгий Победоносец на коне. Над западным входом в храм возвышается небольшая звонница с полным набором колоколов, увенчанная красивым шатриком. Под колокольню дверь ведёт в нижнюю часть храма; такие же небольшие двери устроены в сев.-зап. и юго-вост. углах собора. <...>

Внутреннее убранство собора, соответственно его наружному виду, воспроизводит благолепие древних храмов. Однако верхний и нижний храмы выражают две различные формы восстановления церковной старины. В верхнем иконы и утварь новые, изготовленные по древним подлинникам. Пещерный же храм заключает в себе собрание подлинных священных предметов старины».

В «Ежемесячном журнале» Ключев был представлен стихотворением «Смерть деда»:

Под низкой тучей вороний грай,
За тучей брезжит Господний рай.
Вороньи пени на горний свет
Под образами прослышал дед.

Он в белой скруте, суров пробор,
Во взоре просинь и рябь озёр...
Не каркай, ворон, тебе на снесь
Речное юдо притащит сеть!..

А рядом с этой клюевской кладкой – многодумной и тяжеловесной – лёгкие есенинские строки:

*В том краю, где жёлтая крапива
И сухой плетень,
Приютились к вербам сиротливо
Избы деревень.*

*Там в полях, за синей гущей лога,
В зелени озер,
Пролегла песчаная дорога
До сибирских гор.*

*Затерялась Русь в Мордве и Чуди,
Нипочем ей страх.
И идут по той дороге люди,
Люди в кандалах...*

.....
*Я одну мечту, скрывая, нежу,
Что я сердцем чист.
Но и я кого-нибудь зарезу
Под осенний свист.*

*И меня по ветряному свею,
По тому ль песку,
Поведут с верёвкой на шее
Полюбить тоску.*

*И когда с улыбкой мимоходом
Распрямлю я грудь,
Языком залижет непогода
Прожитой мой путь.*

Отвечая на просьбу Ломана, Императрица Александра Феодоровна «...ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ соизволяет на пожалование подарков из Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА с изображением Государственного Герба лицам, принявшим участие в спектакле, устроенном 22-го Июля сего года» в лазарете № 17, «...а именно, г-ну Арбатову – золотой броши, г-ну Сладкопевцеву – золотого кулона и санитару Есенину – золотых часов с цепочкою».

Эти часы Петроградский торговый дом «П. Буре» представил в камеральную часть Кабинета Его Императорского Величества 28 октября.

ИМПЕРАТОРСКИЕ ЧАСЫ

1

«Дорогой папаша, письмо твоё получил, денег привезу сам, послезавтра выезжаю. Хорошо бы выслали лошадь с тулупом и валенками восьмого числа к ближайшему вечернему поезду.

Поклон матери и сёстрам. Сергей».

Эту открытку, по адресу – «...Село Константиново. Татьяне Феодоровне Ясениной» Сергей отправил 2 ноября, ещё не получив на руки увольнительного билета, а лишь договорившись о нём с полковником Ломаном.

«Увольнительный билет

Предъявитель сего санитар Полевого Царскосельского военно-санитарного поезда № 143 ЕЁ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ФЕОДОРОВНЫ Сергей Есенин уволен мною в кратковременный отпуск в г. Москву сроком на шестнадцать дней, т. е. по « 18 » « ноября » 1916 года.

3 ноября 1916 года. Г. Царское Село

Уполномоченный Её Величества
по Поезду Полковник Ломан».

Чтобы добраться до Москвы, Есенин получил от Ломана ещё и «экстренный отзыв», адресованный «начальнику ст. Петроград Николаевской железной дороги».

Из воспоминаний сестры Екатерины Есениной:

«Полковник Ломан, под начальством которого находился Сергей, позволял ему многое, что не полагалось рядовому солдату. Поездки в деревню, домой, тоже были поблажкой полковника Ломана. Отец и мать с тревогой смотрели на Сергея: «Уж больно высоко взлетел!» Да и Сергей не очень радовался своему положению. Поэтому его приезды домой, несмотря на внешнее благополучие, оставили что-то тревожное».

*О товарищах весёлых,
О полях посеребрённых
Загрустила, словно голубь,
Радость лет уединённых.*

*Ловит память тонким клювом
Первый снег и первопуток.
В санках озера над лугом
Запоздалый окрик уток...*

К месту службы в Фёдоровский городок Есенин возвратился без опоздания.

Почти сразу по возвращении в Царское Село Есенин писал Иерониму Ясинскому:

«Дорогой Иероним Иеронимович!

Очень хотелось бы поговорить с Вами, но совсем закабалили солдатскими узамы, так что и вырваться не могу.

Сейчас готовлю книгу <речь идёт о «Голубёни» (первоначальное название – «Голубая трава») > вечерами для печатания, но прежде хотелось бы провести её по журналам. Будьте добры, Иероним Иеронимович, не откажите сообщить о судьбе тех моих стихов, которые я Вам дал, когда был с Верхоустинским. Мне сейчас очень важно заработать лишнюю десятку для семьи, которая по болезни отца чуть не голодает.

Любящий и почитающий Вас Сергей Есенин».

В эти дни судьба свела Есенина с литературным критиком и историком русской общественной мысли – Ивановым-Разумником, проживающим в Царском Селе. Друг друга они уже знали, но близкого знакомства ещё не было.

Биография Иванова-Разумника (его настоящие фамилия и имя Иванов Разумник Васильевич) весьма интересна.

Он родился в декабре 1878 года в Тифлисе в дворянской семье, по образу жизни принадлежавшей к разночинной интеллигенции: отец – железнодорожный служащий (кассир), мать – преподавательница музыки. Семья с девятилетним сыном перебралась в Петербург, где Разумник Иванов закончил Первую гимназию и поступил в Санкт-Петербургский Университет на физико-математический факультет, параллельно слушая лекции историко-филологического факультета. Разумник активно участвовал в бурной общественной жизни студенчества. В автобиографии он пишет, что 4 марта 1901 года «на демонстрации избит на площади Казанского собора казацкими нагайками, арестован, посажен в тюрьму, а потом выслан из Петербурга. Вскоре, правда, смог вернуться и ненадолго продолжил занятия. Но вот ровно через год – 1 марта 1902 года, после ночного обыска, мне – старосте четвёртого курса математического факультета, за участие в организации студенческих беспорядков, предложено выехать в трёхдневный срок из Петербурга, выбрать себе место жительства. Этим закончились мои студенческие годы...»

Высланный на два года в Симферополь, Разумник весь отдаётся литературе, пробует писать художественные произведения, начинает работу над капитальной «Историей русской общественной мысли». В Симферополе он прожил всего год и, получив разрешение, уехал в имение родителей своей невесты в одну из деревень Владимирской губернии. В 1903 году Разумник Иванов обвенчался с Варварой Николаевной Оттенберг, а в феврале 1904 года в их семье родился сын Лев.

Писалось Иванову-Разумнику в деревне хорошо: «Если бы не ссылка 1902 года, я, вероятно, не имел бы времени для такой обширной работы...». В деревне он вёл среди крестьян пропаганду идей народничества. Этим и объясняются темы его первых публикаций: статья – «Н. К. Михайловский» в журнале «Русская мысль» за 1904 г.; статья – «А. И. Герцен и Н. К. Михайловский» в журнале «Вопросы жизни» за 1905 г.

В 1906 году семья Ивановых переехала в Петербург, а с 1907 года поселилась в Царском Селе, снимая квартиру на Колпинской улице. Здесь в январе 1908 года родилась их дочь Ирина.

В начале 1907 года вышел двухтомный труд Иванова-Разумника «История русской общественной мысли. Индивидуализм и мещанство в русской литературе и жизни XIX в.». Книга вызвала большой интерес и выдержала шесть изданий. О ней, в частности, писали А. М. Горький, В. Г. Плеханов, А. В. Луначарский.

В 1908 году выходит ещё одна книга – «О смысле жизни. Фёдор Сологуб, Леонид Андреев, Лев Шестов», принеся автору ещё большую известность. Кроме множества критических статей, книги до 1915 года выходили почти ежегодно: «Литература и общественность» (1909 г., два издания), «Творчество и критика» (1910 г., два издания), «Лев Толстой» (1911 г.), Комментарии к собранию сочинений Белинского (три тома, 1912 г., два издания), «Пушкин и Белинский» (1914 г.).

В 1912–1914 годах Иванов-Разумник входил в состав редколлегии журнала «Заветы», где сотрудничал с Балтрушайтисом, Миролубовым и Пришвиным. Являлся одним из организаторов петербургского издательства «Сирин».

В 1916 году, перед началом многолетнего общения с Есениным, Иванов-Разумник готовил к выпуску первый альманах «Скифы», к участию в котором он и пригласил Сергея. Идею «скифства» Иванов-Разумник воспринял от Герцена, писавшего: «Я, как настоящий скиф, с радостью вижу, как разваливается старый мир, и думаю, что наше призвание возвещать ему его близкую кончину».

Дом Иванова-Разумника – двухэтажный, облицованный светлым кирпичом и украшенный лепкой, увенчан двумя башенками. Есенин иногда пробегал мимо него по тихой Колпинской улице к вокзалу. Улица проходила по самому центру Царского Села и Соборная площадь, посреди которой величественно возвышался Екатерининский собор, напоминающий храм Христа Спасителя в Москве, была в двух шагах от квартиры Иванова-Разумника.

О появлениях в этой квартире Есенина Ирина Разумниковна рассказывала так: «Отец снимал трёхкомнатную квартиру на первом этаже. У нас была большая кухня, детская комната площадью 16 кв. метров, кабинет отца 40 кв. метров и общая комната площадью до 50 кв. метров. Кабинет отца был в два окна. Вдоль одной из стен стояли рояль и диван, другие стены закрывали шесть огромных застеклённых книжных шкафов. На моей памяти одно из посещений отца Есениным в 1916 году.

Сергей Александрович стоял у рояля, пел. Может быть, не пел, а певуче читал свои стихи, но у меня сохранилось впечатление именно о пении. Хорошо помню его ласковые руки, когда он держал меня на коленях и заразительно смеялся, когда рассказывал что-то смешное...».

Среди стихотворений Есенина, переданных им Иванову-Разумнику для альманаха «Скифы», были «О товарищах весёлых...» и «О красном вечере задумалась дорога...».

Завершались дела и с подарками Императрицы. Полковник Ломан получил их из «Кабинета Его Величества» в начале ноября, а 20 ноября направил

подарки с соответствующими удостоверениями и сопроводительными письмами Арбатову и Сладкопевцеву.

Свои «золотые часы с цепочкою, с изображением Государственного Герба», Есенин передал на сохранение полковнику Ломану. После Февральской революции они были обнаружены при ревизии в сейфе полковника (сам Ломан был уже снят со всех постов и арестован).

О часах вспоминала Екатерина Есенина:

«Золотые часы он <Сергей> отдал полковнику Ломану на сохранение, и всё остальное пошло по ветру. Мать и отец очень горевали о золотых часах.

– Теперь не видать тебе больше часов царских. Разве золото доверяют кому-нибудь. Эх, голова!».

2

Через несколько дней после возвращения в Городок Есенин получил неожиданный подарок от сослуживца – художника Павла Наумова. На портрете Сергея была надпись:

«П. Наумов. На память любимому Серёженьке. 916 г. 22 ноябрь. Ц. С.».

Сергея в эти дни постоянно терзала новость, которую он узнал дома. Оказалось, что в Рязанской губернии, в деревне Петровичи, в семье Екатерины Петровны Разгуляевой живёт его сводный брат Александр.

Татьяна Фёдоровна родила внебрачного сына в Рязани в марте 1902 года и, не добившись у мужа развода, отдала его на воспитание в чужую семью. Это было тайной только для Сергея и понятно, почему он был взволнован даже сейчас, в письме к отцу:

«Дорогой папаша. Я тебе ничего дурного не сказал, кроме жалобы на мать. Если тебе обидное есть, то прости меня. Сейчас меня задерживает книга <готовящаяся к изданию «Голубень»>. А пока её не напечатают, мне ехать нельзя.

Если после 15 числа издатель не выпустит, то я пошлю денег. У меня против тебя ни одного слова нет, кроме благодарности... А мать... Клянусь тебе, и Катька, и Шурка с Лёнкой <речь идёт о сёстрах и брате поэта, вскоре умершем во младенчестве> вряд ли помянут её добрым словом.

Любящий тебя сын Сергей».

Не получив денежной помощи от Литературного фонда, Есенин отправил письмо своему издателю М. В. Аверьянову:

«Дорогой Михаил Васильевич! Положение моё скверное. Хожу отрёпанный, голодный, как волк, а кругом всё подтягивают».

Полковник Ломан не раз обращал внимание на то, что его подчинённые не всегда одеты по форме. Прежде всего это касалось санитаров поезда, прикомандированных к лазарету № 17. Один из приказов полковника гласил: «Состоящие при лазарете санитары должны строго соблюдать Высочайше утверждённые воинские уставы. Должны быть одеты строго по форме <...>. Вся состоящая при лазарете команда должна иметь воинский вид и всем своим поведением строго охранять достоинство Организации, к которой они <то есть члены команды> имеют честь принадлежать».

«...Сапоги каши просят, – продолжал письмо Есенин, – требуют, чтоб был как зеркало, но совсем почти невозможно. Будьте, Михаил Васильевич, столь добры, выручите из беды, пришлите рублей 35. Впредь буду обязан Вам «Голубенью», о достоинстве коей можете справиться у Разумника Иванова и Клюева. Вы-то ведь не слышали моих стихов с апреля.

Думаю, что я не обижу моим обращением Вас, но я всегда почему-то именно надеялся на эту сторону, потом даже был разговор когда-то при выпуске «Радуницы», что, когда книга разойдётся, 50 р. добавочных. Положим, книга не разошлась, но я всё-таки к Вам обращаюсь и надеюсь.

Сергей Есенин.

3

В это время Клюева в Петрограде не было. Ещё с ноября вместе с Н. Плевицкой был он на гастролях, охвативших 20 городов России. Их первый концерт состоялся в Двинске, а затем пошли: Баку, Тифлис, Владикавказ, Армавир, Ставрополь, Екатеринодар, Новочеркасск. На обратном пути их концертов ожидали в Москве, Нижнем Новгороде, Владимире и Твери.

Клюев уже успел получить «Запевку», изданную в Ташкенте, от самого Ширяевца, о чём известил его открыткой, посланной из Армавира: «Голубь мой. Я на Кавказе. Спасибо за Запевку. Может, доеду до тебя. Клюев».

Тепло и душевно надпишет он Ширяевцу (уже в январе 1917 г.) свою книгу «Мирские думы»:

«Русскому песельнику Александру Ширяевцу – моему братику сахарноустому, с благословением и молитвой о даровании ему разума русского слова не как забавы, а как подвига и жизни бесконечной. Николай Клюев».

В «Запевке» были посвящения Ширяевца Николаю Клюеву, Ивану Бунину, Сергею Городецкому, но одно из лучших стихотворений – «Полям» посвятил он близкому себе человеку – «В. С. Миролюбову»:

Я из города – из плена
К вам приду
И на травы, и на сено
Упаду...
Засмотрюсь, как васильковый
Лён цветёт...
Пусть куёт мне жизнь оковы –
Не скуёт!
Словно в золоте червонном,
Ходит рожь,
Шелестит, шумит с поклоном:
«Узнаёшь?».
Звонкой песней вместе с жницей
Я зальюсь.
Над судьбою-озорницей
Посмеюсь!

Манит к воле голос в поле
Ветровой!
Опьянею я от воли
Полевой!

«Есенин был чистойшей воды рядовым, – писал Юрий Ломан. – Он не был добровольцем и Георгиевским кавалером, каковым в первую мировую войну был Всеволод Вишневский. Не будучи добровольцем и не имея необходимого образовательного ценза, Есенин не мог быть вольноопределяющимся – носить жгуты на погонах. Отсюда двойственность его положения – начальство благоволит, а первый встречный прапорщик из вчерашних солдат может запросто вставить «фитиль». Разумеется, последствий этот «фитиль» не будет иметь, полковник ему ходу не даст, но сама возможность получить взыскание неприятна».

«...в декабре 1916 года убили «старца» Григория Распутина, – рассказывал Юрий Ломан. – Услышав об убийстве, я вспомнил, как мы ходили с ним на танцы к конвойцам. По дороге в солдатской лавочке купили полфунта карамели «дюшес». А потом, посасывая конфеты, смотрели, как казаки танцуют русскую. Григорию Ефимовичу танцы не понравились. Конвойцы всё время хлопали в ладоши и в такт музыке выкрикивали: «харц, харц». «Это не русская, – сказал «старец», – так лезгинку танцуют».

На обратном пути я спросил у него: «Что такое мужицкая правда?». «А чего ты меня спрашиваешь?» – в свою очередь спросил он. «Папа говорит, что вы мужицкую правду царям говорите». «Твой папа известный мечтатель. Никакой такой мужицкой правды нет, есть одна правда и её никто не любит слушать». <...>

В другой раз он также невзначай приехал к нам на ферму, и я был один дома. Сидел в столовой в компании кухарки, горничной, няни моего маленького брата и нескольких солдат. Мы заводили граммофон, слушали одну пластинку за другой. «А ну-ка, заводи комаринскую!» – попросил Распутин, входя в столовую. Послышались звуки плясовой, «старец» сделал несколько движений ногами, похлопал руками по голенищам сапог, а затем, махнув рукой, стал прощаться. «К Аннушке <Вырубовой> в госпиталь поеду. Буду там спать на стульях. Маму <Императрицу> там увижу!» – скороговоркой забормотал он. Я всегда с удивлением наблюдал, как он переходит с обыкновенной речи на эту скороговорку. Он пользовался этой скороговоркой, когда напускал на себя святость.

Моя сестра Надя <старше Юрия лет на 9–10> непревзойдённый мастер дразнить людей, как только встречала Григория Ефимовича, начинала донимать его вопросами: как без труда сделаться святым? Действительно ли он святой? И что святые больше любят – мадеру или рябиновку? В ответ Григорий Ефимович начинал бормотать скороговоркой: «Грех тебе, грех, вот язык, как бритва». <...>

У Дмитрия Николаевича <Ломана> с Распутиным были, по-видимому,

непростые отношения. Дмитрий Николаевич не имел поместий и каких-либо доходов, кроме службы. Он надеялся получить генеральское звание, видя, как его товарищи по училищу далеко продвинулись по службе. Но помехой вставал Распутин.

Летом 1916 года в Петрограде отец разыскал Распутина, когда тот был в гостях у князя Андронникова на Троицкой улице в доме графини Толстой, где Андронников снимал квартиру. Приехал домой отец очень возбуждённый и сказал матери, что он высказал Распутину всё, что он о нём думал. А через несколько дней сказал: «Распутин сказал государю, что Ломана гордыня обуяла. При жизни его надо в чёрном теле держать, а после смерти памятник поставить».

Помню, какую бешеную энергию развил отец, чтобы не допустить отпевания Распутина в Феодоровском соборе. Его тело отпевали в церкви Чесменской богадельни в Петрограде. Моему отцу поручили организовать похороны. Кроме царской семьи и священнослужителей на похоронах были только отец и полковник Мальцев. Это – артиллерист, командовал зенитными батареями, расставленными вокруг Александровского дворца. Могила Распутина оказалась рядом с одной из его батарей, в Серафимовском убежище, ещё недостроенном, между Александровским парком и посёлком Александровка».

Встретив в Петрограде Лёню Каннегисера, Сергей был немало удивлён, когда тот прочитал ему своё стихотворение об убийстве Распутина:

...подо льдом, подо льдом,
Мёртвым его утопили в проруби,
И мёрзлая вода отмывает с трудом
Запачканную кровью бороду.
Под глазами глубокие синие круги,
Плещется во рту вода сердитая.
И тупо блестят лакированные сапоги
На окоченелых ногах убитого.
Он бьётся, скрючившись, лбом об лёд,
Как будто в реке мёртвому холодно.
Как будто он на помощь царицу зовёт
Или обещает за спасение золото.
Власть и золото, давшие ему,
Как Божий подарок! Или всё роздано,
И никто не пустит в ледяную тюрьму
Хоть струйку сибирского родного воздуха?

4

Перед Рождеством полковник Ломан решил устроить концерт в лазарете и ещё 15 декабря разослал приглашения артистам. Н.В. Плевицкая (вместе с Клюевым) совершала концертное турне по России и телеграмма Ломана застала их в Твери. Оттуда она и телеграфировала в Царское Село: «Согласна буду Петрограде 17 XII».

Но убийство Распутина, всколыхнувшее не только императорский двор, но и всю Россию, вынудило Ломана отложить концерт. В письменных сообщениях приглашённым артистам об отсрочке концерта он ссылался на необходимость карантина, ввиду инфекционного заболевания одного из раненых.

Вернувшись в Петроград, Клюев поспешил отправить письмо Александру Ширяевцу:

«Сокол мой, красная Записка моя, прости меня, Бога ради, за молчание! Но я всё сам собираюсь приехать к тебе. Я был на Кавказе и положительно ошалел от Востока. По-моему, это красота неизречённая. Напиши мне, можно ли у тебя пожить хотя бы месяц? Я не стесню ни в чём, и деньги у меня на прожитие найдутся. Теперь я в Петрограде живу лишь для Серёженьки Есенина – он единственное моё утешение, а так всё сволочь кругом. Читал ли ты «Радуницу» Есенина? Это чистейшая из книг, и сам Серёженька воистину поэт – брат гениям и бессмертным. Я уже давно сложил к его ногам все свои дары и душу с телом своим. Как сладостно быть рабом прекраснейшего! Серёженька пишет про тебя статью. Я бы написал, но не умею. Вообще я с появлением Серёженьки всё меньше и меньше возвращаюсь к стихам, потому что всё, что бы ни писалось, жалко и уродливо перед его сияющей поэзией. Через год-два от меня не останется и воспоминания. Что ты думаешь про свою Записку? Придаёшь ей значение или издал просто так, не сознавая значения? Издана Записка безобразно, и очень мило книгоиздательство «Коробейники». Если бы не стихи про экипажи и про безумные химеры, то можно бы было верить многому в тебе. Так издаваться нельзя: это страшно вредит стихам. Мы в Петрограде читали и пели твои стихи братски – четыре поэта-крестьянина: Серёженька, Пимен Карпов, Алёша Ганин и я. Нам всем понемножку нравится в тебе воля и Волга – что-то лихое и прекрасное в тебе. Быть может, Серёженька удосужится сам написать тебе, это было бы такое счастье, а слова его о тебе я бессилён передать на бумаге.

Милый мой Шура, я очень люблю тебя и никогда не забуду. Клюев».

Сборник «Записка» Александр Ширяевец посылал и в Москву, поэту и критику Владиславу Ходасевичу, с просьбой высказать о нём своё мнение. Ходасевич откликнулся большим подробным письмом, в котором искренне выразил Ширяевцу свой взгляд на «писателей из народа»:

«Уважаемый Александр Васильевич, благодарю Вас за книгу...

Мне, конечно, было очень приятно узнать, что Вы интересуетесь моим мнением. Вот оно в немногих словах...

Мне не совсем по душе весь основной лад Ваших стихов, – как и стихов Клычкова, Есенина, Клюева: стихи «писателей из народа». Подлинные народные песни замечательны своей непосредственностью. Они обаятельны в устах *самого народа*, в точных записях. Но, подвергнутые литературной, книжной обработке, как у Вас, у Клюева и т.д., – утрачивают они главное своё достоинство – примитивизм. Не обижайтесь – но ведь *всё-таки* это уже «стилизация»...

Пишите то, в чём Вы действительно сейчас живёте, – а не воспоминания какие-то. Да по правде сказать – и народа-то такого, каков он у Вас в стихах, скоро не будет. Хорошо это или плохо – вопрос совсем другой, особый – но *быт* Ваших стихов уже почти кончен, возврата к нему не будет. Прощайтесь-ка с ним – да и в дорогу! А всякие «гой еси» пусть сюсюкает барчук Городецкий...

Не гневайтесь на меня за то, что говорю Вам по совести. Думаю, что я прав. Может быть, это и не так...

Всё это я сказал потому, что мне кажется – Вы можете писать стихи хорошие и на новом месте, а не толочься на старом, с которого все уже уходят. Хоровод – хорошее дело, только бойтесь, как бы не пришлось Вам водить его не с «красными девками», а сам-друг с Клюевым, пока Городецкий барин снимает с Вас фотографии для помещения в журнале «Лукоморье» с подписью: «Русские пейзажи на лоне природы». Всего Вам хорошего.

Владислав Ходасевич».

5

«Настали рождественские праздники 1916 года, – вспоминал Юрий Ломан. – У Фёдоровского собора была поставлена огромная ёлка, густо украшенная, залитая светом электрических свечей.

В трапезной состоялся торжественный ужин. Сахарозаводчик Карл Иосифович Ярошинский, дававший средства на содержание лазарета, сделал хорошие подарки раненым и ценные подарки обслуживающему персоналу. Я помню, что сёстры милосердия получили в подарок золотые наручные часы на золотом браслете. Карманные золотые часы с цепочками получили старшие унтер-офицеры Костюк и Прибытков и ефрейтор Фролов. <...>

Санитар Подгорный получил в подарок от С.П. Елисеева золотые часы с двумя циферблатами: одним для петроградского времени, другим – для московского. Как видите, солдаты тоже награждались золотыми часами. Правда, бывало это редко, да и только в Гвардии или в Царском селе. <...>

Для раненых солдат ёлка была устроена в вестибюле солдатского лазарета, рядом с рабочим столом моей матери. На выдержанной в древнем русском стиле лестнице висели привлекавшие моё внимание, да и не только моё, но и раненых солдат, особенно деревенских, часы с кукушкой. Поначалу я готов был просиживать часами, когда выскочит из домика птичка и прокричит своё «ку-ку». Вот под этими часами великие княжны Мария Николаевна и Анастасия Николаевна раздавали раненым солдатам и санитарам подарки.

Концерт в лазарете, задуманный полковником Ломаном, всё же состоялся 28 декабря. Как писал Юрий Ломан: «На этот раз в нём участвовали: балерина Агриппина Яковлевна Ваганова, исполнительница русских народных песен Надежда Васильевна Плевацкая и исполнительница цыганских романсов Наталья Ивановна Тамара. Как всегда, Есенин напевно читал «Русь», а гусяры, под управлением Г.Н. Голосова, исполняли плясовые наигрыши».

Тёплой и дружественной была и встреча Есенина с Николаем Клюевым, приехавшим к нему в день концерта в Фёдоровский городок. Об этом гово-

рит задушевная надпись Есенина на своей фотографии, подаренной Клюеву: *«Дорогому Коле на память мноую за дни наши светлые. Сергей Есенин, лето 1916, 28 декабрь».*

Канун 1917 года принёс Сергею рождественские подарки даже в Петрограде. На другой день после концерта, будучи в увольнении, он появился в редакции «Ежемесячного журнала». Здесь он не только получил гонорары за всё напечатанное, но и узнал, что в декабрьском номере увидит свет его сказка – «Исус младенец».

РЯДОВОЙ САНИТАРНОЙ РОТЫ

1

Полковник Ломан запомнил слова из письма Клюева:

«...желание же Ваше издать книгу наших стихов, в которых были бы отражены близкие Вам настроения, запечатлены любимые Вами Феодоровский собор, лик царя и аромат храмины государевой...

Дайте нам эту атмосферу, и Вы узрите чудо...».

Поэтому Есенин в Феодоровском соборе бывал часто. Был он направлен в храм и в Крещение, на торжественное богослужение в присутствии царской семьи.

Как рассказывал Юрий Ломан:

«6 января 1917 года в Крещение в Фёдоровском соборе была необычайно торжественная служба с крестным ходом на пруд и водосвятием. Собор утопал в пальмах и живых цветах из императорских оранжерей. Левую сторону собора занимали солдаты Сводного полка, правую – казаки конвоя в черкесках защитного цвета, за ними стояли солдаты железнодорожного полка. Под хорами и на хорах разместились офицеры этих полков и их семьи.

По дорогим текинским коврам бесшумно скользили церковные служители в одежде, напоминающей стрелецкую. Редчайшие старинные иконы и парча необычайно гармонировали с общим обликом собора. Капелланы в петровских кафтанах застыли в ожидании взмаха дирижёрской палочки Климова.

Раздался торжественный перезвон колоколов, ярко вспыхнули люстры. На правом клиросе появилась императорская семья. Начался изумительный концерт, составленный из духовных песнопений. Произведения Львова и Ипполитова-Иванова, основанные на обработанных ими русских народных мотивах, как бы органически входили в древнерусский ансамбль собора и Городка. Но всё это, конечно, по словам взрослых. А сам я в то время не в состоянии был оценить эту красоту. <...>

Во время крещенской службы я сперва очутился у главного входа, но здесь стал мешать конвойцам, которые с хоругвями и иконами в руках готовились к крестному ходу. Я поднялся на хоры, где увидел Есенина, внимательно разглядывающего собор. Во время крестного хода и водосвятия я шёл рядом с ним. Есенин был в солдатской форме. На плечах у него погоны рядового <...>. Такая же форма и погоны на мне.

Вспоминая службы в Фёдоровском соборе, я теперь с полным основанием могу их сравнить с лучшими спектаклями Мейерхольда или Станиславского. Должен сказать, что отец был блестящим режиссером и службы в государевом соборе были своего рода шедеврами.

Залитый светом Верхний храм, то утопающий в белых хризантемах, то в сирени, то в цветущем миндале или мрачный, маленький, рассчитанный не больше, чем на сто человек Пещерный храм, создавали нужное молящимся настроение. Нелегко это давалось отцу. Человек он был настроений мистических, но духовенство держал «в решпекте».

– Лодыри наши батюшки, за ними нужен глаз да глаз. Если меня нет в соборе, норовят кое-как службу свернуть и домой удрать!

Иногда денщик Роман Егорович Фролов прокрадывался незаметно в собор и вешал при входе отцовское пальто. А если дело было летом, приносил его фуражку (считал, что они производят магическое действие)».

«7-го января 1917 года, – писал Ходасевич, – Ширявец мне ответил таким письмом:

«Многоуважаемый Владислав Фелицианович!

Очень благодарен Вам за письмо Ваше. Напрасно думаете, что буду «гневаться» за высказанное Вами, – наоборот, рад, что слышу искренние слова.

Скажу кое-что в свою защиту. Отлично знаю, что такого народа, о каком поют Клюев, Клычков, Есенин и я, скоро не будет, но не потому ли он и так дорог нам, что его скоро не будет?.. И что прекраснее: прежний Чурила в шёлковых лапотках с припевками да присказками, или нынешнего дня Чурила, в американских щиблетах, с Карлом Марксом или «Летописью» в руках, захлёбывающийся от открывающихся там истин?.. Ей-богу, прежний мне милее!.. Знаю, что там, где были русалочки омуты, скоро поставят купальни для лиц обоего пола, со всякими удобствами, но мне всё же милее омуты, а не купальни... Ведь не так легко расстаться с тем, чем жили мы несколько веков! Да и как не уйти в старину от теперешней неразберихи, ото всех этих истерических воплей, называемых торжественно «лозунгами»... Пусть уж о прелестях современности пишет Брюсов, а я поищу Жар-Птицу, пойду к тургеневским усадьбам, несмотря на то, что в этих самых усадьбах предков моих били смертным боем... Ну, как не очароваться такими картинками?..

<Ширявец цитирует в письме стихотворение С. Клычкова «Мельница в лесу»>:

Льётся речка лугом, лесом,
А в лесу волшебный плёс,
Словно чаша под навесом
Частых елей и берёз.
У лазоревого плёса
Посредине нету дна,
В пене вертятся колёса,
В чаще мельница видна!

Дуб зелёный у порога,
Крыша – словно на весу:
Говорят, что к ней дорога
Потерялась в лесу...

И этого не будет! Придёт предприимчивый человек и построит (уничтожив мельницу) какой-нибудь «Гранд-Отель», а потом тут вырастет город с фабричными трубами... И сейчас уж у лазоревого плёса сидит стриженная курсистка или с Вейнингером в руках, или с «Ключами счастья».

Извините, что отвлекаюсь, Владислав Фелицианович. Может быть, чушь несу я страшную, это всё потому, что не люблю я современности окаянной, уничтожившей сказку, а без сказки какое житьё на свете? Очень ценны мысли Ваши, и согласен я с ними, но пока потопчусь на старом месте, около мельниковой дочери, а не стриженной курсистки...».

2

В январском номере журнала «Семейные вечера» появилась статья «Воскресший быт», подписанный «М. Лорди Генри». В ней автор, начав с критики Городецкого, воздал должное и Клюеву с Есениным: за увлечение олонецким и рязанским колоритом, за измену родным полям... Есенину ещё – и за повесть «Яр»:

«...Эта не то славянофильская, не то ново-народническая волна быстро упала: в сущности, и у Городецкого, и у Бальмонта было слишком мало связи с «чернозёмом русским», чтобы почерпнуть много материала из мотивов народного творчества. Пошалив с народными напевами, они быстро покинули их для других тем. Но волна ново-народничества вынесла из глубин и чисто народных поэтов: Клюева, С. Есенина и др. Это были уже целиком от «чернозёма», густой пряный дух которого веял в их певучих, не стилизованных, а подлинно русских стихах. Дальше произошло печальное недоразумение: молодые народные поэты, опьянённые шумным успехом, захваленные, заласканные, и кинули родные поля, приобщились к литературному миру и... с поразительной быстротой стали выдыхаться. Теперь тот же Клюев чистоту и непосредственность настроений пытается заменить набором провинциальных, крестьянских словечек. Получается холодно, манерно и ремесленно.

Потерпев неудачу в поэзии, новонародничество перебросилось в беллетристику, и здесь-то пышно расцвело в последнее время.

И здесь оно приняло любопытное направление. Средне-русская деревня, дававшая неисчерпаемый материал для творчества многих и многих писателей, ими заброшена и забыта: их влечёт к окраинам, к тем уголкам обширной России, где своеобразен и не тронут культурой уклад жизни, где новы и чужды великороссу и язык, и люди, и обычаи.

Чукчи, тунгусы, поморы, вологодские звероловы, жители глухих уголков Сибири заполнили вдруг толстые журналы, заговорили с их страниц таким языком, что трудно подчас понять что-либо без словаря. «Чапыга», «лещуга», «бурыга», совы то «кугакаются» то «шомонят», – кому нужны эти слова, за которые читатель запинается, как за кочки на лугу? И неужели местный

колорит можно создать только таким путём? Я не спору, может быть, и интересно прочесть, как живут тунгусы или сибирские охотники, но этот интерес гораздо больше этнографический, чем художественный. И это этнографическое направление решительно стало модным. Так пишут и Сергей Есенин (его большая повесть «Яр» в «Северных записках»)... и многие другие».

Во время увольнений Есенин часто бывал в квартире Иванова-Разумника. В начале февраля он познакомился с гостившим здесь известным поэтом и прозаиком Андреем Белым.

«Мне очень дорог тот образ Есенина, – писал А. Белый, – как он вырисовался передо мной. <...> Меня поразила одна черта, которая потом проходила через все воспоминания и все разговоры. Это – необычайная доброта, необычайная мягкость, необычайная чуткость и повышенная деликатность. Так он был повёрнут ко мне, писателю другой школы, другого возраста, и всегда меня поражала эта повышенная душевная чуткость. <...>

Не стану говорить о громадном и душистом таланте Есенина, об этом скажут лучше меня».

Художник К.А. Сомов записал в своём дневнике:

«8-го. Вечером <...> поехал к Сологубу, <...> там масса народу. <...> Был Клюев, мужицкий поэт, в поддёвке и косоворотке, со своим другом Ясениным (?) <...> Друг очень молод, солдат с личиком амура или зефира. Оба они читали добротные, но очень чуждые стихи».

В следующем увольнении Есенин посетил Мальвину Марьянову и вписал ей в альбом стихотворение:

*«Колокольчик среброзвонный,
Ты поёшь? Иль сердцу снится?
Свет от розовой иконы
На золотых моих ресницах...»*

3

«12 февраля мы переехали, – рассказывал Юрий Ломан, – на новую квартиру в здание трапезной Фёдоровского городка. Это был двухэтажный дом, отделанный белым камнем. В нём было много сводчатых палат, расписанных старинным русским орнаментом, узорчатых лестниц и переходов. Ряд комнат был обставлен мебелью с резными узорами русского орнамента, а ряд комнат – современной мебелью. По замыслу создателей Городка он не должен был быть лишь сколком с минувшего, а преемственным пересказом исконно русского искусства на почве современности в условиях наших дней.

Я уверенно называю дату переезда – 12 февраля 1917 года, потому, что это число выгравировано на сохранившемся у меня блюде. На нём изображён витязь, принимающий у бояр хлеб-соль, а само блюдо покрыто русским орнаментом с вкраплёнными в него камнями-самоцветами. На этом блюде в день новоселья отцу поднесли каравай круглого хлеба, покрытый расшитым полотенцем, а на нём стояла серебряная солонка. Блюдо стояло на маленьком столике в столовой – малой трапезной. Эта комната была весьма при-

мечательна. Своды её были расписаны текстами русских пословиц: «Добрая Весть – коли говорят пора есть», «Русский аппетит ничему не вредит», «Рыба – вода, ягода – трава, а хлеб всему голова», «Что там ни говори, а на русской чёрной каше выросли богатыри».

Для росписи потолков были применены темперные краски.

Своим убранством комната напоминала боярские хоромы. Одна из дверей столовой вела в столбовую палату, где была размещена интересная экспозиция русского народного декоративно-прикладного искусства, старинных икон, оружия. Богатая утварь из дерева, металла и керамики, ажурные изделия из кости, расписные резные прялки, праздничная женская одежда, кокошники, осыпанные жемчугом, неисчерпаемое богатство самобытных форм, удивительная гамма красок. Сам облик столбовой палаты удачно сочетался с экспонатами, увеличивая их впечатляющую силу. В этой палате члены Общества возрождения художественной Руси предполагали проводить беседы о народном декоративном искусстве. <...>

...царь Николай II перед отъездом в Ставку осмотрел здание трапезной. Ему показали древние иконы и иконостасы из подмосковной церкви царя Алексея Михайловича, настенную живопись трапезной и несколько сводчатых палат, составлявших часть нашей квартиры. Царь несколько раз повторил: «Прямо сон наяву – не знаю, где я, в Царском Селе или в Москве в Кремле». Потом он прошёл в остальные весьма комфортабельные комнаты нашей квартиры, ничем не напоминавшие русскую старину, разве что в одной из них была лежанка, сложенная из найденных где-то древних изразцов, да в моей детской комнате стена, выходящая на внутреннюю расписанную древним орнаментом лестницу, была деревянная резная с маленькими окошками из слюды. На лестнице висели картины кисти художника Гавриила Горелова на сюжеты Городка, санитарного поезда и лазарета. Увидя в моей детской расставленных на столе игрушечных солдатиков-павловцев, царь сказал: «Сразу видно, что здесь живёт сын павловца и сам будущий павловец». В гостиной он сел на мягкое кресло, долго рассматривал картину, на которой был изображён старый паровоз и несколько вагонов, показавшихся из-за поворота. «Так бы и сидел в этом уютном кресле, забыв о всех делах, да, к сожалению, они всё время о себе напоминают».

«Драгой Мишель! – писал Есенин Мурашёву. – Будь добродетелен, пришли мне ту записку (в письме) <речь о письме из редакции «Ежемесячного журнала», извещавшем Есенина о гонораре>. Я поеду, получу и заеду к тебе. Относительно стихов поговорим после. На днях сдурил и обрил свою голову, уж очень иссушил кожу. Полечу маленько. Будь здоров.

Твой Сергей».

Выступать в Трапезной на другой день Есенину пришлось без своих кудрей.

«19 февраля в трапезной, – писал Юрий Ломан, – прилегающей к нашей квартире, состоялось заседание Общества возрождения художественной Руси. Потом был концерт. В нём участвовали В.В. Андреев со своим оркес-

тром, гусяры Н.Н. Голосова и Есенин. Как сообщала 24 февраля одна из газет того времени: «Трапезная палата оправдала своё название и воскресила старинное русское хлебосольство. Песенники, гусяры и народный поэт Есенин, читавший свои произведения... мешали действительность со сказкой».

4

«23 февраля 1917 года, – вспоминал Юрий Ломан, – отец собрался поехать в Гельсингфорс навестить мою сестру Надю и гостившую у неё маму. Как всегда, он решил взять меня с собой.

Днём я несколько раз забегал к отцу в кабинет и заставлял его за письменным столом в окружении делопроизводителя И. Е. Лебедева и писарей Пунько и Кукушкина. Они сновали между кабинетом и канцелярией, занимавшей несколько комнат, и приносили отцу на подпись какие-то бумаги.

Уже в конце дня я услышал, как Кукушкин просит подписать бумаги для Есенина, и отец с неудовольствием подписывает их.

Кукушкин уходит, но почти сразу же возвращается с новыми бумагами для Есенина и что-то шепчет отцу. Тот подписывает и, морщась, говорит Кукушкину: «Дайте всё, что он просит...»

Меня удивило, что Есенин ведёт переговоры через писарей. Я спросил об этом отца. Он неохотно ответил: «Есенин больше в городке служить не будет».

Полковник Ломан, верный своим замыслам, направил Есенина в Могилёв, где находилась Ставка и где он чаще мог видеть Николая II.

«Удостоверение

Предъявитель сего санитар Полевого Царскосельского военно-санитарного поезда № 143 <...> Сергей Есенин командирован по делам названного Поезда в г. Могилёв в распоряжение командира 2-го батальона Собственного ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Сводного пехотного полка Полковника Андреева, что подписью с приложением печати удостоверяется».

Выехав в Петроград, Есенин успел получить гонорар в «Ежемесячном журнале» за напечатанную там сказку «Исус младенец».

О событиях в столице в этот день Зинаида Гиппиус записала в своём дневнике:

«23 февраля. Четверг

Сегодня беспорядки. Никто, конечно, в точности ничего не знает. Общая версия, что началось на Выборгской, из-за хлеба. Кое-где остановили трамваи (и разбили). Будто бы убили пристава. Будто бы пошли на Шпалерную, высадили ворота (сняли с петель) и остановили завод. А потом пошли покорно, куда надо, под конвоем городских, – всё «будто бы».

Опять кадетская версия о провокации, – что всё вызвано «провокационно», что нарочно, мол, спрятали хлеб (ведь остановили железнодорожное движение?), чтобы «голодные бунты» оправдали желанный правительству сепаратный мир. <...>

Как в воде, да ещё мутной, мы глядим и не видим, в каком расстоянии мы от краха.

Он неизбежен. Не только избежать, но даже изменить его как-нибудь – мы уже не в состоянии (это-то теперь ясно). <...>

Если завтра всё успокоится и опять мы затерпим – по-русски тупо, бездумно и молча, – это ровно ничего не изменит в будущем. Без достоинства бунтовали – без достоинства покоримся.

Ну, а если без достоинства – не покоримся? Это лучше? Это хуже?

Какая мука. Молчу. Молчу.

Думаю о войне. Гляжу в её сторону. Вижу: коллективная усталость от бессмыслия и ужаса овладевает человечеством. Война верно выедает внутренности человека. Она почти гальванизированная плоть, тело, мясо – дерущееся.

Царь уехал на фронт. Лафа теперь в Царском Городке «пресекать». Хотя они «пресекать» будут так же бессильно, как мы бессильно будем бунтовать. Какое из двух бессилий победит?

Бедная земля моя. Очнись!».

Из Петрограда в Могилёв Есенин выехал, но добраться до него не смог.

Петроградские события следующих дней также отмечены в дневнике Зинаиды Гиппиус:

«24 февраля. Пятница

Беспорядки продолжают. Но довольно пока невинные (?).

По Невскому разъезжают молоденькие казаки (новые, без казачьих традиций), гонят толпу на тротуары, случайно подмяли бабу, военную сборщицу, и сами смутились.

Толпа – мальчишки и барышни.

Впрочем, на самом Невском рабочие останавливают трамваи, отнимая ключи.

Трамваи почти нигде не ходят, особенно на окраинах, откуда попасть к нам совсем нельзя. Разве пешком. А морозно и ветрено. Днём было солнце, и это придавало весёлость (зловещую) невским демонстрациям.

Министры целый день сидят и совещаются. Пусть совещаются. Царь уже обратно скачет, но не из-за демонстраций, а потому, что у Алексея сделалась корь. <...>

Утром говорили, что путиловцы стали на работу, но затем выяснилось, что нет. Еду по Сергиевской, солнечно, морозно. Вдали крики небольших кучек манифестантов. То там, то здесь.

Спрашиваю извозчика:

– А что они кричат?

– Кто их знает. Кто что попало, то и кричит.

– А ты слышал?

– Мне что. Кричат и кричат. Всё разное. И не поймёшь их.

Бедная Россия. Откроешь ли глаза?

25 февраля. Суббота

Трамваи остановились по всему городу. На Знаменской площади митинг (мальчишки сидели, как воробьи, на памятнике Александру III). У здания Городской Думы была первая стрельба – стреляли драгуны.

Правительство, по настоянию Родзянко, согласилось передать продовольственное дело городскому управлению. Как всегда – это поздно. Риттих клялся Думе, что в хлебе недостатка нет. Возможно, что и правда. Но даже если... то, конечно, и это «поздно». Хлеб незаметно забывается, забылся, как случайность.

Газеты завтра не выйдут, разве «Новое время», которое долгом почтёт наплевать на «мятежников». Хорошо бы, чтобы они пришли и «сняли» рабочих. <...>

Карташов упорно стоит на том, что это «балет», – и студенты, и красные флаги, и военные грузовики, медленнодвигающиеся по Невскому за толпой (нет проезда), в странном положении конвоирующих эти красные флаги. Если балет... какой горький, зловещий балет! Или...

Завтра предрекают решительный день (воскресный). Не начали бы стрелять вовсю. А тогда... это тебе не Германия, и уже выйдет не «бабий» бунт. Но я боюсь говорить. Помолчим.

26 февраля. Воскресенье

Сегодня с утра вывешено объявление Хабалова, что «беспорядки будут подавляться вооруженной силой». На объявление никто не смотрит. Взглянут – и мимо. У лавок стоят молчаливые хвосты. Морозно и светло. На ближайших улицах как будто даже тихо. Но Невский оцеплен. Появились «старые» казаки и стали с нагайками скакать вдоль тротуаров, хлеща женщин и студентов. (Это я видела также и здесь, на Сергиевской, своими глазами).

На Знаменской площади казаки вчерашние – «новые» – защищали народ от полиции. Убили пристава, городских оттеснили на Лиговку, а когда вернулись – их встретили криками: «Ура, товарищи казаки!»

Не то сегодня. Часа в 3 была на Невском серьезная стрельба, раненых и убитых несли тут же в приёмный покой под каланчу. Сидящие в «Европейской» гостинице заперты безвыходно и говорят нам оттуда <по телефону>, что стрельба длится часами. Настроение войск неопределённое. Есть, очевидно, стреляющие (драгуны), но есть и оцепленные, т. е. отказавшиеся. Вчера отказался Московский полк. Сегодня, к вечеру, имеем определенные сведения, что – не отказался, а возмутился – Павловский. Казармы оцеплены и всё Марсово Поле кругом, убили командира и несколько офицеров. <...>

Все школы, гимназии, курсы – закрыты. Сияют одни театры и... костры, расположившихся на улицах бивуаком войск. Закрыты и сады, где мирно гуляли дети: Летний и наш, Таврический. Из окон на Невском стреляют, а «публика» спешит в театр. Студент живот свой положил ради «искусства»...

Но не надо никого судить. Не судительное время – грозное. И что бы ни было дальше – радостное. Ни полкапли этой странной внеразумности, живой радости не давала ни секунды война. Нет оправдания войне – для современного человеческого существа. Всё в войне кричит для нас: «Назад!». Всё в революционном движении: «Вперёд!». Даже при внешних сближениях – вдруг, точно искра, качественное различие. Качественное.

27 февраля. Понедельник

...1 ½ ч. дня. Идут по Сергиевской мимо наших окон вооружённые ра-

бочие, солдаты, народ. Все автомобили останавливаются, солдаты высаживают едущих, стреляют в воздух, садятся и уезжают. Много автомобилей с красными флагами, заворачивающих к Думе.

2 ч. дня. Делегация от 25 тыс. восставших войск подошла к Думе, сняла охрану и заняла её место.

Экстренное заседание Думы продолжается?

Мимо окон идёт странная толпа: солдаты без винтовок, рабочие с шашками, подростки и даже дети от 7–8 лет, со штыками, с кортиками. Сомнительны лишь артиллеристы и часть семёновцев. Но вся улица, каждая сияющая баба убеждена, что они пойдут «за народ».

4 ч. дня. Известия о телеграммах Родзянки царю, первая – с мольбой о смене правительства, вторая – почти паническая – «последний час настал, династия в опасности», и две его же телеграммы Брусилову и Рузскому с просьбой поддержать ходатайство у царя. Оба ответили, – первый: «Исполнил свой долг перед царём и родиной», второй: «Телеграмму получил поручение исполнил».

4 часа. Стреляют, – большей частью в воздух. Известия: раскрытые тюрьмы, заключённые освобождены. Кем? Толпы чаще всего – смешанные. Кое-где солдаты «снимали» рабочих (Орудийный завод) – рабочие высыпали на улицу. <...>

Взята Петропавловская крепость. Революционные войска сделали её своей базой. <...>

Окружной суд действительно горит. Разгромлено также Охранное отделение и дела сожжены. <...>

5 часов. В Думе образовался Комитет «для водворения порядка и для сношения с учреждениями и лицами». Двенадцать: Родзянко, Некрасов, Коновалов, Дмитрюков, Керенский, Чхеидзе, Шульгин, Шидловский, Милюков, Караулов, Львов и Ржевский.

Комитет заседает перманентно. Тут же во дворце Таврическом... заседает и Совет рабочих депутатов. В какой они связи с Комитетом – не выясняется определённо. <...>

6 часов. В восставших полках, в некоторых, убиты офицеры, командиры и генералы. Слух (непроверенный), что убит японский посланник, принятый за офицера. Насчёт артиллеристов и семёновцев всё также неопределённо. На улицах ни одной лошади, ни в каком виде, только гудящие автомобили, похожие на дикобразов: торчат кругом щетиной блестящие иглы штыков». <...>

9 часов. Есть тайные слухи, что министры засели в градоначальстве и совещаются под председательством Протопопова. Вызваны, кажется, войска из Петергофа. <...>

Воззвание от Совета рабочих депутатов. Очень куцее и смутное. «Связывайтесь между собой... Выбирайте депутатов... Занимайте здания...» О связи своей с Думским Комитетом – ни слова.

Все думают, что и с правительством ещё предстоит бойня...».

Как пришла революция в царскую резиденцию, рассказал Юрий Ломан: «28 февраля вечером, едва начало смеркаться, в казармах императорского конвоя, расположенных рядом с Фёдоровским городком, раздался сигнал тревоги, и спустя несколько минут через двор Городка по три в ряд проскакало несколько казачьих сотен. Я бросился вслед скачущим всадникам. Выбежал через вторые ворота Городка и увидел идущий беглым шагом Сводный полк. Солдаты шли, держа винтовки в руках. Конвой и Сводный полк скрылись в главных воротах Александровского дворца.

Затем кто-то позвонил по телефону и сказал отцу, что в Царскосельской гостинице громят винный погреб. Ещё через некоторое время в Софии, где стояли запасные полки, послышалась всё нарастающая ружейная стрельба.

Отец вышел на крыльцо, прислушался, вызвал автомашину для того, чтобы отправить нас с братом к дедушке Фёдору Константиновичу. У дедушки мы переночевали только одну ночь и утром вернулись в Городок. О последующих событиях у меня сохранились самые сумбурные воспоминания.

Несколько раз отец ездил на автомашине в канцелярию дворцового коменданта, где полковник Гротен, замещавший генерала Воейкова, проводил совещания.

Императрица заявила, что все её дети больны, она считает себя сестрой милосердия, а дворец госпиталем и запрещает охране какие-либо боевые действия.

Солдаты Сводного полка и казаки конвоя, поднятые по тревоге и размещённые в подвалах дворца, не получая никаких распоряжений и не зная, что делается за пределами дворца, томятся неизвестностью, хотят вернуться в казармы.

Солдаты артиллерийской противовоздушной обороны заявили, что если дворцовая охрана будет стрелять, они откроют артиллерийский огонь по дворцу. На совещании Гротен сказал, что с ними заодно их командир полковник Мальцев, который всегда был красным.

Пронёсся слух, что из Колпина идут рабочие, чтобы захватить Александровский дворец. <...>

Великий князь Павел Александрович был у императрицы и сообщил ей об отречении царя от престола. Она не поверила, говорила, что газеты всёврут, жалела, что не может связаться с императором по телефону.

Офицеры, в том числе мой отец, одели нарукавные белые повязки. На автомобиле отец поехал в Городскую ратушу и там принёс присягу Временному правительству. <...>

Пришло указание о назначении начальником лазарета врача. Поэтому начальником 17-го лазарета был назначен Мусин-Пушкин. В связи с этим, отец издал прощальный приказ, в котором просил не поминать его лихом.

На другой день, едва в школе начался первый урок, за мной приехал наш кучер. Он сказал, что полковника арестовали и что он велел вас поскорее привезти, чтобы проститься. У крыльца трапезной я увидел взволнованную толпу людей. Вскоре в сопровождении двух конвоиров по дорожке из Фёдоровского собора показался отец. Подойдя ко мне, он поцеловал меня,

затем сказал конвоирам: «Теперь, когда я простился с моим детищем, собором, и со своим сыном, я спокойно поеду туда, куда вы меня повезёте». Его посадили на маленький «Фиат», на котором ещё несколько дней тому назад ездили придворные фельдъегери, и машина тронулась.

Арестованных свозили в Городскую ратушу. Оттуда их перевели в здание мужской гимназии, а затем в бывшее царское сельское охранное отделение. Через несколько дней заключённых перевели на офицерскую гауптвахту в Петропавловской крепости».

Из воспоминаний Мальвины Марьяновы:

«Когда началась Февральская революция, я ещё находилась в Петрограде. В этот день я была на Васильевском острове и обратно уже не могла вернуться – трамваи стояли. Пришлось идти домой пешком. Вернувшись, я застала у нас Есенина. Это была наша последняя встреча в Петрограде».

Рассказ самого Есенина (со слов современника, позже) у Иванова-Разумника:

«До Могилёва я так и не добрался. В пути меня застала революция. Возвращаться в Петербург я побоялся. В Невке меня, как Распутина, не утопили бы, но под горячую руку, да на радостях, расквасить мне физиономию любители нашлись бы. Пришлось сигнуть в кусты: я уехал в Константиново...».

Стихотворение, написанное дома, Есенин назовёт потом первым его откликом на Февральскую революцию:

*Разбуди меня завтра рано,
О моя терпеливая мать!
Я пойду за дорожным курганом
Дорогого гостя встречать.*

.....

*Разбуди меня завтра рано,
Засвети в нашей горнице свет.
Говорят, что я скоро стану
Знаменитый русский поэт.*

*Воспою и тебя, и гостя,
Нашу печь, петуха и кров...
И на песни мои прольётся
Молоко твоих тучных коров.*

В Константинове Сергей задержался недолго. «Переждав там недели две, – рассказывал он Иванову-Разумнику, – я рискнул показаться в Петербурге и в Царском Селе. Ничего, обошлось, слава Богу, благополучно».

5

А в Петрограде в это время события следовали одно за другим. Из дневника Зинаиды Гиппиус:

«1 марта. Среда

С утра текут, текут мимо нас полки к Думе. И довольно стройно, с флагами, со знамёнами, с музыкой. <...> Всё отчетливее разлад между Комитетом и Советом. <...> Родзянко и Гучков отправились утром на Николаевский вокзал, чтобы ехать к царю (за отречением? или как? и посланные кем?), но рабочие не дали им вагонов. (Потом, позднее, всё же поехали, с кем-то ещё). Царь и не на свободе, и не в плену, его не пускают железнодорожные рабочие. Поезд где-то между Бологим и Псковом. <...>

3 марта. Пятница

...Царь, оказывается, отрётся и за себя, и за Алексея («мне тяжело расставаться с сыном»), в пользу Михаила Александровича. Когда сегодня днём нам сказали, что новый кабинет на это согласился (и Керенский?), что Михаил будет «пешкой» и т.д. – мы не очень поверили. <...>

И вышло: с привезённым царским отречением Керенский (с Шульгиным и ещё с кем-то) отправился к Михаилу. <...> Михаил, подумав, тоже отказался: если должно быть Учредительное собрание, – то оно, мол, и решит форму правления. <...>

6 марта. Понедельник

...Странный, в конце концов, факт получился: существование рядом с Временным правительством, двухтысячной толпы, властного и буйного перманентного митинга, – этого Совета рабочих и солдатских депутатов».

Временное правительство сохранило царский государственный аппарат, реформируя лишь высшие власти. В марте 1917 года началась ликвидация Управления дворцового коменданта и канцелярии по постройке Феодоровского собора и Городка. Лазарет поступил в ведение Главного управления Красного Креста, а военно-санитарный поезд № 143 передали Главному военно-санитарному управлению. Не было уже в Городке и самого полковника Ломана.

17 марта секретарь поезда № 143 сообщил в Воинскую комиссию при Государственной Думе:

«Ввиду сокращения штата при Полевом военно-санитарном поезде № 143, препровождаю в распоряжение Воинской комиссии ратника Сергея Есенина».

В аттестате, выданном Есенину, говорилось:

«По указу Временного Правительства дан сей от Полевого военно-санитарного поезда № 143 рядовому Сергею Есенину, откомандированному в распоряжение Воинской комиссии при Государственной Думе в том, что он удовлетворён при сём поезде провиантским, приварочным и чайным довольствием от 17 сего марта, мылом и табаком не удовлетворялся, что подписью с приложением казённой печати и удостоверяется».

Уже через три дня Сергею был выдан последний документ, связанный с его военной службой:

«...возложенные на него обязанности... по 17 марта 1917 года исполнялись им честно и добросовестно, и в настоящее время препятствий к поступлению Есенина в школу прапорщиков не встречается».

Есенин, уже вдохнувший воздуха свободы, в школе прапорщиков так и не появился. Его не интересовали ни производство в офицеры, ни фронт,

обязательный после её окончания. От дальнейшей военной службы в армии Временного правительства он уклонился.

Вернувшись в Петроград, Есенин вновь объединился с Клюевым. Они были свидетелями грандиозных торжественных похорон жертв революции на Марсовом поле. Совершили поездку в Москву, где навестили писателя Алексея Толстого.

Его жена, поэтесса Наталья Васильевна Крандиевская-Толстая, вспоминала:

« – У нас гости в столовой, – сказал Толстой, заглянув в мою комнату. – Клюев привёл Есенина. Выйди, познакомься. Он занятый.

Я вышла в столовую. Поэты пили чай. Клюев, в поддёвке, с волосами, разделёнными на пробор, с женскими плечами, благодостный и сдобный, похож был на церковного старосту. Принимая от меня чашку с чаем, он упомянул про Великий пост. Отпихнул ветчину и масло. Чай пил «по-поповски», крошив в него яблоко. Напившись, перевернул чашку, перекрестился на эту Сарьяна и принялся читать нараспев вполне доброкачественные стихи. Временами, однако, чересчур фольклорное какое-нибудь словечко заставляло насторожиться. Озадачил меня также его мизинец с длинным, хорошо отполированным ногтем.

Второй гость, похожий на подростка, скромно покашливал. В голубой косоворотке, миловидный, льняные волосы уложены бабочкой на лбу. С первого взгляда – фабричный паренёк, мастеровой. Это и был Есенин.

На столе стояли вербы. Есенин взял тёмно-красный прутик из вазы.

– Что мышата на жёрдочке, – сказал он вдруг и улыбнулся.

Мне понравилось, как он это сказал, понравился юмор, блеснувший в озорных глазах, и всё в нём вдруг понравилось. Стало ясно, что за простоватой его внешностью светится что-то совсем не простое и не обычное.

Крутя вербный прутик в руках, он прочел первое своё стихотворение, потом второе, потом третье. Он читал много в тот вечер. Мы были взволнованы стихами, и не знаю, как это случилось, но в благодарном порыве, прощаясь, я поцеловала его в лоб, прямо в льняную бабочку, ставшую вдруг такую же милой мне, как и всё в его облике.

В передней, по-мальчишески качая мою руку в последнем рукопожатии, Есенин сказал:

– Я к вам опять приду. Ладно?

– Приходите, – откликнулась я.

Но больше он не пришёл».

6

После Февральской революции в Петрограде появилась газета «Дело народа» – печатный орган социал-революционеров (эсеров), в редакционное руководство которой вошел Иванов-Разумник.

Уже 28 марта эта газета напечатала стихотворение Есенина, хотя и старое, 1915 года, но своим бунтарством соответствующее новому времени:

*Наша вера не погасла,
Святы песни и псалмы.
Льётся солнечное масло
На родимые холмы.*

*Верю, родина, и знаю,
Что легка твоя стопа,
Не одна ведёт нас к краю
Богомольная тропа...*

В эти дни вдохновенно работал он над поэмой «Товарищ», смело обратившись к малознакомой ему рабочей теме, но не забывая ввести в неё и образ Христа:

*Он был сыном простого рабочего,
И повесть о нём очень короткая.
Только и было в нём, что волосы, как ночь,
Да глаза голубые, кроткие.*

*Отец его с утра до вечера
Гнул спину, чтоб прокормить крошку;
Но ему делать было нечего,
И были у него товарищи: Христос да кошка.*

*Кошка была старая, глухая,
Ни мышей, ни мух не слышала,
А Христос сидел на руках у Матери
И смотрел с иконы на голубей под крышею.*

*Жил Мартин, и никто о нём не ведал.
Грустно стучали дни, словно дождь по железу.
И только иногда за скудным обедом
Учил его отец распевать марсельезу.*

*«Вырастешь, – говорил он, – поймёшь...
Разгадаешь, отчего мы так нищи!»
И глухо дрожал его щербатый нож
Над чёрствой горбушкой насущенной пищи.*

*Но вот под тесовым
Окном –
Два ветра взмахнули
Крылом:*

*То с вешнею полымью
Вод
Взметнулся российский
Народ...*

Появился в Петрограде Сергей Клычков, стихи которого «крестьянские» поэты давно знали и любили, и сразу же примкнул к этой «крестьянской купнице».

Из воспоминаний Рюрика Ивнева: «Вновь встретился я с Есениным уже после того, как он вышел из «царскосельского плена». Это было недели через две после февральской революции. Был снежный и ветреный день. Вдали от центра города, на углу двух пересекающихся улиц, я неожиданно встретил Есенина с тремя, как они себя именовали, «крестьянскими поэтами»: Николаем Клюевым, Петром Орешиним <вероятнее всего это был Пимен Карпов, так как с Орешиним Есенин тогда ещё не был знаком> и Сергеем Клычковым. Они шли вразвалку и, несмотря на густо валивший снег, в пальто нараспашку, в каком-то особенном возбуждении, размахивая руками, похожие на возвращающихся с гулянки деревенских парней.

Сначала я думал, они пьяны, но после первых же слов убедился, что возбуждение это носит иной характер. Первым ко мне подошёл <Карпов>. Лицо его было тёмным и злобным. Я его никогда таким не видел.

– Что, не нравится тебе, что ли?

Клюев, с которым у нас были дружеские отношения, добавил:

– Наше времечко пришло.

Не понимая, в чём дело, я взглянул на Есенина, стоявшего в стороне. Он подошёл и стал около меня. Глаза его щурились и улыбались. Однако он не останавливал ни Клюева, ни <Карпова>, ни злобно одобрявшего их нападки Клычкова. Он только незаметно для них просунул свою руку в карман моей шубы и крепко сжал мои пальцы, продолжая хитро улыбаться.

Мы простояли несколько секунд, потоптавшись на месте, и молча разошлись в разные стороны.

Через несколько дней я встретил Есенина одного и спросил, что означал тот «маскарад», как я мысленно окрестил недавнюю встречу. Есенин махнул рукой и засмеялся:

– А ты испугался?

– Да, испугался, – но только за тебя!

Есенин лукаво улыбнулся.

– Ишь, как поворачиваешь дело.

– Тут нечего поворачивать, – ответил я. – Меня испугало то, что тебя как будто подменили.

– Не обращай внимания. Это всё Клюев. Он внушил нам, что теперь настало «крестьянское царство» и что с дворянчиками нам не по пути. Видишь ли, это он всех городских поэтов называет дворянчиками.

– Уж не мнит ли он себя новым Пугачёвым?

– Кто его знает, у него всё так перекручено, что сам чёрт ногу сломит. А Клычков и <Карпов> просто дурака валяли».

Этой же «крестьянской» компанией поздравили они с Пасхой Александра Ширяевца, послав ему 30 марта в Ташкент дружескую коллективную открытку:

«Христос Воскресе! Дорогой наш брат Александр.»

Кланяются тебе совместно любящие тебя, Есенин, Клюев, Клычков и Пимен Карпов».

«Христос Воскресе, дорогая Запевка. Целую тебя в сахарны уста и кланяюсь низко.

Н. Клюев».

«С красным звоном, дорогой баюн Жигулей и Волги. Цвети крепче.

Сергей Есенин».

«Пимен Карпов – привет!».

Часть четвёртая

ВИХРИ РЕВОЛЮЦИЙ

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

«В МУЖИЧЬИХ ЯСЛЯХ РОДИЛОСЬ ПЛАМЯ...»

1

С Есениным «...встретились мы уже после февральской революции, – рассказывал Всеволод Рождественский, – и тоже на Невском, в праздничной, шумной суете.

На этот раз мы шли свободно и весело, чувствуя себя полными хозяевами города. Мимо нас проходила какая-то часть, по-видимому, недавно прибывшая с фронта. Есенин долго вглядывался в серые, утомлённые лица солдат. Он заметно помрачнел.

– Когда же кончится эта проклятая война! Здесь по улицам с песнями и флагами ходят, а раненых всё везут и везут. Керенский таким воякой оказался, что не дай боже.

Мы невесело помолчали. Проклятый вопрос, как кончить с войной, мучил в то время каждого, кто имел возможность хоть на минуту выключить себя из стихийного ликования, бушевавшего на улицах, и внимательно оглядеться вокруг. В сущности, исчезли только полицейские шинели и царские флаги. Многое осталось по-старому, и толстый Родзянко с балкона Государственной Думы призывал продолжать войну почти в тех же выражениях, как это делалось и в старой казарме.

Мы продолжали молчать, пока не поравнялись с большим книжным магазином Вольфа.

– Зайдём! – предложил Есенин.

В огромном помещении, до потолка заполненном книгами, было пусто. Широкие прилавки пестрели свежими обложками. В огромных папках, на специальных стеллажах, пухло покоились гравюры и литографии. Томный,

с иголки одетый приказчик почтительно наклонял гладко расчёсанный пробор над грузным черепом какого-то старика, утонувшего в низком кожаном кресле.

Мы подошли к прилавку. У нас в глазах зарыбило от множества цветных обложек.

– Нет, ты только послушай, как заливается этот индейский петух!

И, раскрыв пухлый том Бальмонта, громко и высокопарно, давась подступавшим смехом, Есенин прочитал нараспев и в нос какую-то необычайно звонкую и трескучую строфу, подчеркивая внутренние созвучия. И тут же схватился за лежавший рядом сборник Игоря Северянина.

– А этот ещё хлестче! Парикмахер на свадьбе!

Мы так увлеклись, что и не заметили выросшего рядом приказчика.

– Молодые люди, – сказал он вежливо и спокойно, – вы шли бы прогуляться. Погода хорошая, и вам на улице будет гораздо интереснее. А тут вы только книги ворошите. Ведь всё равно ничего не купите. Денег-то, вероятно, нет?

Есенин вскипел:

– Денег нет, это верно. Тут уж ничего не скажешь. Да зато есть вот это!

И он выразительно хлопнул ладонью по собственному лбу...

– А если я, как курица, везде по зёрнышку клюю, то это уж моё дело. Никому от этого убытка нет.

И, презрительно вздёрнув голову, направился к выходу. Но когда мы очутились за дверью, не выдержал и рассмеялся на всю улицу.

– А ведь он и вправду думал, что мы книжки украдём. Это я-то Бальмонта буду красть? Чудеса!

Весёлое настроение не покидало его всю дорогу».

В своём дневнике от 5 апреля Зинаида Гиппиус писала:

«...Приехал Плеханов. Его мы часто встречали за границей. У Савинкова не раз, и в других местах. Совсем европеец, культурный, образованный, серьёзный, марксист несколько академического типа. Кажется мне, что не придётся он по мерке нашей революции, ни она ему. Пока – восторгов его приезд будто не вызвал.

Вот Ленин... Да, приехал-таки этот «Тришка» наконец! Встреча была помпезная, с прожекторами. Но... он приехал через Германию. Немцы набрали целую кучу таких «вредных» тришек, дали целый поезд, запломбировали его (чтобы дух на немецкую землю не прошёл) и отправили нам: получайте».

Как говорил Иванов-Разумник: «Мы по-разному, но согласно верили в грядущую революцию».

Левые эсеры, в отличие от правых, выступали тогда против империалистической войны, заявляли себя противниками империалистической внешней политики Временного правительства, и с апреля 1917 года стали официально называть себя «интернационалистами».

В левозэровской газете «Дело народа» и была впервые опубликована поэма Есенина «Марфа Посадница», запрещённая царской цензурой.

В этом же апреле Сергей познакомился с Миной Львовной Свирской, чуть не с гимназической скамьи примкнувшей к партии социал-революционеров. Родом из Вильны, она была в Петрограде в эвакуации.

Начав с распространения центральной газеты партии «Дело народа», она скоро включилась в агитационную работу, в частности, в организацию митингов на заводах столицы.

«С моим знакомством с Есениным, – рассказывала Мина Свирская, – связан Герман Александрович Лопатин. <...>

В 1917 году в Петрограде я жила на Каменноостровском проспекте, недалеко от Карповки. В большом сером доме на Карповке жил Г. А. Лопатин. В этом же доме жила Вера Ивановна Засулич. С Германом Александровичем я была знакома, как почти со всеми народовольцами-шлиссельбуржцами, бывшими тогда в Петрограде.

Герман Александрович видел очень плохо, он начинал слепнуть. Днём ещё сам мог ходить по улицам, но вечером это было для него совершенно невозможно. По утрам я иногда забегала к нему, чтобы спросить, куда пойти за ним вечером, чтобы помочь ему добраться домой. <...>

Герман Александрович сказал мне, что будет вечером у Сакеров... Вечером я зашла к ним за Германом Александровичем.

Фаня Исаковна ввела меня в столовую. За длинным столом сидели Абрам Львович, Герман Александрович и какой-то юноша с золотистыми вьющимися волосами, в солдатской гимнастёрке. «Вот и Мина, знакомьтесь», – сказала хозяйка. Знакомиться мне нужно было только с этим юношей. Он встал, назвал себя Серёжа. Мы обменялись рукопожатием. Меня усадили возле него. После ужина Фаня Исаковна сказала: «А теперь, Серёжа, Вы нам споёте частушки. Я обещала Герману Александровичу». Она позвонила, вошла горничная в белом передничке и наколке.

– Принесите, пожалуйста, гармошку Сергея Александровича.

Этот Серёжа показался мне одного возраста со мной. Он совершенно не смутился, что его называли по имени и отчеству. Если бы меня назвали, я бы, конечно, смутилась, а он – нисколько. Я решила, что он большой воображала, если позволяет себя так называть. Принесли гармошку, он стал петь частушки. Герман Александрович просил некоторые повторить по несколько раз. Особенно одну, которая начиналась: «Я любил её всю душой, а она меня половиною». Когда мы ехали трамваем домой, уже поздно, Герман Александрович всё повторял: «Вы подумайте, как хорошо: «Я любил её всю душой, а она меня половиною...».

Газета «Дело народа» объявляла: «13 апреля художественное общество «Искусство для всех»... устраивает в Тенишевском зале общедоступный «Вечер свободной поэзии» при участии поэтов и артистов Ф. Сологуба, Н. Клюева, Есенина, А. Ахматовой, Ю.М. Юрьева, Н.Н. Ходотова, Л. Вивьена, Тэффи, А. Мгеброва, В. Тизенгаузен, Н.С. Рашевской, Р. Ивнева, В. Пруссака и др. Впервые будут читаться публично доселе «запретные» стихотворения».

В программе были: «Июльские мотивы» Беранже, «Красное знамя» Руквишникова, «Декабристам» Пушкина. Клюев читал – «Псалмы», Есенин – «Марфу Посадницу».

Была на этом вечере и Мина Свирская:

«...захотелось встретиться со старыми знакомыми и я пошла на концерт. Обстановка осталась всё та же. Тот же шум и беготня перед началом, что и прежде. Я сидела где-то в верхнем ряду. Шум вдруг прекратился и по рядам пронеслось: «Клюев, Есенин, Клюев, Есенин». Я знала не только эти имена, но и стихи этих поэтов. В наступившей тишине все уставились на входную дверь.

В зал входили двое: впереди шёл невысокого роста, нам он казался таким по сравнению со вторым, довольно плотный мужчина с рыжеватой бородкой. За ним юноша с вьющимися светлыми волосами, аккуратно расчёсанными. Они были одеты в синие поддёвки, красные шелковые рубахи, лакированные сапоги.

Шли они медленно и выглядели очень театрально. Я знала, что поэт Есенин моложе поэта Клюева, и легко установила, кто из них первый, а кто второй. Но своего знакомого Серёжу-воображалу я не узнала.

Во время антракта я неслась по лестнице. Вдруг меня сзади кто-то схватил за руку – «Мина, мы с Вами знакомы». Рядом со мной стоял Есенин. Видя мое изумление, а может быть и растерянность, добавил: «Мы познакомились у Сакеров». Но я его уже узнала. Первое, что я сказала: «Я знаю теперь, почему Вас зовут Сергеем Александровичем». – «Но Вы меня так не называйте». Он спросил, почему я не прихожу к Сакерам, а я его позвала к нам в Общество распространения эсеровской литературы. Несколько раз он приходил в Общество один, один или два раза с Клюевым».

3

Встретив Февральскую революцию восторженно, именуя её «мужичьей», Есенин написал поэму «Певущий зов»:

*...В мужичьих яслях
Родилось пламя
К миру всего мира!
Новый Назарет
Перед вами.
Уже славят пастыри
Его утро.
Свет за горами...*

1 мая 1917 года – международный день труда – пришёлся в России на 18 апреля (по старому стилю). Газета «Новая жизнь» писала: «Густой сплошной чёрный лес под ярко-красным куполом – так издали выглядит Марсово поле в день красного праздника. Знамёна, плакаты, штандарты образуют этот купол, нависший над головами чёрной массы»...

Сергею понравилось помещенное в газете стихотворение «крестьянского» поэта Орешина, фамилию которого он встречал всё чаще:

Недаром сердце стало молодо,
Недаром ветры пронеслись.
Степная ширь ножом распорота,
Горят останки синих риз.

Кафтан долой, лечу я по полю
На крыльях огненных времён.
По всем дорогам вдруг затопали,
Затопали со всех сторон...

Напечатался в газете «Дело народа» и Сергей Клычков, недавно вернувшийся из армии:

В далёком захолустье,
В краю родном весной
Иду я с прежней грустью
Опушкой лесной...
Вернулся я из битвы
И, горе позабыв,
Всё слушаю молитвы
Лесных печальниц-ив...
...И я в глуши полесной
Опять ищу в тиши
Увядший, но чудесный
Цветок моей души...

«...появился <Есенин> у нас в Обществе с Алексеем Ганиным, – вспоминала Мина Свирская. – Рассказывал, что уезжал куда-то... что жить им негде. Они пришли на Галерную, где помещался ЦК ПСР и к тому времени – уже редакция газеты «Дело народа». Иванов-Разумник их познакомил с Зинаидой Николаевной Райх. Она их устроила на ночь на стульях в большом зале...

...мы пошли туда втроём. Всегда, когда я приходила на Галерную, я первым делом заходила к Зине. При организации Общества распространения эсеровской литературы мы выбрали её <Зину> председателем. Практически она мало работала в Обществе, так как целый день работала техническим секретарём «Дело народа». Приходила в Общество только по вечерам. Выбрали мы её председателем потому, что она умела вести собрания и, как мы говорили, представлять. Чего мы по молодости лет и по неопытности не умели. И вот, когда я приходила на Галерную, у нас всегда находилось о чём поговорить. Я ей ещё раньше рассказала, как я познакомилась с Есениным. На этот раз она сказала: «Вот не знаю, куда твоего воображалу с Алёшей устроить. Эти великокняжеские стулья, обитые шёлком <редакция газеты помещалась на Галерной в особняке великого князя Кирилла Владимировича>, под ними разъезжаются».

Мы вернулись к Зинаиде и стали говорить о делах Общества. Какие-то представительские дела Зинаида брала на себя. И Ганин сказал: «Так Вы, оказывается, Зинаида Николаевна, нищая меценатка». Это прозвище за ней так и осталось».

Иванов-Разумник писал из Царского Села Андрею Белому: «Кланяются Вам Клюев и Есенин. Оба – в восторге, работают, пишут, выступают на митингах».

Редактируемая им газета «Дело народа» опубликовала впервые поэму Есенина «Ус», написанную ещё в Москве в 1914 году.

«В Общество распространения эсеровской литературы, – рассказывала Мина Свирская, – Есенин стал приходить почти каждый день. Он приходил всегда во второй половине дня. В лёгком пальтишке, в фетровой несколько помятой шляпе, молча протягивал нам руку, доставал из шкафа толстый том Щапова «История раскольнического движения» и усаживался читать. В нашем полуподвальном помещении всегда было холодно. Пальто он не снимал, воротник поднимал и глубже нахлобучивал шляпу. Позже приходил Ганин и тоже усаживался читать. Приходила Зинаида Николаевна. Обсудив текущие дела Общества, мы четверо отправлялись бродить по Петрограду.

Получалось так, что обычно мы с Сергеем шли впереди, а Зинаида с Алексеем сзади. Есенин всегда читал стихи, и свои, и чужие. Читал свои новые стихи, которые ещё не были опубликованы. Иногда раньше, чем начать читать какое-нибудь своё новое стихотворение, он шёл долго молча. Бывало, Ганин нас окликал. Он называл Сергея – Сергунька. Мы останавливались. Ждали, пока они подходили к нам. Ганин прочитывал строчки своих стихотворений в разных вариантах, советуясь с Есениным. Между ними начинался спор. Зинаида часто высказывала своё мнение. Спор у них иногда затягивался, и мы уходили с Зинаидой вперёд. Помню, они один раз долго спорили о выражении «небо озвездилось». В дальнейшем, когда у них спор затягивался, Зина говорила: «Опять началось «озвездилось», давай пойдём, они нас догонят». Иногда мы уходили далеко от них, и они нас не догоняли. Мы возвращались и заставляли их на том же месте – Ганин опершись на палку, а Есенин глубоко засунув руки в карманы и подняв плечи. В наши прогулки мы отправлялись в любую погоду. Иногда гуляли под петроградским мелким морозящим дождём, начинали зябнуть, заходили в какую-нибудь чайную, чтобы согреться горячим чаем, который нам подавали в двух пузатых чайниках».

О Зинаиде Николаевне Райх вспоминала её дочь Татьяна Сергеевна Есенина:

«Мать была южанкой <из Одессы>, но к моменту встречи с Есениным уже несколько лет жила в Петербурге, сама зарабатывала на жизнь, посещала Высшие женские курсы. Вопрос «кем быть?» не был ещё решён. Как девушка из рабочей семьи, она была собрана, чужда богеме и стремилась прежде всего к самостоятельности.

Дочь активного участника рабочего движения, она подумывала об общественной деятельности, среди её подруг были побывавшие в тюрьме и ссылке. Но в ней было и что-то мятущееся, был дар потрясаться явлениями искусства и поэзии. Какое-то время она брала уроки скульптуры. Читала

бездну. Одним из любимых её писателей был тогда Гамсун, что-то было близкое ей в странном чередовании сдержанности и порывов, свойственном его героям.

Она и всю жизнь потом, несмотря на занятость, много и жадно читала, а перечитывая «Войну и мир», кому-нибудь повторяла: «Ну как же это он умел превращать будни в сплошной праздник?»

Весной 1917 года Зинаида Николаевна жила в Петрограде одна, без родителей, работала секретарём-машинисткой в редакции газеты «Дело народа». Есенин печатался здесь. <...>

Зинаиде Николаевне было 22 года. Она была смешлива и жизнерадостна.

Есть снимок, датированный 9 января 1917 года. Она была женственна, классически безупречной красоты, но в семье, где она росла, было не принято говорить об этом, напротив, ей внушали, что девушки, с которыми она дружила, «в десять раз красивее».

«Милый Шура, – писал Клюев в Ташкент Александру Ширяевцу, – получил твою открытку. Верен тебе по-прежнему и люблю бесконечно. Умоляю не завидовать нашему положению в Петрограде. Кроме презрения или высокомерной милости мы ничего не видим от братьев образованных писателей и иже с ними. Христос с тобой, милый. Клюев».

Свою «Красную песню» Николай Клюев опубликовал в газете «Земля и воля» с подзаголовком «Русская Марсельеза» и подписью «Крестьянин»:

Распахнитесь, орлиные крылья,
Бей, набат и гремите грома, –
Оборвались цепи насилья,
И разрушена жизни тюрьма!

.....

За Землю, за Волю, за Хлеб трудовой
Идём мы на битву с врагами –
Довольно им властвовать нами!
На бой, на бой!..

Под заглавием было пояснение автора: «Эту песню можно петь, как Марсельезу».

5

Поэма Есенина «Товарищ» была напечатана в газете «Дело народа» 26 мая. Начав её почти прозаическим рассказом, Есенин говорит о революции, нарушившей мирную жизнь маленького Мартина, уже в ином ритме:

*Ревут валы,
Поёт гроза!
Из синей мглы
Горят глаза.*

*За взмахом взмах,
Над трупом труп;*

*Ломает страх
Свой крепкий зуб.*

*Всё взлёт и взлёт,
Всё крик и крик!
В бездонный рот
Бежит родник...*

Вениамин Левин, знавший Есенина с 1917 года, писал позже об этой поэме:

«...Но вот пришли февральско-мартовские ветры – революция. И отец Мартина был убит. Мальчик Мартин

*...Вбежал обратно в хату
И стал под образа.*

*«Исус, Исус, ты слышишь?
Ты видишь? Я один.
Тебя зовёт и кличет
Товарищ твой Мартин!*

*Отец лежит убитый,
Но он не пал, как трус.
Я слышу, он зовёт нас,
О верный мой Исус!..»*

И товарищ Мартина сошёл с иконы на землю, взял Мартина за руку и вышел с ним снова на улицу. Но...

*Залаял медный груз
И пал, сражённый пулей,
Младенец Исус.*

И тут у Есенина вырвались трагические слова, предвидящие судьбу России на много лет вперёд.

*Слушайте:
Больше нет воскресенья!
Тело Его предали погребенью:
Он лежит
На Марсовом
Поле.*

*А там, где осталась Мать,
Где ему не бывать
Боле,
Сидит у окошка
Старая кошка,
Ловит лапой луну...*

*Ползает Мартин по полу:
«Соколы вы мои, соколы,*

*В плену вы,
В плену!»
Голос его всё глуше, глуше,
Кто-то давит его, кто-то душит,
Палит огнем,*

*Но спокойно звенит
За окном,
То погаснув, то вспыхнув
Снова,
Железное
Слово:*

«Пре-эс-пуу-ублика!»

Только один Есенин заметил в февральские дни, что произошла не «великая бескровная революция», а началось время тёмное и трагическое, так как
*...пал сражѣнный пулей
Младенец Иисус.*

И эти трагические события, развиваясь, дошли до Октября. И в послеоктябрьский период образ Христа появляется снова у Блока в «Двенадцати», и Андрея Белого в поэме «Христос воскрес». Но впервые он в эту эпоху появился у Есенина в такой трактовке, к какой не привыкла наша мысль, мысль русской интеллигенции».

Этой весной дошло и до полного разрыва Есенина с либеральной печатью, не простившей ему «царскоесельского поведения». Стихи его в журнале «Северные записки» и некоторых других больше не появлялись.

Георгий Иванов рассказывал об этом: «Поздней осенью 1916 года вдруг распространился и потом подтвердился «чудовищный слух»: «наш» Есенин, «душка-Есенин», «прелестный мальчик» Есенин представлялся Александре Фёдоровне в царскоесельском дворце, читал ей стихи, просил и получил от императрицы разрешение посвятить ей целый цикл в своей новой книге!

Теперь даже трудно себе представить степень негодования, охватившего тогдашнюю «передовую общественность», когда обнаружилось, что «гнусный поступок» Есенина не выдумка, не «навет чёрной сотни», а непреложный факт. Бросились к Есенину за объяснениями. Он сперва отмалчивался. Потом признался. Потом взял свои признания обратно. Потом куда-то исчез – не то на фронт, не то в рязанскую деревню...

Возмущение вчерашним любимцем было огромно. Оно принимало порой комические формы. Так, С.И. Чацкина, очень богатая и ещё более передовая дама, всерьёз называвшая издаваемый ею журнал «Северные записки» «тараном искусства по царизму», на пышном приёме в своей гостеприимной квартире истерически рвала рукописи и письма Есенина, визжа: «Отогрели змею! Новый Распутин! Второй Протопопов!». Тщетно её более сдержанный супруг Я.Л. Сакер уговаривал расходившуюся меценатку не портить здоровью «из-за какого-то ренегата». <...>

Не произошли революции, двери большинства издательств России, притом самых богатых и влиятельных, были бы для Есенина навсегда закрыты. Таких «преступлений», как монархические чувства, русскому писателю либеральная общественность не прощала. Есенин не мог этого не понимать и, очевидно, сознательно шёл на разрыв. Каковы были планы и надежды, толкнувшие его на такой смелый шаг, неизвестно. Но, конечно, зря Есенин не стал бы так рисковать. Революция, разрушив эти загадочные расчёты Есенина, забавным образом освободила его и от неизбежных либеральных репрессий. Произошла забавная метаморфоза: всесильная оппозиция, свергнув монархию, превратившись из оппозиции во власть, неожиданно стала бессильной. «Соль земли русской» вдруг потеряла вкус... До революции, чтобы «выгнать из литературы» любого «отступника», достаточно было двух-трёх телефонных звонков «папы» Милюкова кому следует из редакционного кабинета «Речи». Дальше «машина общественного мнения» работала уже сама – автоматически и беспощадно. Но на Милюкова-министра и на всех остальных, недавних вершителей литературных судеб, превратившихся в сановников «великой, бескровной» – Есенину, как говорится, было «плевать с высокого дерева».

6

Рюрик Ивнев рассказывал: «Как-то мы шли с Есениным по Большому проспекту Петроградской стороны. Указывая глазами на огромные красивые афиши, возвещавшие о моей лекции в цирке «Модерн», он подмигнул мне и сказал: «Сознайся, тебе ведь нравится, когда твоё имя... раскатывается по городу?»».

Я грустно посмотрел на Есенина, как бы говоря: если друзья не понимают, тогда что уж скажут враги?

Он сжал мою руку:

– Не сердись, ведь я пошутил...

Спустя некоторое время я поделился с ним моими огорчениями, что мои друзья и знакомые отшатываются от меня за то, что я иду с большевиками. Вот, например, Владимир Гордин, редактор журнала «Вершины», любивший меня искренне и часто печатавший мои рассказы, подошёл ко мне недавно на лекции и сказал: «Так вот вы какой оказались. Одумайтесь, иначе погибнете!»

– А ты плюнь на него. Что тебе, детей с ним крестить что ли? Я сам бы читал лекции, если бы умел. Да вот не умею. Стихи могу, а лекции – нет.

Вдруг он громко рассмеялся:

– Вот Клюева вспомнил. Жаловался он мне, что народ его не понимает. Сам-де я из народа, а народ-то меня не понимает. А я ему на это: да ведь стихи-то твои ладаном пропахли. Больно часто ты таскал их по разным «церковным салонам».

– А он.

– Обозлился на меня страшно.

В другой раз Есенин рассказал мне о своей встрече с Георгием Ивановым:

– На улице. Подошёл ко мне первый. «Здравствуйте, Есенин». Губы поджал и прокартавил: «Слышали, ваш друг Ивнев записался в большевики? Ну что же, смена вех. Вчера футурист, сегодня – коммунист. Даже рифма получается. Правда, плохая, но всё же рифма...» Язвит, бесится. Я ему отвечаю: «Знаете что, Георгий Иванов, упаковывайте чемоданы и катитесь к чёртовой матери». И тут вспомнил слова Клюева и ляпнул: «Ваше времечко прошло, теперь наше времечко настало!» Он всё принял за чистую монету и отскочил от меня как ошпаренный кот».

Временное правительство издало специальное «Постановление о лицах, самовольно оставивших ряды войск и не явившихся в свои части к 15 мая 1917 года».

Чуть позже (5 июня) Временное правительство приняло и по телеграфу ввело в действие новое постановление об образовании особых судов по делам о задержанных дезертирах.

Поскольку Есенин имел прямое отношение к таким лицам, то решил на некоторое время исчезнуть из столицы.

«Дорогой Шура! – писал он Александру Ширяевцу. – Очень хотел приехать к тебе, под твоё бирюзовое небо, но за неимением времени и покачнувшемуся здоровью пришлось отложить».

Очень мне надо с тобой обо многом переговорить или списаться. Сейчас я уезжаю домой, а оттуда напишу тебе обстоятельно. Но впредь ты меня предупреди, получишь ли ты эту открытку».

Твой Сергей».

«ЗДРАВСТВУЙ, ОБНОВЛЁННЫЙ ОТЧАРЬ МОЙ, МУЖИК!»

1

С начала 1917 года Лидия Ивановна Кашина оставалась с детьми в имении, т. к. настроения в Москве были беспокойными.

Однако из её письма от 3 марта узнаём, что и «...здесь, в Константинове, в воскресенье, в усадьбу вломилось человек 30 ребят, под предводительством двух беглых солдат и потребовали они ключи, желая произвести обыск, чтобы открыть якобы спрятанные оружие и пулемёты. Так как их было много... то ключи им были даны, и они перерыли весь дом, всю усадьбу и вели себя вызывающе. Никакого оружия они, конечно, не нашли, но зато утащили у нас 2 четверти денатурированного спирта... К счастью нашему, они в тот же вечер спиртом этим перепились до невменяемости, перестреляли друг друга слегка, а на другое утро были взяты подоспевшими из Рязани солдатами; очевидно теперь будет спокойнее, хотя пойманы не все, кое-кто на свободе...»

В селе начались перебои с керосином и солью. Распределение керосина решалось на сельском сходе. Есенин присутствовал на этом собрании, т. к. первую половину марта 1917 года провёл в Константинове.

Сын Лидии Ивановны вспоминал: «Екатерина Ивановна, моя крёстная, вернувшись с собрания с возмущением сказала: «Там насчитали, что у нас 16 ламп!». Но когда мы стали их пересчитывать, то оказалось, что действительно – 16. Керосина же нам было выделено на 5 ламп. Но и в этом нам помог Сергей Есенин, сумевший убедить крестьян, что лампа нужна в каждой комнате. Мама была благодарна ему за это».

О приезде Сергея в начале лета рассказывала сестра Екатерина:

«Однажды за завтраком он сказал матери:

– Я еду сегодня на яр с барыней...

Мать ничего не сказала. День был до обеда чудесный. После обеда поползли тучи, и к вечеру поднялась страшная гроза. Буря ломала деревья, в избе стало совсем темно. Дождь широкой струёй хлестал по стёклам. Мать забеспокоилась. «Господи, – вырвалось у неё, – спаси его, батюшка Николай Угодник».

И, как нарочно, в этот момент послышалось за окнами: «Тонут! Помогите! Тонут!» Мать бросилась из избы. Мы остались вдвоём с Шурой. На душе было тревожно и страшно. Чтобы отвлечься, я стала сочинять стихи о Сергее и барыне:

Не к добру ветер свистал,
Он, наверно, вас искал,
Он, наверно, вас искал
Окол свешнековских скал.

Этой строфой начиналось и заканчивалось моё стихотворение.

Две соседние строфы говорили о том, что Бог послал нарочно бурю, чтобы разогнать Сергея и Кашину в разные стороны.

Мать вернулась сердитая. Оказалось, оборвался канат и паром понесло к шлюзам, где он мог разбиться о щиты. Паром спасли, Сергея на нём не было. Желая развеселить мать, я прочитала своё стихотворение. Оно ей понравилось.

Настала ночь. Мать несколько раз ходила на барский двор, но Кашина ещё не возвращалась. Мало того, кучер Иван, оказалось, вернулся с дороги и Сергей с барыней поехали вдвоём.

– Если бы Иван с ними был, мужик он опытный, всё бы спокойней было, – ворчала мать.

Поздно ночью вернулся Сергей.

Утром мать рассказала ему о моём стихотворении. Сергей смеялся, хвалил меня, а через несколько дней написал стихотворение, в котором он как бы отвечал на мои стихи:

*Не напрасно дули ветры,
Не напрасно шла гроза.
Кто-то тайный тихим светом
Напоил мои глаза...*

Мать больше не пробовала говорить о Кашиной с Сергеем. И когда маленькие дети Кашиной, мальчик и девочка, приносили Сергею букеты из роз, только качала головой».

Не зря говорил Есенин Мурашёву ещё после издания «Радуницы», что: «Надо приниматься за поэмы».

И вот уже опубликован «Товарищ», сдана в печать поэма «Певущий зов», а в родном селе в этот приезд была написана поэма «Отчарь», на рукописи которой Сергей отметил: «19–20 июня 1917 Константиново».

Есенин глубоко верил, что революция несёт обновление прежде всего крестьянину, мужику, и его грядущее отождествлял с мужичьим раем. Он и себя чувствовал сыном мужика-чудотворца, «широкоскулого и красноротого», принявшего в свои натруженные заскорузлые руки новый рождённый мир.

*Тучи – как озёра,
Месяц – рыжий гусь.
Пляшет перед взором
Буйственная Русь.*

*Дрогнул лес зелёный,
Закипел родник.
Здравствуй, обновлённый
Отчарь мой, мужик!*

*Голубые воды –
Твой покой и свет,
Гибельной свободы
В этом мире нет.*

.....

*О чудотворец!
Широкоскулый и красноротый,
Привявший в корузные руки
Младенца нежного, –
Укачай мою душу
На пальцах ног своих!..*

После опубликования этой поэмы Иванов-Разумник в своей статье «Две России» отмечал: «Всемирность русской революции – вот что пророчески предвидят народные поэты, и в этом их последняя, глубокая радость <...>. И русский народ идёт по всему миру с открытой душой и с благой вестью о всемирной свободе. <...> Удастся ли закинуть его <шар> в небо? поставить на столпы? – удастся или нет, лишь бы не уставала в нас воля к всемирности, лишь бы не изменяло нам сознание всечеловечности...».

Самый интересный отклик (в газете «Кавказское слово», Тифлис) касался стиля: бывший близкий друг Есенина Сергей Городецкий, прежде чем процитировать строки: «Укачай мою душу // На пальцах ног своих», сетовал: «Опять прежде всего бросается в глаза маяковщина, необузданный метафоризм. Я никогда не поверил бы, чтобы Сергей Есенин, птичка певчая, рязанский соловей, дописался до такой штуки... <...> Глазам не веришь, как обработали мальчика».

Не обошел поэму критикой в своей рубрике «Перья из хвоста» и журнал «Новый сатирикон»:

«Смеем уверить, что в качестве просьбы такое обращение, как «широкоскулый и красноротый», не принято даже среди трудового крестьянства. Ещё менее принято во всех слоях общества укачивать чужую душу, даже младенческую, на пальцах ног. У ног есть другое, более скромное назначение».

Сергей, как и обещал Ширяевцу, отправил ему обстоятельное откровенное письмо:

«1917. Июнь 24.

Хе-хе-хо, что же я скажу тебе, мой друг, когда на языке моём все слова пропали, как тепереинные рубли. Были и не были. Вблизи мы всегда что-нибудь, но уж обязательно съедем нехорошее, а вдали всё одинаково походит на прошедшее, а что прошло, то будет мило, ещё сто лет назад сказал Пушкин.

Бог с ними, этими питерскими литераторами, ругаются они, лгут друг на друга, но всё-таки они люди, и очень недурные внутри себя люди, а потому так и развинчены. Об отношениях их к нам судить нечего, они совсем с нами разные, и мне кажется, что сидят гораздо мельче нашей крестьянской купницы. Мы ведь скифы, приявшие глазами Андрея Рублёва Византию и писания Козьмы Индикоплова с поверием наших бабок, что земля на трёх китах стоит, а они все романы, брат, все западники, им нужна Америка, а нам в Жигулях песня да костёр Стеньки Разина. <...>

Да, брат, сближение наше с ними невозможно. Ведь даже самый лучший из них, Белинский, говоря о Кольцове, писал «мы», «самоучка», «низший слой» и др., а эти ещё дурее.

Но есть, брат, среди них один человек, перед которым я не лгал, не выдумывал себя и не подкладывал, как всем другим, это Разумник Иванов. Натура его глубокая и твёрдая, мыслью он прожжён, и вот у него-то я сам, сам Сергей Есенин, и отдыхаю, и вижу себя, и зажигаюсь об себя.

На остальных же просто смотреть не хочется, с ними нужно не сближаться, а обтёсывать, как какую-нибудь плоскую доску, и выводить на ней узоры, какие тебе хочется. Таков и Блок, таков Городецкий, и все и весь их легион. <...>

Я очень и очень был недоволен твоим приездом туда. Особенно твоими говореньями с Городецким. История с Блоком мне была передана Миролюбовым с большим возмущением, но ты должен был её так не оставлять и душой своей не раскошелиться перед ними. Хватит ли у них места вместить нас? Ведь они одним хвостом подавятся, а ты всё это делал. <...>

Мой план: обязательно этой осенью сделать несколько вечеров, а потом я выпускаю книгу в одном издательстве с платой по процентам и выпускаю сборник «пятерых» – тебя, меня, Ганина, Клюева и Клычкова. (О Клычкове поговорим ещё, он очень близок нам, и далёк по своим воззрениям). Но всё это выяснится совсем там, в сентябре.

Стихи посылай в «Скифы», новый сборник, и «Заветы» на имя Разумника Васильевича Иванова, Царское Село, Колпинская, 20. Это не редакция

там, а его квартира. Ему посылать лучше, он тебя знает, и я ему о тебе говорил. А пока всего тебе доброго.

Твой Сергей. Константиново».

3

События, состряпавшие Петроград в июне-июле 1917 года, следовали одно за другим: попытка большевистского вооружённого восстания против Временного правительства; создание командующими войсками Петроградского и Московского военных округов специальных Комиссий о дезертирах (вылавливать, конвоировать и отправлять на фронт); правительственный кризис и кровавые события начала июля.

Максим Горький (соредактор газеты «Новая жизнь») писал об этом в своей статье:

«На всю жизнь останутся в памяти отвратительные картины безумия, охватившего Петроград днем 4-го июля.

Вот, ошестившись винтовками и пулемётами, мчится, точно бешеная свинья, грузовик автомобиль, тесно набитый разношёрстными представителями «революционной армии», среди них стоит встрёпанный юноша и орёт истерически:

– Социальная революция, товарищи!

Какие-то люди, не успевшие потерять разум, безоружные, но спокойные, останавливают гремящее чудовище и разоружают его, выдёргивая щетину винтовок. Обезоруженные солдаты и матросы смешиваются с толпой, исчезают в ней; нелепая телега, опустев, грузно прыгает по избитой, грязной мостовой и тоже исчезает, точно кошмар.

И ясно, что этот устрашающий выезд «социальной революции» затеян кем-то наспех, необдуманно и что – глупость имя силы, которая вытолкнула на улицу вооружённых до зубов людей.

Вдруг где-то щёлкает выстрел, и сотни людей судорожно разлетаются во все стороны, гонимые страхом, как сухие листья вихрем, валятся на землю, сбивая с ног друг друга, визжат и кричат:

– Буржуи стреляют!..

Я не впервые видел панику толпы, это всегда противно, но никогда не испытывал я такого удручающего, убийственного впечатления.

Вот это и есть тот самый «свободный» русский народ, который за час перед тем, как испугаться самого себя, «отрекался от старого мира» и отрясал «его прах» с ног своих? Это солдаты революционной армии разбежались от своих же пуль, побросав винтовки и прижимаясь к тротуару?

Этот народ должен много потрудиться для того, чтобы приобрести сознание своей личности, своего человеческого достоинства, этот народ должен быть прокалён и очищен от рабства, вскормлённого в нём, медленным огнём культуры. <...>

Если революция не способна тотчас же развить в стране напряжённое культурное строительство, – тогда, с моей точки зрения, революция бесплодна, не имеет смысла, а мы – народ, неспособный к жизни.

Прочитав вышеизложенное, различные бесстыдники, конечно, не преминут радостно завопить:

– А о роли ленинцев в событиях 4 июля – ни слова не сказано, ага! Вот оно где, лицемерие!

Я – не сыщик, я не знаю, кто из людей наиболее повинен в мерзостной драме. Я не намерен оправдывать авантюристов, мне ненавистны и противны люди, возбуждающие тёмные инстинкты масс, какие бы имена эти люди ни носили и как бы ни были солидны в прошлом их заслуги перед Россией».

7 июля Временным правительством был издан указ об аресте и привлечении к суду Ленина.

12 июля на фронте была введена смертная казнь и учреждены «военно-революционные» суды.

Вернувшись в середине июля в Петроград, Есенин очутился в той же обстановке, с которой расстался полтора месяца назад: редакция «Дело народа» с Ивановым-Разумником, Общество по распространению эсеровской литературы, Ганин, Мина Свирская, Зинаида Райх...

«Летом мы поехали в Павловск на концерт, – рассказывала Мина Свирская. – Мы опоздали. С трудом протискивались в зал, где яблоку упасть было негде. Есенин прокладывал нам в толпе дорогу, и мы в конце концов оказались у самой сцены. После выступлений Каракаша и Петренко мы больше оставаться не хотели и направились к выходу. Обратный путь из зала был легче. Мы гуляли по парку. Возвращались в почти пустом вагоне. <...> Ганин читал стихи. Прочёл своё стихотворение «Русалка», которое посвятил «З. Р.» <Зинаиде Райх>:

Русалка – зелёные косы,
Не бойся испуганных глаз,
На сером оглохшем утёсе
Продли нецелованный час.

Я понял, – мне сердце пророчит,
Что сгинут за сказками сны,
Пройдут синеглазые Ночи,
Уснут златокудрые Дни.

И снова уйдёшь ты далече,
В лазурное море уйдёшь,
И память о северной встрече
По белой волне расплеснёшь...

...Из сердца свирель золотую
Я выкую в синей тоске
И песнь про тебя забытую
Сплету на холодном песке.

.....

Замутится небо играя,
И песню повторит вода,
Но ветер шепнёт умирая:
Она не придёт никогда.

Она далеко, – не услышит,
Услышит, – забудет скорей;
Ей сказками на сердце дышит
Разбойник с кудрявых полей...

Мне это стихотворение очень понравилось, и он нам читал его несколько раз. Есенин достал листок бумаги и стал быстро писать карандашом. Потом прочёл написанное. Было оно посвящено «М. С.» <Мине Свирской>. В нём было два четверостишия. Павловский парк превратился в берёзовую рощу, мои коротко остриженные и всегда растрёпанные волосы сравнивались с веточками берёз. Тогда он это стихотворение мне не дал; положил его к себе в карман. Зинаида же сказала: «Будешь теперь причёсываться». У Зинаиды Николаевны были тогда две косы, уложенные вокруг головы. В стихотворении <Ганина> были «русалочьи косы». Очень потёртый, пожелтевший листок бумаги Зинаида показала мне много лет спустя.

Стихотворение же, которое написал Есенин, он принёс мне через несколько дней в Общество. В нём были отдельные слова перечёркнуты и написаны по-новому».

Интересно отметить, что в Павловск к своему наставнику поэту Михаилу Кузмину часто приезжал Лёня Каннегисер. Как и Есенин, Февральскую революцию он встретил восторженно. Будучи романтичным, горячо мечтавшим о подвиге, именно здесь около месяца назад написал он своё стихотворение:

На солнце сверкая штыками, –
Пехота. За ней, в глубине, –
Донцы-казаки. Пред полками
Керенский на белом коне.
Он поднял усталые веки,
Он речь говорит. Тишина.
О, голос – запомнить навеки:
Россия. Свобода. Война...
...И если, шатаясь от боли,
К тебе припаду я, о мать! –
И буду в покинутом поле
С простреленной грудью лежать,
Тогда у блаженного входа,
В предсмертном и радостном сне
Я вспомню – Россия. Свобода.
Керенский на белом коне.

«Летом 17-го года, – вспоминала Мина Свирская, – вбежал в Общество Есенин: «Мина, едемте с нами на Соловки. Мы с Алёшей едем». Это было очень неожиданно и в обстановке, в которой я жила, похоже на шутку. В Обществе работала старая эсерка Софья Карклеазовна Макаева. Женщина резкая, но относившаяся к нам – молодёжи – хорошо, любившая и подшутить над нами. И тут не упустила, чтобы не посмеяться над «фантастическими глупостями», которые во время подготовки к выборам в Учредительное собрание могут прийти в голову только бездельникам. Как и очень часто, мне нужно было на Галерную. Есенин пошёл со мной. Придя к Зинаиде, я ей тут же рассказала, что Сергей с Алёшей собрались на Соловки и Сергей пришёл звать меня. Она вскочила, захлопала в ладоши – «Ох, как интересно! Я поеду. Сейчас пойду отпрашиваться к Серёженьке!» – так мы называли за глаза Сергея Порфирьевича Постникова, секретаря газеты «Дело народа», непосредственного начальника Зинаиды. Она убежала, быстро вернулась очень довольная, завертелась по комнате, приговаривая: «Серёженька меня отпустил». Вдвоём они стали меня уговаривать ехать с ними. Возбуждение Зинаиды Николаевны, может быть, на какое-то мгновение передалось мне. Но я не могла себе представить, что имею право бросить работу в Обществе, которой в то время, в связи с выборами в Учредительное собрание, было много. Сергей и Зинаида начали обсуждать подробности поездки. Помню, что Сергей с Алёшей должны были выехать раньше, а Зинаида где-то к ним присоединиться. Как оказалось, ни у Сергея, ни у Алёши почти не было денег. У Зинаиды была какая-то заветная сумма, которую она предложила на поездку. Я ушла. Сергей остался на Галерной. Больше ничего об их отъезде вспомнить не могу.

Некоторое время спустя в Общество пришёл Гаврила Андреевич Билима-Пастернак и рассказал, что ездил в Архангельскую область по выборам в Учредительное собрание и на пароходе в Белом море встретил их троих».

Алексей Ганин вместе с Есениным и Райх заехали вначале в родную деревеньку Ганиных – Коншино, возле Вологды. Об их семье и приезде петроградских гостей рассказала старшая сестра Алексея Елена Алексеевна:

«...Всего-то нас было пять сестёр да два брата... Родительский дом у нас был обшитый, родители добротой славились. Попрошайки, бывало, придут, кто в деревне ночевать пустит? Ганины! Отец всех нищих за стол сажал. «Ешьте, пейте...»

Работящий был. Ставил печки, сеял коноплю, вил верёвки, кожу выделывал, сапоги шил, корыта из осины долбил. Земли-то было мало... А мать была хорошая плетёя, кружева плела на семьдесят пар на продажу. Нитки ей давали заборщики, а потом забирали. Косынки плела из чёрных шёлковых ниток. И меня научила...

А про Алёшу что ещё сказать? Стихи он писать начал рано, когда я ещё была маленькая... Стихи про деда Степана помню...

Дом-то у нас был с мезонином – перед окнами росли яблони, черёмуха. У Алексея была в мезонине библиотека...

Помню, как Есенин и Райх и с братом приезжали к нам... Приехали, когда рожь клонилась, стучатся в наш дом: «Хозяюшка, нельзя ли переночевать?» А мать в ответ: «Сейчас скажу отцу, он пустит!» Брат рассмеялся – мать его и признала. Вошли... Утром, я помню, жду не дождусь, когда проснутся. Как раз они на праздник попали после Петрова дня – на престольный праздник нашей деревни... Помню Райх – в белой блестящей кофте, в чёрной широкой шуршащей юбке. Весёлая... А Есенин хорошо играл на хромке – подарил её Фёдору, хромка с зелёными мехами...

Фёдор на ней играл и частушки сочинял:

Эх вы сени мои, сени,
не сплясать ли трепака?
Может быть Сергей Есенин
даст нам кружку молока...

Ну, сразу смех: озорные девчата окружили Есенина, потребовали по кружке молока, и поэт движением руки отправил насмешниц к хозяйке дома, к нашей матери».

В путешествие на Север отправились через Вологду, но, не доезжая до неё, ещё «...в поезде, – передавала рассказ Зинаиды Райх её дочь, Татьяна Сергеевна, – Сергей Александрович сделал матери предложение, сказав громким шепотом:

– Я хочу на вас жениться.

Ответ: «Дайте мне подумать» – его немного рассердил. Решено было венчаться немедленно. Все четверо сошли в Вологде. Денег ни у кого не было. В ответ на телеграмму «Вышли сто, венчаюсь» – их выслал из Орла, не требуя объяснений, отец Зинаиды Николаевны. Купили обручальные кольца, нарядили невесту. На букет, который жениху надлежало преподнести невесте, денег уже не было. Есенин нарвал букет полевых цветов по пути в церковь – на улицах всюду пробивалась трава, перед церковью была целая лужайка».

Венчание состоялось в воскресенье 30 июля в церкви святых Кирика и Иулитты близ Вологды.

5

В архивах сохранилось полторы страницы плана, по которому Зинаида Николаевна Райх собиралась писать свои воспоминания. Пояснения к первым пунктам этого плана оставила Татьяна Сергеевна Есенина:

«1. В деревне – пруд – рыбы не поймали тема.

2. Горелки – за то что девочкой неловкой предстала.

Вижу, что Зинаида Николаевна собиралась начать воспоминания с описания загородной поездки, состоявшейся в один из весенних дней 1917 года. В компании молодёжи мои будущие родители провели воскресный день где-то поблизости от Питера (название деревни мама не упомянула). Это был не день знакомства, первая встреча произошла несколько раньше, когда Есенин пришёл в редакцию петроградской газеты «Дело народа», где он иногда печатался, и, в ожидании редактора, разговорился с секретарём-машинисткой. Девушка лю-

била поэзию, знала его стихи, от таких строк как «Но и я кого-нибудь зарежу, под осенний свист», у неё дыхание перехватывало. Он неохотно оторвался от разговора, когда наконец пришёл редактор. Потом были ещё две-три встречи, на людях, они закрепили знакомство, но не больше. Поворотным, определившим будущие отношения, был день в деревне. После того как они поженились, отец подарил матери свою фотографию (вернее, это половина снимка 1916 года, где отец сидит за столом вместе со своим приятелем Мурашёвым) с надписью: «*За то, что девочкой неловкой предстала ты мне на пути моём*». Мама объяснила мне, что девочкой неловкой она «предстала» в деревне, когда играла в горелки.

– Не знаю, что со мной тогда было – я всё время спотыкалась и падала, надо мной смеялись. <...>

В плане некоторые события не упомянуты, нет, например, ни слова о свадьбе в Вологде, а она была так неожиданна и необычна. Видимо, мать не всё упомянула из того, о чём она и без плана не забыла бы написать.

В одном из первых пунктов она могла бы упомянуть, что ещё до знакомства с Есениным у неё появился жених, – это многим было известно. Кто он, не знаю. Она дала согласие, но сроки свадьбы не оговаривались. Судя по её словам, человек был достойный, плохо было лишь то, что с каждым днём ей всё меньше хотелось выйти за него замуж.

3. Белое море – Соловки, рыбачка, чайка, стихи Ганина

4. Болезнь, больница, Разумник Вас, отпуск

Здесь уже проявился «хронологический беспорядок». Четвёртый пункт должен был бы стоять раньше третьего.

О том, что ещё до замужества она однажды навестила отца в больнице, мать говорила не раз, но речь шла не о болезни, которая, вероятно, не была серьёзной. Она пришла к нему с букетом душистых цветов, а он, взглянув на них с сожалением, сказал:

– Напрасно вы это, ведь я не чувствую запахов.

Она так и считала, что он был лишен обоняния. В стихах его запахи слышатся. Но это в стихах. Память на запахи у человека очень сильна. Обоняние нередко слабеет из-за простуд, курения. Он тогда уже много курил. <...>

Отпуск мама брала в редакции перед поездкой на Север. О красоте холодного Белого моря она, родившаяся у берегов тёплого Чёрного моря, говорила нередко, иногда добавляя, что видела его «вместе с Сергеем»...»

О путешествии на Север Есенина, Ганина и Райх существует несколько версий, наиболее вероятной из которых кажется следующая: прибыв в Архангельск, они выехали пароходом по Кандалакшской линии до Ковды, где пересели на пароход Кемской линии, посетили Соловки и возвратились в Архангельск.

Затем по Мурманской линии отправились в Печенгу (северо-западнее Мурманска – тогда Романова-на-Мурмане). Осмотрев Печенгский монастырь, обратным рейсом этого парохода они вернулись в Архангельск.

В Петрограде после своего свадебного путешествия «молодые» появились в середине августа.

«Я, БРАТ, ЖЕНУ ЛЮБЛЮ!»

1

«Вернувшись в Петроград, – рассказывала Татьяна Сергеевна о своих родителях, – они некоторое время жили врозь, и это не получилось само собой, а было чем-то вроде дани благодарности. Всё-таки они стали мужем и женой, не успев опомниться и представить себе хотя бы на минуту, как сложится их совместная жизнь. Договорились поэтому друг другу «не мешать».

Зинаида Райх жила на 8-й Рождественской улице – на «Песках» (как говорили тогда), а Есенин временно приютился на Литейном проспекте, 49, в «Коммуне газетчиков», где иногда ночевал с ним и Ганин.

Мина Свирская писала: «...помню, что кто-то пришёл и сказал, что был на Галерной и что Зинаида Николаевна вернулась. Я тут же пошла туда. Она писала какую-то служебную бумагу и сказала: «Сейчас допишу». Она дописала и повернула в мою сторону написанную бумагу, указывая на свою подпись: Райх-Есенина. – «Знаешь, нас с Сергеем на Соловках попик обвенчал», – сказала она. Мне не было ещё и семнадцати лет, сосредоточиться на этом событии я не умела и не задавала никаких вопросов. Зинаида сама стала рассказывать. Ей казалось, что если она выйдет замуж, то выйдет за Алексея <Ганина>. Что с Сергеем её связывают чисто дружеские отношения. <...> Ни Сергей, ни Алексей мне об этом ничего не рассказывали.

Алёша стал приходиться в Общество часто. Сергей реже, чем раньше. Зинаида стала приходиться совсем редко».

Получив гонорар за стихи, напечатанные в первом сборнике «Скифы», Есенин принёс Иванову-Разумнику в редакцию свои произведения для второго сборника. Особо значимым для Сергея среди сданных стихотворений было «Николаю Клюеву», с эпиграфом:

«Я верю: под одной звездой
С тобой мы были рождены.
М. Л».

<изменённые строки из стихотворения М.Ю. Лермонтова>.

*О Русь, взмахни крылами,
Поставь иную крепь!
С иными именами
Встаёт иная степь.*

*По голубой долине,
Меж тёлочек и коров,
Идёт в золотой ряднине
Твой Алексей Кольцов.*

*В руках – краюха хлеба,
Уста – вишнёвый сок.
И вызвездило небо
Пастушеский рожок.*

*За ним, с снегов и ветра,
Из монастырских врат,
Идёт одетый светом
Его середний брат.*

*От Вытегры до Шуи
Он избраздил весь край
И выбрал кличку – Клюев,
Смирный Миколай.*

*Монашья мудр и ласков,
Он весь в резьбе молвы,
И тихо сходит пасха
С бескудрой головы.*

*А там, за взгорьем смолым,
Иду, тропу тая,
Кудрявый и весёлый,
Такой разбойный я.*

*Долга, крута дорога,
Несчётны склоны гор;
Но даже с тайной Бога
Веду я тайно спор...*

«Средний» брат Есенина – Николай Клюев, покинул Петроград и вновь жил в Олонецкой губернии.

2

После большого перерыва Есенин встретился с давним другом Володей Чернявским. Как рассказывал тот:

«...Сергей жил ещё в доме № 49 близ Симеоновской, куда и повёл меня за собой. Там в общей столовой, похожей на склад литературы, сидели за чаем, видимо, партийно связанные друг с другом жильцы с типичной наружностью работников печати, недавних подпольщиков. Кажется, Сергей говорил мне о своей причастности к партии левых с.-р., но, вероятно, мне и тогда подумалось, что прямого участия в политической работе он не принимал. В первый раз я видел его в таком кругу: его золотая голова поэта и широкая улыбка сияли среди чёрных блуз и угрюмых глаз, глядящих из-за очков.

Но была в нём большая перемена. Он казался мужественнее, выпрямлённее, взволнованно-серьёзное. Ничто больше не вызывало его на лукавство, никто не рассматривал его в лорнет, он сам перестал смотреть людям в глаза с пытливостью и осторожностью. Хлёткий сквозняк революции и поворот в личной жизни освободили в нём новые энергии».

Эти «энергии» искали выход и обрушивались на головы читателей, часто недоумевающих, новыми «революционными» поэмами:

Его поэм и стихов ждали. 6 сентября Иванов-Разумник писал Андрею Белому: «Ах, если бы Вы приехали: мы проредактировали бы вместе «Скифы» II, подобрали бы к нему Клюева, Есенина, обсудили бы план «Скифа» III-го».

В сентябре Сергей и Зинаида ездили в Орёл к родителям Зинаиды Николаевны. Её отец Август Райх (родом из Силезии) вырос в обрусевшей семье. В 29 лет он перешёл из лютеранства в Православие, переименовав при крещении имя на Николая Андреевича, чтобы жениться на русской бесприданнице из оскудевшей дворянской семьи Анне Ивановне Викторовой. Был квалифицированным слесарем, активно участвовал в рабочем движении. После 1905 года был выслан вместе с семьёй из Одессы в Бендеры.

В Орле в доме на улице Кромской и произошла встреча Есенина с семейством Райх, запись о которой со слов деда оставил Константин Сергеевич Есенин:

«Довольно забавен был рассказ деда, отца матери, о её замужестве. В тихий Орел, где тогда жили родители матери, в грозное лето 1917 года пришла телеграмма: «Выхожу замуж, вышли сто. Зинаида». Отец и мать, незадолго до этого познакомившиеся, отправились в путешествие. Им тогда было двадцать два и двадцать три года. Даже неполных. «В конце лета приехали в Орёл трое, – рассказывал дед, – Зинаида с мужем и какой-то белобрысый паренёк. Муж – высокий, темноволосый, солидный, серьёзный. Ну, конечно, устроили небольшой пир. Время трудное было. Посидели, попили, поговорили. Ночь подошла. Молодым я комнату отвёл. Гляжу, а Зинаида не к мужу, а к белобрысенькому подходит. Я ничего не понимаю. Она с ним вдвоём идёт в отведённую комнату. Тогда только и сообразил, что муж-то – белобрысенский. А второй – это его приятель, и мне его ещё устраивать надо». Дед, как все деды, любил солидность и основательность. Мальчишеский вид Сергея Александровича его обескуражил».

После возвращения из Орла молодая семья обзавелась квартирой. В доме № 33 по Литейному проспекту они сняли на втором этаже две комнаты с мебелью, окнами на двор.

Как вспоминала Татьяна Сергеевна: «...они вскоре поселились вместе, больше того, отец пожелал, чтобы Зинаида Николаевна оставила работу, пришёл вместе с ней в редакцию и заявил:

– Больше она у вас работать не будет.

Мать всему подчинилась. Ей хотелось иметь семью, мужа, детей. Она была хозяйственна и энергична.

Душа Зинаиды Николаевны была открыта навстречу людям. Помню её внимательные, всё замечающие и всё понимающие глаза, её постоянную готовность сделать или сказать приятное, найти какие-то свои, особые слова для поощрения, и если они не находились – улыбка, голос, всё её существо договаривали то, что она хотела выразить».

В петроградских газетах и журналах изредка мелькали стихотворения поэта Петра Орешина. Особенно запомнилось Есенину одно из них, напечатанное в «Ежемесячном журнале» ещё в 1916 году:

Тяжка вернётся на зорьке,
 Весело будет в избе...
 Будет с усмешкою горькой
 Он говорить о себе.
 Выставит ногу-обрубок
 Жаркому дню напоказ...
 В хате натопленной любо
 Слушать диковинный сказ.
 Будет охотно дивиться
 Жутким рассказам народ...
 Только жены белолицей
 Грусти никто не поймёт.

Пётр Васильевич Орешин родился в Саратове, куда уехал с семьёй на заработки его отец, бросив полунищенское крестьянское хозяйство в селе Галахове. Раннее детство прошло в деревне у деда. Орешин окончил с «первой наградой» начальную школу, но после трёх лет учёбы в Саратовском четырёхклассном училище, из-за недостатка средств, родители отправили его на работу – «в люди».

Первые стихи Орешина были напечатаны в саратовской газете в 1911 году, но литературная деятельность началась с 1913 года, когда он переехал в Петербург. Рядовым солдатом маршевой роты участвовал Орешин в войне, получив за храбрость в боях два «Георгия».

Только осенью 1917 года встретился Есенин с 30-летним Орешиним, который рассказывал:

«Часов около девяти вечера слышу – кто-то за дверью спрашивает меня. Дверь без предупреждения открывается, и входит Есенин.

Было это в семнадцатом году, осенью, в Петрограде, когда в воздухе уже пахивало Октябрём. Я сидел за самоваром, дописывал какое-то стихотворение. Есенин подошёл ко мне, и мы поцеловались. На нем был серый с иголки костюм, белый воротничок и галстук синего цвета. Довольно щёгольский вид. Спрашивает улыбаясь:

– С Клюевым ты как... знаком?

– Нет.

– А с Городецким? А с Блоком?

– Нет.

Попросил чаю.

– Вот чудак! А ведь Блок и Клюев... хорошие ребята!.. Зря ты так, в стороне...

Засунул обе руки в карманы, прошёлся по большой комнате, по ковру, и тут я впервые увидел «лёгкую походку» – есенинскую. Никто так легко не умел ходить, как Есенин, и в первые дни нашего знакомства мне всё казалось, что у него ноги длиннее, чем следует. На цветистом ковре, под элект-

рической лампочкой, в прекрасно шитом костюме, Есенин больше походил на изящного джентльмена, чем на крестьянского поэта, воспевающего тальянку и клюевскую хату, где «из углов щенки кудлатые заползают в хомуты». Потом поглядел на меня так, поглядел этак и сел за стол:

– А Клычкова знаешь?

– И Клычкова не знаю.

– Ну, ладно... я не за тем пришёл... Это я так... Хорошая у тебя комната!..

А Ширяевца знаешь?

– Никогда не видал.

Смеётся:

– Вот чудак!

Поглядел я на него: хорошо! Свежее юношеское лицо, светлый пушок над губами, синие глаза и кудри – всё то, о чём потом все мы читали в его позднейших стихах: «Я сыграю на тальяночке про синие глаза», которые «Кто-то тайный тихим светом напоил», о которых говорил он в последние годы: «Были синие глаза, да теперь поблекли». Ему всего двадцать два года, от всей его стройной фигуры веяло уверенностью и физической силой, и по его лицу нежно светилась его розовая молодость: «Глупое, милое счастье, свежая розовость щёк». Если бы я не видел его воочию, я никогда не поверил бы, что «свет от розовой иконы на золотых моих ресницах» написано им про самого себя.

А когда он встряхивал головой или менял положение головы, я не мог не сказать ему, что у него хорошие волосы, и опять он вместо ответа улыбнулся и заговорил о стихах. После я понял эту его улыбку, которая говорила: «А ты думаешь, я не знаю, что хорошо и что плохо... отлично знаю!» И действительно, разве мы не читали потом: «старый клён головой на меня похож», «ах, увял головы моей куст», или «тех волос золотое сено превращается в серый цвет», или «запрокинулась и отяжелела золотая моя голова».

В комнате было холодно, пришлось подогреть самовар и достать из-за гардины с подоконника припасённую колбасу и хлеб. За окном висел густой петроградский туман. Я сидел на диване. Есенин под электрической лампочкой на середине комнаты читал стихи, взмахивая руками и поднимаясь на цыпочки.

*Но вот под тесовым
Окном –
Два ветра взмахнули
Крылом;
То с вешнею полымью
Вод
Взметнулся российский
Народ.*

Голос его гремел по всей квартире, жёлтые кудри стряхивались на лицо. Гляжу: дверь слегка приоткрывается... Что такое? Оказывается, вся хозяйская семья, человек шесть, кроме ребят, столпились возле двери – послушать Есенина. Читка его в те времена была ещё не такая роскошная, какую мы

слышали позже, но уже и тогда он умел отточить каждое слово, оттенить каждый образ и приковать к себе внимание слушателей. По крайней мере, хозяйская семья, толпившаяся за дверью, потом уже вся постепенно влезла в комнату и простояла около часа, пока Есенин не кончил читать. Окончив чтение, Есенин сел на стул и вздёрнул на коленях отлично выутюженные брюки, и вопросительно прищурил глаза.

– Очень хорошо! – сказал я.

От всей моей колбасы и от всего моего самовара через каких-нибудь два-три часа ничего не осталось. За эти два-три часа мы перевероростили всю современную литературу, основательно промыли ей кости и нахохотались до слёз.

– Вот дураки! – захлёбываясь, хохотал Есенин. – Они думали, мы лыком шиты... Ведь Клюев-то, знаешь... я неграмотный, говорит! Через ó... неграмотный! Это в салоне-то... А думаешь, я не чудил? А поддёрка-то зачем?.. Хрестьянские, мол!.. Хотя, знаешь, я от Клюева ужожу... Вот лысый чёрт! Революция, а он «избьяные песни»... На-ка-за-ние! Совсем старик отяжелел. А поэт огромный! Ну, только не по пути... – И вдруг весело и громко, на всю квартиру: – А знаешь... мы ещё и Блоку и Белому загнём салазки! <...>

В комнате стоял густой и душный табак. Ночь затянулась, и первое наше знакомство сразу перешло в дружбу. Есенин уже готов был сидеть хоть до утра. Задорный смех и гневные вспышки в сторону «современных старцев» в литературе меняли Есенина: в одну и ту же минуту Есенин был грозен и прекрасен своей неподражаемой смешливой юностью. <...>

Было около четырёх часов утра, когда мы разошлись. Есенин надел меховой пиджак и шляпу. Я предложил ему заночевать у меня, но он отказался.

– А жену кому? Я, брат, жену люблю! Приходи к нам... Да вообще... так нельзя... в одиночку!

После этого вечера мы виделись часто и подолгу».

4

«Приближался день рождения Сергея, – вспоминала Мина Свирская, – Зинаида просила меня прийти. Сказала, что будет только несколько человек – закуски ведь будет очень мало. Я пришла. Электричество не горело. На столе стояла маленькая керосиновая лампа, несколько свечей. Несколько бутылок и какая-то закуска. По тем временам стол выглядел празднично. Были... Ганин, Иванов-Разумник, Пётр Орешин и ещё кто-то, но не вспомню. Было очень оживлённо и весело. Есенин настоял, чтобы я с ним и с Алёшей выпила на брудершафт. Мы выпили. Ганин стал придумывать для меня штраф, если я буду сбиваться с «ты» на «вы». Вдруг Есенин встал, взял со стола одну свечу и потянул меня за руку: «Идём со мной, мы сейчас вернёмся». Я встала и пошла за ним в их комнату. Есенин сел за стол и показал мне рукой на второй стул у стола. Я села. Он стал писать.

– Серёжа, я пойду.

– Нет, нет, я сейчас, сейчас.

Дописав, он прочёл мне следующее стихотворение. Хорошо помню, что в нём было пять четверостиший, но пятое вспомнить не могу.

Мине

*От берегов, где просинь
Душистей, чем вода,
Я двадцать третью осень
Пришёл встречать сюда.
Я вижу сонмы ликов
И смех их за вином,
Но журавлиных криков
Не слышу за окном.*

*О, радостная Мина,
Я так же, как и ты,
Влюблён в мои долины
Как в детские мечты.
Но тяжелее чарку
Я подношу к губам
Как нищий злато в сумку,
С слезою пополам.*

– Серёжа, почему ты написал, что влюблен так же, как я? Ведь ты меня научил любить. – Он ничего не ответил. Держа свечу в одной руке и листок со стихотворением в другой, вышел из комнаты. Я пошла за ним. Он прочёл стихотворение присутствующим и отдал его мне. <...>

5

«Мир Вам и крепость, возлюбленный Михаил Васильевич! – писал из Олонии Клюев своему издателю Аверьянову. – Присылаю Вам «Песнослов» в окончательном виде и буду ждать издания в радости, с уверенностью во внешности его соответствующей содержанию. <...>

Живу я в большом сиротстве, в неугасимой душевной муке, в воздыханиях и молитвах о мире всего Мира, об упокоении всех убиенных, в том числе об одном известном Вам младенце, жизнь которого и торжество так дороги и насущны мне. Но чего не сделает человек, когда покидает его Ангел? Верую, что младенцы, пожранные Железом, будут в Царстве и наследуют Жизнь вечную. Это меня утешает, хоть и плачет Золотая Рязань..»

Так иносказательно Николай Клюев пишет про Есенина – «младенца, пожранного Железом», которого «покинул Ангел». Под Железом подразумевается Город – «железногрудый Питер». Больно задела Клюева и желание Есенина освободиться от его опеки, и даже женитьба на Зинаиде Райх.

В эти же дни Клюев выслал Миролюбову свои стихи, говорящие о размовке с Есениным.

В стихотворении «Ёлушка-сестрица» Клюев жаловался, что Есенин охладил к нему и предательски «убил», как некогда Годунов царевича Димитрия.

*У тебя, государь, новое ожерельице...
Слова убийц св. Димитрия-царевича*

*Ёлушка-сестрица,
Берёзка-голубица,*

Я пришёл до вас:
Белый цвет Серёжа,
С Китоврасом схожий,
Разлюбил мой сказ!

Он пришелец дальний,
Серафим опальный,
Руки – свитки крыл.
Как к причастью звоны,
Мамины иконы,
Я его любил.

И в дали предвечной,
Светлый, трёхвенечный,
Мной провиден он.
Пусть я некрасивый,
Хворый и плешивый,
Но душа как сон.

.....
Тяжко, светик, тяжко!
Вся в крови рубашка...
Где ты, Углич мой?..
Жертва Годунова,
Я в глуши еловой
Восприму покой.

Буду в хвойной митре,
Убиенный Митрий,
Почивать, забыт..
Грянет час вселенский,
И собор Успенский
Сказку приютит.

Александр Ширяевец воспевал Февральскую революцию из далёкого Ташкента. В стихотворении, напечатанном в петроградском «Журнале для всех», своего Стеньку Разина он привёл на берега Невы:

Всколыхался ярко-красен
Стяг восставших за народ.
– Нет, не умер Стенька Разин,
Снова, грозный, он идёт!
Не у Волжского кургана
Встал он с вольницей своей, –
Потянуло атамана
На Неву, к дворцам царей..
«Что народ морочить зря-то!
Ой, давно сюда я рвусь!

Приналягте-ка, ребята –
Перепахла немцем Русь!»...

Восстановились отношения Есенина с Рюриком Ивневым:

«В этот период я начал встречаться с Есениным чаще. Познакомился с его первой женой З.Н. Райх. Жили они в ту пору на Литейном проспекте, у них было две комнаты, – одна, как сейчас помню, громадная, в три окна, другая маленькая, спальня. Мне было странно видеть Есенина «женатым». Когда мы сиживали у них за чайным столом, стоило З. Н. выйти куда-нибудь на минуту из комнаты, как он, шутя, подмигивая мне, говорил:

– Вот видишь, я теперь женат. Ну, как, нравится тебе моя жена? Да ты говори, не стесняйся – может быть не нравится, а?

Когда приходила З.Н., делал серьезное лицо и говорил:

– Вот, Рюрика хочу женить. Пора ему».

О спокойной жизни молодой семьи Есениных рассказывала и Татьяна Сергеевна:

«Принимали гостей, сами ходили в гости. Жизнь была совершенно трезвая, но для гостей вино в доме держали. Как-то З. Н. наняла подводу – надо было что-то привезти, потом позвала возчика в квартиру погреться, усадила, поднесла рюмку красного вина. Он вытер губы и вздохнул: – Беленького бы... Она налила ему белого вина. Он посмотрел на рюмку с недоумением. Отец сидел за столом, писал, оторвавшись от работы, поглядел на возчика. Тот, выпив рюмку, опять вздохнул. Отец сказал: – Дай ты ему водки, Зинаида, он же просил.

У матери нашлось и беленькое».

6

Если в поэме «Товарищ» Есенин похоронил Христа на Марсовом поле, то сейчас, когда положение страны стало катастрофичным, Христос вновь оказался необходим ему.

На революционной земле он видел одинокого Христа, без апостолов и учеников, несущего свой крест из «прозревшей России».

*Опять его вои
Стегают плетми
И бьют головою
О выступы тьмы.*

Каждый человек, утверждал Есенин, в ответе за всё, что совершается. Предавшие Христа – предали революцию. Поэма, в которой он ждал появления на полях Руси нового бога, называлась – «Пришествие».

*Снова пришествию Его
Поднят крест.
Снова раздирается небо.*

*Тишина полей и разума
Точит копы.*

*Лестница к саду твоему
Без приступок.*

*Как взойду, как поднимусь по ней
С кровью на отцах и братьях?*

*Тянет меня земля,
Оцепили пески.
На реках твоих
Сохну...*

В газете «Новая жизнь» 18 октября Максим Горький опубликовал статью «Нельзя молчать!»:

«Всё настойчивее распространяются слухи о том, что 20 октября предстоит «выступление большевиков» – иными словами: могут быть повторены отвратительные сцены 3–5 июля. Значит – снова грузовые автомобили, тесно набитые людьми с винтовками и револьверами в дрожащих от страха руках, и эти винтовки будут стрелять в стёкла магазинов, в людей – куда попало! Будут стрелять только потому, что люди, вооружённые ими, захотят убить свой страх. Вспыхнут и начнут чадить, отравляя злобой, ненавистью, лезть, все темные инстинкты толпы, раздражённой разрухою жизни, ложью и грязью политики – люди будут убивать друг друга, не умея уничтожить своей звериной глупости...

Одним словом – повторится та кровавая, бессмысленная бойня, которую мы уже видели и которая подорвала во всей стране моральное значение революции, пошатнула её культурный смысл...

Кому и для чего нужно всё это? Центральный Комитет с.-д. большевиков, очевидно, не принимает участия в предполагаемой аванюре, ибо до сего дня он ничем не подтвердил слухов о предстоящем выступлении, хотя и не опровергает их...

Центральный Комитет большевиков обязан опровергнуть слухи о выступлении 20-го, он должен сделать это, если он действительно является сильным и свободно действующим органом, способным управлять массами, а не безвольной игрушкой настроений одичавшей толпы, не орудием в руках бесстыднейших авантюристов или обезумевших фанатиков».

7

В своём дневнике 19 октября Зинаида Гиппиус писала:

«Вот уже две недели, как большевики, отъединившись от всех других партий (их опора – тёмные стада гарнизона, матросов и всяких отшибленных людей, плюс – анархисты и погромщики просто), – держат город в трепете, обещая генеральное выступление, погром для цели: «Вся власть советам» (т. е. большевикам). Назначили самовольно съезд советов, сначала на 20-е, когда и объявили, было, знаменитое выступление, но затем отложили и то, и другое, – на 25 октября. Ленин каждодневно в «Рабочем пути» (б. «Правда»), совер-

шенно открыто, наставляет на этот погром, утверждая его, как дело решенное. Газеты спешат сообщить, что правительство «собирается» его арестовать. Вид: Керенский, во всём своём «дохлом» окружении, кричит Ленину:

– Антропка-а-а... Иди сюда-а... Тебя тятка высечь хочи-и-ить!

Оповещённый Антропка и не думает идти, хотя в отличие от Антропки тургеневского не затихает, голос подаёт всё время, и ни в какую порку не верит. И прав...

Это мы ещё сохраняли остатки наивности, веря иной раз оповещённым намерениям «власти». Стоит этой власти что-либо пропикать, как знай: именно этого не будет. Просто замнётся. С переездом правительства в Москву: уже замялось. Хотя и думаю, что Керенский, попробовав почву и видя, что ниоткуда не одобрен, решил прищипиться и удрать молчком, – ищи ветра в поле!».

Это «пророческое» стихотворение Зинаида Гиппиус написала 29 октября 1917 года:

Блевотина войны – октябрьское веселье!
От этого зловонного вина
Как было омерзительно твоё похмелье,
О бедная, о грешная страна!

Какому дьяволу, какому псу в угоду,
Каким кошмарным обуянный сном,
Народ, безумствуя, убил свою свободу,
И даже не убил – засёк кнутом?

Смеются дьяволы и псы над рабьей свалкой,
Смеются пушки, разевая рты...
И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой,
Народ, не уважающий святынь!

Рюрик Ивнев лучше, чем крестьянские поэты, понял: чьё же «времечко настало». Уже через несколько дней после октябрьских событий он устроился секретарём наркома Луначарского. Его новое стихотворение – «Смольный» было подписано: «Октябрь 1917 г. Петроград».

Довольно! Довольно! Довольно
Истошно кликушами выть!
Весь твой я, клокочущий Смольный,
С другими – постыдно мне быть.

Пусть ветер холодный и резкий
Ревёт и не хочет стихать,
Меня научил Достоевский
Россию мою понимать.

Не я ли стихами молился,
Чтоб умер жестокий палач,
И вот этот круг завершился,
Россия, Россия, не плачь!

.....

Довольно! Довольно! Довольно!
Кликушам нет места в бою.
Весь твой я, клокочущий Смольный,
Всю жизнь я тебе отдаю!

О том, как воспринимал эти события Есенин, вспоминал Лев Клейнборг: «Революция, конечно, освободила Есенина от «жанра Плевицкой», от «поэтического авантюризма». Он отходит от этой среды, сходится с Ивановым-Разумником. В чём состояла эта полоса его жизни, не берусь, конечно, писать. Что-то с год – вплоть до февральских событий – я его совсем не видел. В 1917-м же году встретил раза два-три, и то в осенние уже месяцы. И из этих встреч запомнилась мне одна, в Александровском саду. Он шёл, посвистывая, по узенькой аллейке, когда рыжеватое лицо его бросилось мне в глаза. Как будто похудел за время, что я его не видел. Но от всего его девичьего лица веяло чувством жизни.

Мы присели. Невдалеке суетились дети.

– Городские эти желторотые мальчишки, – сказал он.

А от них веяло чем-то давно забытым и в то же время таким близким. Потом расположились мы в каком-то кафе. Он был, по-видимому, на стороне переворота. Но принимал его по-своему, совершенно не разбираясь в соотношении сил его, в реальном ходе событий. Что-то блоковское было в его взглядах. Он был уверен, что больше всего выиграет от революции мужик.

– Смотрите, батенька, в ту ли дверь входите, – сказал я ему.

Но он уже рассказывал о «Скифах», с которыми сошёлся, об альманахе, который должен выйти в свет под редакцией Иванова-Разумника («Красный звон»), об успехе таких его вещей, как «Марфа Посадница», «Товарищ» и др. Действительно, «Марфа Посадница» была крупнейшим произведением, написанным на темы о войне, как «Товарищ» был революционной поэмой наибольшей внутренней силы. Всем становилось ясно, что он уже мастерски выпиливал свой узор, что он сделает много, очень много... Им уже не интересовались лишь как поэтом из народа.

– Ну, как с Клюевым? Справляли свадьбу на Покрова? – спросил я.

Какая-то тень пробежала по его лицу. Мы стали прощаться, но, уже разойдясь со мной, он вдруг обернулся, точно забыл что-то сказать:

– Ну, как Трезор? Помните...

И беспричинная грусть – грусть о прошлом – заблестела в его глазах.

Для меня было ясно: Клюев уже для него не учитель, а может быть, и не старший брат. Способность любить – то же, что талант. Оба – и Клюев, и Есенин – были рождены, чтобы светить. Едва ли, однако, и тот, и другой рождены были вместе с тем, чтобы греть».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

«ОБЛАКИ ЛАЮТ, РЕВЁТ ЗЛАТОЗУБАЯ ВЫСЬ...»

1

«Милый и дорогой Серёжа! – писал Есенину из Москвы его отец Александр Никитич. – Я пока жив и здоров, но только много приходится переживать разных неприятностей. Скорей бы уехать домой, и ещё очень болит сердце о тебе, Серёжа, как получишь это письмо, то немедленно уведоми меня о себе. Не пожалей, если можно, пришли телеграмму. Очень что-то сердце неспокойно, ещё потому, что на днях я видел во сне своего отца, который очень тобой любовался. Ради Бога, пришли ответ поскорей. Затем до свиданья. Остаюсь любящий тебя папаша

А. Есенин.

3 ноября 1917 г.».

Алексей Чапыгин, навещавший Есенина в эти дни, писал:

«В 1917 году встретились снова, он жил с чёрненькой, очень миловидной девушкой – секретаршей одной из газет революционного периода; жили они в д. 33 по Литейному. Я приходил в полдень, часто заставал С. А. в кровати, его подруга говорила мне:

– Будите! Пора – Серёжка спит.

Они жили в двух больших комнатах.

Здесь за чаем С. А. читал мне стихи...».

С ноября восстановилась и тесная дружба Сергея с Владимиром Чернявским:

«С ноября по март был я у них частым, а то и ежедневным гостем. Жили они без особенного комфорта (тогда было не до того), но со своего рода домашним укладом и не очень бедно. Сергей много печатался, и ему платили как поэту большого масштаба. И он, и Зинаида Николаевна умели быть, несмотря на начавшуюся голодовку, приветливыми хлебосолами. По всей повадке они были настоящими «молодыми». Сергею доставляло большое удовольствие повторять рассказ о своём сватовстве, связанном с поездкой на пароходе, о том, как он «окрутился» на лоне северного пейзажа. Его, тогда ещё не очень избалованного чудесами, восхищала эта непрехотливая романтика и тешило право на простые слова: «У меня есть жена». Мне впервые открылись в нём чёрточки «избяного хозяина» и главы своего очага. Как-никак тут был его первый личный дом, закладка его собственной семьи, и он, играя иногда во внешнюю нелюбовь ко всем «порядкам» и ворча на сковывающие мелочи семейных отношений, внутренне придавал укладу жизни большое значение. Если в его характере и поведении мелькали уже изломы и вспышки, предрекавшие непрочность этих устоев, – их всё-таки нельзя было считать угрожающими.

В требующей, бегучей атмосфере послеоктябрьских дней этот временный кров Сергея и его нежная дружба были притягательны своею несхожес-

тью ни с чем и ни с кем другим. В молодых литературных кругах расплылось и растерялось многое, а он, ещё сохранявший тогда первоначальную целостность, переживал революцию по преимуществу внутри себя и своей поэзии и оставался на посту поэта и созерцателя «не от мира сего». Но то, что у другого могло казаться только чахлым и пассивным эстетизмом, у него оборачивалось молодым, буйным огнём, в котором выковывалась его творческая индивидуальность. И прежде всего – он был ещё по-рязански здоров, он был «крестьянский сын» и на лире его были натянуты живые крепкие мускулы.

Бывало, заходил я к ним около полудня. Сергей нередко вставал поздно и долго мылся и тёрся полотенцем в маленькой спальне. Но иногда я с утра заставал его в большой «приёмной» комнате за столом и, не отрывая его от работы, тихонько беседовал с его женой.

Исправив строчку или найдя нужный ему образ (неизменно космический!), Сергей, нежно поприветствовав гостя – меня или другого, – начинал без разбору распоряжаться: «Почему самовар не готов?» или: «Ну, Зинаида, что ты его не кормишь?», или: «Ну, налей ему ещё!»

У небольшого обеденного стола близ печки, в которой мы трое по вечерам за тихими разговорами (чаяниями и воспоминаниями) пекли и ели с солью революционную картошку, нередко собирались за самоваром гости. Из них в то время очень желанными и «своими» были, насколько я помню, А. Чапыгин; П. Орешин и художник К. Соколов (все трое не изменили Сергею в преданной дружбе).

Чапыгин – спокойный, укладистый, уютный, с отеческим юмором, самый старший; Пётр Орешин – неразговорчивый, бледный, сумрачный, точно уязвлённый, по виду – типичный городской пролетарий; Константин Соколов – наш общий с Сергеем друг – кидаящийся, всклокоченный, в очках, очень русский художник и человек; меня за некоторые мои слабости Сергей именовал «русским Гамлетом» и находил, что у меня «пронзённый ум».

К. Соколов пытался приходиться по утрам рисовать Сергея. Но работал он кропотливо, не сразу нашёл нужную трактовку форм своей натуры, и Сергей, постоянно сбегавший от его карандаша куда-нибудь по редакционным делам, не дал ему сделать ничего, кроме нескольких набросков своей кудрявой головы.

Помнится, под праздник или после получения гонорара Сергей приносил иногда бутылку-другую вина, которое нетрудно было добыть из-под полы. Но от пьянства он был совершенно далёк и выпивал только «ради случая».

2

«...Завтра предполагается ограбление большевиками Государственного банка, – писала 6 ноября в дневнике Зинаида Гиппиус. – За отказом служащих допустить это ограбление на виду – большевики сменили полк. Ограбят завтра при помощи этой новой стражи.

Видела жену Коновалова <министра Временного правительства>, жену Третьякова. Союзные посольства дали знать в Смольный, что если будут допущены насилия над министрами, – они порывают все связи с Россией.

Что ещё они могут сделать? <...> У Х. был Горький. Он производит страшное впечатление. Тёмный весь, чёрный, «некочной». Говорит – будто глухо лает. Бедной Коноваловой при нём было очень тяжело. (Она – милая французенка, виноватая перед Горьким лишь в том развее, что её муж «буржуй и кадет».) И вообще получалась какая-то каменная атмосфера. Он от всяких хлопот за министров начисто отказывается.

– Я... органически... не могу... говорить с этими... мерзавцами. С Лениным и Троцким.

Только что упоминал о Луначарском (сотрудник «Новой жизни», а Ленин – когда-то совсем его «товарищ») – я и возражаю, что поговорите, мол, тогда с Луначарским... Ничего. Только всё о своей статье, которую уж он «написал»... для «Новой жизни»... для завтрашнего №... Да чёрт в статьяx! Х. пошёл провожать Коновалову, тяжесть сгустилась. Дима хотел уйти... Тогда уж я прямо к Горькому: никакие, говорю, статьи в «Новой жизни» не отделят вас от большевиков, «мерзавцев», по вашим словам. Вам надо уйти из этой компании. И, помимо всей «тени» в чьих-нибудь глазах, падающей от близости к большевикам, – что сам он, спрашиваю, сам-то перед собой? Что говорит его собственная совесть?

Он встал, что-то глухо пролаял:

– А если... уйти... с кем быть?

Дмитрий живо возразил:

– Если нечего есть – есть ли всё-таки человеческое мясо?»

Статья, на которую «уповал» Горький, появилась в газете «Новая жизнь» на следующий день под заголовком «К демократии»:

«Министры-социалисты, выпущенные из Петропавловской крепости Лениным и Троцким, разъехались по домам, оставив своих товарищей М.В. Бернадского, А.И. Коновалова, М.И. Терещенко и других во власти людей, не имеющих никакого представления о свободе личности, о правах человека.

Ленин и Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти, о чем свидетельствует их позорное отношение к свободе слова, личности и ко всей сумме тех прав, за торжество которых боролась демократия.

Слепые фанатики и бессовестные авантюристы сломя голову мчатся, якобы по пути «социальной революции» – на самом деле это путь к анархии, к гибели пролетариата и революции.

На этом пути Ленин и соратники его считают возможным совершать все преступления, вроде бойни под Петербургом, разгрома Москвы, уничтожения свободы слова, бессмысленных арестов – все мерзости, которые делали Плеве и Столыпин. <...>

Рабочий класс не может не понять, что Ленин на его шкуре, на его крови производит только некий опыт, стремится донести революционное настроение пролетариата до последней крайности и посмотреть – что из этого выйдет?

Рабочий класс должен знать, что чудес в действительности не бывает, что его ждёт голод, полное расстройство промышленности, разгром транс-

порта, длительная кровавая анархия, а за нею – не менее кровавая и мрачная реакция.

Вот куда ведёт пролетариат его сегодняшний вождь, и надо понять, что Ленин не всемогущий чародей, а хладнокровный фокусник, не жалеющий ни чести, ни жизни пролетариата».

Иванов-Разумник, ставший наставником Есенина в это бурное время, писал в Москву Андрею Белому:

«Посылаю Вам сегодня в этом письме поэму Есенина «Пришествие», посвящённую Вам. Как Вы думаете, если поместить её в 3-ем «Скифе»? В ней есть чудесные места, некоторые я твержу уже несколько дней. И снова Революция, как Крестный путь, как Голгофа. Конец такой чудесный:

*Пролей ведро лазури
На ветхое деньми...*

Растёт мальчик (и откуда что берётся); пройдя через большие страдания, быть может, и до Клюева дорастёт. Кое в чём он уже теперь равен ему. Следующий раз пришлю ещё одну новую поэму Есенина – «Октоих».

3

Есенину казалось, что наступила пора для его собственного вечера, и он поделился этой мыслью с Чернявским: «...С оживлением сообщил он мне о своём желании устроить, как можно скорее, самостоятельный вечер стихов. Ему хотелось действовать на свой страх и уже не ради простого концертного успеха; он верил в свою личную популярность и значительность голоса поэта Есенина в громах событий. Тем не менее организовал он своё выступление не вовремя и достаточно наивно.

Он настаивал, чтобы вступительное слово («присловье», как впоследствии по его желанию было напечатано в афише) читал я, – не присяжный критик, но зато свой человек. Напрасны были мои уверения, что это будет с моей стороны возмутительным дилетантством и что крестьянская линия в поэзии недостаточно мною осознана. Сергей и слышать ничего не хотел.

Через несколько дней я принёс ему свою работу с новым отказом её огласить. Но Сергею непритязательная статья моя очень понравилась. Кажется ему особенно по душе был анализ соприкосновения его поэзии со стихами Клюева и выводы в пользу полной самобытности Есенина. «Вот дурной! Да пойми сам, что ты лучше всех меня понимаешь». Мы вместе вышли на улицу посмотреть на только что развешенные афиши: «В среду, 22-го ноября 1917 года состоится вечер поэзии Сергея Есенина: автор прочтёт стихи из книг «Радунца» и «Голубень», поэмы «Октоих» и «Пришествие». Сергей был уже в прекрасной меховой шапке («соболий мех») и хорошей шубе, с рюмлянцем на щеках, очень крепкий и светлый, не тот, каким его знали недавно.

Правда и тогда бывали минуты, когда в глазах его появлялась грустная сосредоточенность и голос начинал звучать «тихим уходом в себя», но говорил он о будущем всегда с дерзкой, весёлой верой в свою силу и требовательно грозил в пространство кулаком, похожим на длань пророка и щенячью лапу...

Мы полюбовались на афиши и пошли бродить. Сергей говорил о революции – по-своему, сумбурными образами и метафорами, радостно и крепко «доказывая», объясняя свой уклон. И, конечно, читал новые стихи, в ритмах и символах которых я должен был уловить необъяснимое словами. В полумимней слякоти – без уличных фонарей, с редкими огнями в окнах и лужах – стоял над нами Октябрь, весёлый и мрачный, беспокойный и необыкновенный. Пели уже вокруг «чёрный вечер, белый снег...».

«В такой чёрный вечер, – рассказывал Владимир Чернявский, – отправились мы и на выступление Сергея в Тенишевское училище. Публики было очень мало, вся она сбилась в передних рядах: с десяток-другой людей от литературы и общественности, несколько друзей, несколько солдатских шинелей, да какие-то районные жильцы (иначе в те дни и быть не могло).

При скудном освещении, один на эстраде, в белой русской рубашке, Сергей был очень трогателен и хорош. Читал он с успехом, так что отсутствие публики в результате его не очень огорчило. «Радуница» действовала, как всегда, беспроигрышно, поэмы были приняты слабее. В артистическую собрались слушатели-общественники, и в отдельных кучках было настроенное диспутирующее. Доклад мой поругивали. Неизвестный молодой критик взял его в карман для ознакомления и потом так и не вернул. Сергей очень рассердился на меня и долго вспоминал об этом хищении, уверяя, что этот мазурик, наверное, будет пользоваться моим материалом».

4

«В эти месяцы, – рассказывал Чернявский, – были написаны одна за другой все его богоборческие и космические поэмы о революции. Их немного, но тогда казалось, что они заполняют всё время словесной лавиной. Идея избранничества томила его руку чудом мировых размахов, эсхатология <учение о загробной жизни> крестьянской Валгаллы, где собственный дед дожидается его «под Маврикийским дубом», где мать его прядёт лучи заката, были его единственной религией, он был весь во власти образов своей «сенинской Библии»; его пророческое животное – рязанская красная кова, именем которой он поражал салоны, – с растущим задором возводится им в символ божества. В редко роняемые им лирические стихи западает символика этих мужичьих пророчеств.

За чайным столом, едва положив перо и не трогая еды (ел он вообще мало), Сергей, страстно сосредоточенный, насупившись, читал только что написанное своим друзьям, тряс головой и бил кулаком по скатерти. В таком непрерывно созидаемом состоянии я его раньше никогда не видел. Прочитав, он, довольный собой, улыбочиво и просто спрашивал как всегда: «Ну что, нравится тебе?» Но недооценка его стихов таким критиком, как я (а может быть, и другими), его нисколько не трогала, а на мелкие стилистические и метрические поправки он ни за что не соглашался и, немного подумав, отвечал на замечание хитрой улыбкой: сам, мол, знаю, что хорошо и что худо».

О новой поэме «Преображение» Есенин говорил Петру Орешину: «...Я вот на днях написал такое стихотворение, что и сам не понимаю, что оно такое! Читал Разумнику, говорит – здорово, а я... Ну, вот хоть убей, ничего не понимаю!».

«Я думал, – вспоминал Орешин, – что Есенин опять разразится полным голосом и закинет правую руку на свою золотую макушку, как он обыкновенно делал при чтении своих стихов, но Есенин только слегка отодвинулся от меня в глубину широкого дивана и наивыразительнейше прочитал одно четверостишие почти шёпотом:

*Облаки лают,
Ревёт златозубая высь...
Пою и взываю:
Господи, отелись!*

И вдруг громко, сверкая глазами:

– Ты понимаешь: господи, отелись! Да нет, ты пойми хорошенько: го-споди, о-те-лись!.. Понял! Клюеву и даже Блоку так никогда не сказать... Ну?

Мне оставалось только согласиться, возражать было нечем».

5

«Дорогой мой Шура! – писал Есенин Александру Ширяевцу. – Прости, пожалуйста, за молчание. Всё дела житейские мучают. А как освободишься, так и липнешь к памяти о друзьях, как к мёду.

Сейчас сидит у меня П. Орешин, кланяется тебе и просит стихов для одного сборника, а главное, что я хочу сказать тебе, это то, что собери все свои стихи и пошли Разумнику. Он издаст твою книгу. Об условиях я уже сговорился, и ты получишь за 80 стр. не менее 700 рублей. Это, родной, не слова, поэтому я поторопил бы тебя.

Скоро выходит наш сборник «Поэты революции», где есть несколько и твоих стихов. Гонорар получишь по выходе.

Пиши, родной, мне, не забывай. Ведь издаека тебе очень много надо, а я кой в чём пригожусь.

Твой Сергей.

Литейный, 33, кв. II.

Стихов! Ради Бога, Разумнику стихов. Вывери «Запевку» и всё, что можешь».

Во втором сборнике «Скифы», только что вышедшем, была напечатана клюевская «Песнь Солнценосца», представленная глубоко хвалебной статьёй Иванова-Разумника – «Поэты и революция»:

«Клюев, Есенин, Орешин – поэты народные не только по духу, но и по происхождению... Лишь у них оказалась подлинность поэтических переживаний в дни великой революции. Их устами народ из глубины России откликнулся на «грохот громов». Отчего же были в эту минуту закрыты уста больших наших городских поэтов, а если и были открыты, то непереносно фальшивили? Не потому ли, что устами этими откликался не великий народ, а мелкодущный мещанин, обыватель?».

Явно выделяя в этом ряду Клюева, Иванов-Разумник писал о нём: «...подлинно первый народный поэт. <...> И если не он, то кто же мог откликнуться из глубины народа на грохот громов и войны и революции?».

Есенин же не принял «Песнь Солнценосца». Более того, разумниковская оценка углубляла его отдаление от Клюева.

Большевики заключили соглашение с левыми эсерами, и в состав Совнаркома вошли семь членов этой партии.

«Октябрьский переворот расколол партию эсеров – писал поэт и критик Вениамин Левин, – и я оказался в составе редакционной коллегии новой газеты «Знамя труда» вместе с Ивановым-Разумником, Марией Спиридоновой, Б.Д. Камковым, В. Трутовским и И.З. Штейнбергом. Вся литературная группа, лепившаяся возле Иванова-Разумника, перешла к нам, и у нас оказались такие поэты и писатели как Александр Блок, Андрей Белый, Алексей Ремизов, Николай Клюев, Сергей Есенин, Сергей Клычков, Алексей Чапыгин, Евгений Лундберг, Пётр Орешин и другие».

Есенин участвовал во многих выступлениях, организуемых левыми эсерами. Вместе с Орешиним, Чапыгиным, Чернявским и Рюриком Ивневым, выступал он: в «Яме» – Главных Вагонных Мастерских за Невской заставой; на рождественских праздниках – в клубе партии левых эсеров Рождественского района.

6

Стихи Есенина и Клюева начали появляться и в новой газете левых эсеров «Знамя труда». Здесь же печатались Орешин, Ремизов, Лундберг, Андрей Белый и сам Иванов-Разумник.

Евгений Лундберг в своих декабрьских записях отмечал:

«Познакомился у Иванова-Разумника с С. Есениным и А. Ганиным. Поэты. Оба молодые.

В Есенине – сочетание озорства с большой утончённостью. Иногда – почти декадентно. Есть строки нелепые, есть строки, приближающиеся по спокойной силе к классикам. Иванов-Разумник балует Есенина, не напортил бы.

Хорошо читает Есенин, поёт, сжав брови, опустив долу глаза. Тогда – совсем мальчик. Он – крестьянин. И поёт, как ветер, тонко, слегка однообразно, стихийно. Вкус к мифу, это сильно – в революционной поэзии; и – правильно.

Революция для молодых – другое, чем для нас. Они не видят ранящих частных и легче отдаются стихии. Встряхнут кудрями и затянут. А лысым чем встряхнуть?! Не тот подход, не та поступь».

7

«Серёжа! – писал Ширяевец Есенину. – За два дня до получения твоего письма, прочитав в газете, что в Питере вышла новая газета «Знамя труда», в которой участвуют Ремизов и Николай <Клюев>, я послал туда все песни о «Стеньке Разине». Если ты не хочешь, чтобы они там появились, если не трудно, зайди и возьми для передачи Разумнику. Сошлись на это письмо».

«Сказ», посвящённый Николаю, был когда-то помещён под другим названием. Теперь это стихотворение переделано совсем.

Здесь ни газет, ни журналов не получается, так что я в полной неизвестности, а потому не в состоянии разобраться, что делается на Руси и на чьей стороне правда. Здесь в октябре было побоище, на днях ожидается восстание мусульман. Жить в такой обстановке жутко, и я боюсь строить какие-либо планы. А самое главное то, что всё время думаешь, на чьей стороне правда и получается, что правды, видно, совсем нет на свете.

Тяжело и жутко от такой смуты!

Нельзя ли попросить Разумника, чтобы он распорядился выслать мне «Дело народа»? Выписывать – дорого, авось, найдётся лишний номерок. Попробуй. Пиши!»

О Горьком, встреченном в предреволюционном Петрограде, художник Юрий Анненков вспоминал:

«Внешне Горький сильно изменился. Он не носил теперь ни чёрной кофеворотки, ни смазных сапогов, одевался в пиджачный костюм. Длинные, спадавшие на лоб и на уши, волосы были коротко подстрижены ёжиком. Сходство Горького с русским мастеровым стало теперь разительным, если бы не его глаза, слишком пронизательные и в то же время смотрящие вглубь самого себя. На заводах и на фабриках, среди почтальонов и трамвайных кондукторов – скуластые, широконосые, с нависшими ржавыми усами и причёской ёжом двойники Горького встречались повсюду.

Октябрьская революция. Обширная квартира Горького на Кронверкском проспекте полна народом. Горький, как всегда, сохраняет внешне спокойный вид, но за улыбками и остротами, проскальзывает возбуждение. Люди вокруг него – самых разнообразных категорий: большевистские вожди, рабочие, товарищи по искусству, сомневающиеся интеллигенты, запуганные и гонимые аристократы... Горький слушает, ободряет, спорит... переходит от заседания к заседанию, ездит в Смольный.

В эту эпоху Горький сам был полон сомнений. Жестокость, сопровождавшая «бескровный» переворот, глубоко его потрясла. Бомбардировка Кремля подняла в Горьком бурю противоречивых чувств. Пробоину в куполе собора Василия Блаженного, он ощутил как рану в собственном теле. <...>

Вскоре Горький основал «Комиссию по Охране Памятников Искусства и Старины». Его заслуги в борьбе с разрушительной инерцией революции неопределимы. <...>

Комната Горького и его рабочий кабинет заставлены изваяниями Будды, китайским лаком, масками, китайской цветной скульптурой. Горький собирал их со страстью. Он берёт в руки бронзовую антилопу, любовно гладит её скользящие, тонкие ноги, щелкает пальцами по животу:

– Ловкачи, эти косоглазые! Если жёлтая опасность заключается в их искусстве, я бы раскрыл им все двери!

Любопытная подробность: в богатейшей библиотеке этого «марксиста», на полках которой теснились книги по всем отраслям человеческой

культуры, я не нашёл (а я разыскивал прилежно) ни одного тома произведений Карла Маркса.

Маркса Горький именовал «Карлушкой», а Ленина – «дворянчиком». Последнее, впрочем, соответствовало действительности».

Поэту Семёновскому Горький писал: «Дмитрий Николаевич! Если у Вас есть стихи, – пришлите для сборника, в котором, кроме Вас, будут печататься Есенин и др.

Присылайте больше.

Писать о текущих событиях – не могу. Так ужасно всё.

А. Пешков».

Сборником Горький назвал детский альманах «Радуга», который он намеревался издавать. Приглашал Брюсова, Алексея Толстого, Сашу Чёрного.

Как вспоминал Натан Венгров: Горький «...шутливо говорил Сергею Есенину:

– Напишите вы сказочку для ребят, честно прошу!

Есенин застенчиво улыбался и отказывался неумением. Не поняв основного направления собеседника, Есенин принёс Горькому стихотворение «Исус младенец». Сказочка не была принята редакцией».

Статья Иванова-Разумника «Поэты и революция» появилась в печати ещё раз в газете «Знамя труда», чем и вынудила Есенина написать ему это письмо:

«Дорогой Разумник Васильевич!

Уж очень мне понравилась, с прибавлением не, ключевская «Песнь Солнца» и хвалебные оды ей с бездарной «Красной песней».

Штемпель Ваш «первый глубинный народный поэт», который Вы приложили к Клюеву из достижений его «Песнь Солнца», обязывает меня не появляться в третьих «Скифах». Ибо то, что вы сочли с Андреем Белым за верх совершенства, я счёл только за мышинный писк».

«ДАР ПОЭТА – ЛАСКАТЬ И КАРЯБАТЬ...»

1

Наступивший 1918 год принёс Петрограду и его жителям новые испытания.

Александр Блок 3 января отмечал в своём дневнике:

«...На улицах плакаты: все на улицу 5 января (под расстрел?) – <На этот день было намечено открытие Учредительного Собрания»

К вечеру – ураган (неизменный спутник переворотов). – Весь вечер у меня Есенин».

Как прав был Блок по поводу расстрела!..

Уже 9 января Горький опубликовал в «Новой жизни» статью:

«9 ЯНВАРЯ – 5 ЯНВАРЯ

...5-го января 1918-го безоружная петербургская демократия – рабочие, служащие – мирно манифестировала в честь Учредительного Собрания.

Лучшие русские люди почти сто лет жили идеей Учредительного Собрания, – политического органа, который дал бы всей демократии русской возможность свободно выразить свою волю. В борьбе за эту идею погибли в тюрьмах, в ссылке и каторге, на виселицах и под пулями солдат тысяча интеллигентов, десятки тысяч рабочих и крестьян. На жертвенник этой священной идеи пролиты реки крови – и вот «народные комиссары» приказали расстрелять демократию, которая манифестировала в честь этой идеи. Напомню, что многие из «народных комиссаров» сами же, на протяжении всей политической деятельности своей, внушали рабочим массам необходимость борьбы за созыв Учредительного Собрания. «Правда» лжёт, когда пишет, что манифестация 5 января была организована буржуями, банкирами и т.д. и что к Таврическому дворцу шли именно «буржуи», «калединцы».

«Правда» лжёт, – она прекрасно знает, что «буржуйам» нечего радоваться по поводу открытия Учредительного Собрания, им нечего делать в среде 246 социалистов одной партии и 140 – большевиков.

«Правда» знает, что в манифестации принимали участие рабочие Обуховского, Патронного и других заводов, что под красными знамёнами Российской с.-д. партии к Таврическому дворцу шли рабочие Василеостровского, Выборгского и других районов.

Именно этих рабочих и расстреливали, и сколько бы ни лгала «Правда», она не скроет позорного факта».

2

Хотя Есенин и получал в редакциях по 50 коп. за стихотворную строчку, как самые значительные поэты – Блок, Бунин, Брюсов, Бальмонт, денег этих для семейной жизни было недостаточно.

Дочь Есенина Татьяна рассказывала о родителях:

«Спокойное счастье длилось полгода. Мелкие ссоры случались, но тихие – отец был ревнив, мать иногда на него обижалась. Один раз, не повышая голоса, договорились до того, что им пора расстаться и выбросили со второго этажа в окно («в ночь» – как у Блока) свои обручальные кольца, но тут же побежали их искать. Потом смеялись над собой.

С января мама снова стала работать. Отец не возражал, жизнь становилась голодноватой, его заработков не хватало. Поступила она машинисткой в наркомат продовольствия.

Чернявский отметил, что она была «спокойная». Верю ему, по-моему, самым естественным для неё было именно такое состояние – спокойная, такой она и должна была быть до всех потрясений и болезней».

В статье под заголовком «Несвоевременные мысли» в газете «Новая жизнь» от 17 января Горький негодовал:

«Всё, что заключает в себе жестокость или безрассудство, всегда найдёт доступ к чувствам невежды и дикаря.

Недавно матрос Железняков <начальник охраны Учредительного Собрания>, переводя свирепые речи своих вождей на простецкий язык человека

массы, сказал, что для благополучия русского народа можно убить и миллион людей.

Я не считаю это заявление хвастовством, и хотя решительно не признаю таких обстоятельств, которые смогли бы оправдать массовые убийства, но – думаю, – что миллион «свободных граждан» у нас могут убить. И больше могут. Почему не убивать?

Людей на Руси – много, убийц – тоже достаточно, и когда дело касается суда над ними – власть народных комиссаров встречает какие-то таинственные препятствия, как она, видимо, встретила их в деле по расследованию гнуснейшего убийства Шингарёва и Кокошкина. Поголовное истребление несогласномыслящих, – старый, испытанный прием внутренней политики российского правительства. От Ивана Грозного до Николая II этим простым и удобным приемом борьбы с крамолой свободно и широко пользовались все наши политические вожди – почему же Владимиру Ленину отказываться от такого упрощённого приёма?

Он и не отказывается, откровенно заявляя, что не побрезгует ничем для искоренения врагов.

Но я думаю, что в результате таких заявлений мы получим длительную и жесточайшую борьбу всей демократии и лучшей части рабочего класса против той зоологической анархии, которую так деятельно воспитывают вожди из Смольного.

Вот чем грозят России упрощённые переводы анархо-коммунистических лозунгов на язык родных осин».

3

Статья Блока «Интеллигенция и революция», опубликованная в газете «Знамя труда» 19 января, всколыхнула всю петроградскую общественность: «Россия гибнет», «России больше нет», «вечная память России», – слышу я вокруг себя.

Но передо мной – Россия: та, которую видели в устрашающих и пророческих снах наши великие писатели; тот Петербург, который видел Достоевский; та Россия, которую Гоголь назвал несущейся тройкой.

Россия – буря. Демократия приходит «опоясанная бурей», говорит Карлейль.

России суждено пережить муки, унижения, разделения; но она выйдет из этих унижений новой и – по-новому великой. <...>

Мы, русские, переживаем эпоху, имеющую не много равных себе по величию. Вспоминаются слова Тютчева:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые,
Его призвали всеблагие,
Как собеседника на пир,
Он их высоких зрелищ зритель...

Не дело художника – смотреть за тем, как исполняется задуманное, пещь о том, исполняется оно или нет. У художника – всё бытовое, житей-

ское, быстро сменяющееся – найдёт своё выражение потом, когда перегорит в жизни. Те из нас, кто уцелеет, кого не «изомнёт с налёту вихорь шумный», окажутся властителями неисчислимых духовных сокровищ. Овладеть ими, вероятно, сможет только новый гений, пушкинский Арион; он, «выброшенный волною на берег», будет петь «прежние гимны» и «ризу влажную свою» сушить «на солнце, под скалою».

Дело художника, *обязанность* художника – видеть то, *что* задумано, слушать ту музыку, которой гремит «разорванный ветром воздух». <...>

...Бороться с ужасами может лишь дух. К чему загораживать душевностью пути к духовности? Прекрасное и без того трудно.

А дух есть музыка. Демон некогда повелел Сократу слушаться духа музыки.

Всем телом, всем сердцем, всем сознанием – слушайте Революцию».

Уже 22 января Блок записал в дневнике:

«Декрет об отделении церкви от государства. <...> Звонил Есенин, рассказывал о вчерашнем «утре России» в Тенишевском зале. Гизетти и толпа кричали по адресу его, А. Белого и моему: «изменники». Не подают руки. Кадеты и Мережковские злятся на меня страшно. Статья «искренняя», но «нельзя» простить. Господа, вы никогда не знали России и никогда её не любили! Правда глаза колет».

4

«Про свою «Инонию», – рассказывал Чернявский о Есенине, – ещё никому не прочитанную и, кажется, только задуманную, он заговорил со мной однажды на улице как о некоем реально существующем граде и сам рассмеялся моему недоумению: «Это у меня будет такая поэма... Инония – иная страна».

В дни, когда он был так творчески переполнен, «пророк Есенин Сергей» с самой смелой органичностью переходил в его личное «я». Нечего и говорить, что его мистика не была окрашена нездоровой экзальтацией; но это всё-таки было бесконечно больше, чем литература; это было без оговорок – почвенно и кровно, без оглядки – мужественно и убеждённо, как все стихи Есенина. Его любимыми книгами в это время были Библия, в растрёпанном, замученном виде лежавшая на столе, и «Слово о полку Игореве». Он поновому открыл их для себя, носил их в сердце и постоянно возвращался к ним в разговорах, восторженно цитируя отдельные куски, проникновенно повторяя: «О, русская земля, ты уже за горою!».

*Не утрашуся гибели,
Ни копий, ни стрел дождей, –
Так говорит по Библии
Пророк Есенин Сергей.
Время моё приспело,
Не страшен мне лязг кнута.
Тело, Христово тело,
Выплёвываю изо рта.*

*Не хочу воспринять спасения
Через муки его и крест:
Я иное постиг учение
Прободающих вечность звезд...*

В конце января произошло неожиданное знакомство Есенина с литератором Петром Авдеевичем Кузько, ещё в 1915 году опубликовавшем статью о молодом поэте.

«После Великой Октябрьской революции, – рассказывал Кузько, – я переехал в Петроград и работал в Народном комиссариате продовольствия.

В конце января 1918 года вновь назначенный нарком продовольствия А.Д. Цюрупа поручил мне прикрепить к секретариату коллегии несколько машинисток из числа тех, которые только что были набраны для комиссариата.

Через два-три дня ко мне подошла одна из новых машинисток, молодая интересная женщина, и спросила:

– Товарищ Кузько, не писали вы когда-нибудь в газете о поэте Сергее Есенине?

Я ответил, что действительно в 1915 году я написал о Есенине статью в газете «Кубанская мысль».

Протягивая мне руку и радостно улыбаясь, она сказала:

– А я жена Есенина, Зинаида Николаевна.

В тот же вечер я уже был на квартире у Есениных, которые жили где-то неподалёку от комиссариата.

Сергей Александрович встретил меня очень приветливо.

Был он совсем молодым человеком, почти юношей. Блондинистые волосы лежали на голове небрежными кудряшками, слегка ниспадая на лоб. Он был строен и худощав.

Беседуя, мы вспомнили с ним о моей статье в «Кубанской мысли» и о его стихотворении «Плясунья». Вспомнили и о Сергее Городецком.

Беседа наша затянулась допоздна. Разговор шёл главным образом о поэзии и известных поэтах того времени».

5

В середине февраля в петроградской «Артели художников «Сегодня» вышло отдельным изданием стихотворение Есенина «Исус младенец» с иллюстрациями художницы Туровой. 125 пронумерованных экземпляров были раскрашены от руки (весь тираж составил 1000 экз.).

16 февраля Иванов-Разумник писал А. Белому из Царского Села: «И у нас здесь много людей тумана. А сколько провалилось в бездну злобствования, отчаяния, непонимания, ненависти ко всему сущему и пришедшему! Ремизов, Сологуб, Мережковские, Пришвин – все там. Но есть и другие. Постоянно приходится встречаться и чувствовать духовную связь свою с самыми разными людьми: Блок и Лундберг, Есенин и Сюннерберг, Чапыгин и (судя по стихам и письмам) Клюев – люди разных кругов, разных вер, разных верований <...>. Как радостно, что Вы, что Блок – на этой же стороне пропасти».

Татьяна Сергеевна Есенина писала о своих родителях:

«...Изменяло их время. Сначала его. Это заметил Чернявский, мой крёстный, человек одинаково доброжелательно относившийся к обоим. Приведу его слова:

«...именно в эти дни прорастала в нём <Есенине> подспудная потребность распоясать в себе, поднять, укрепить в стихиях этой культуры всё корявое, солёное, мужичье, что было в его дотоле невозмущённой крови, в его ласковой, казалось, не умеющей обидеть «ни зверя, ни человека» природе.

Этот крепкий дёготь бунтующей, неожиданно вскипающей грубости, быть может, брызнул и в личную его жизнь и резко отразился на некоторых её моментах. И причина, и оправдание этой двойственности опять-таки в том, что он и тогда – такой юный и здоровый – был до мучительности, с головы до ног, поэт, а *«дар поэта – ласкать и карябать»*.

Да, «дёготь» брызнул... – продолжала Татьяна Сергеевна. – Об этой первой настоящей ссоре мне было рассказано подробно. В комнате, где он обычно работал за обеденным столом, был полный разгром: на полу валялись раскрытые чемоданы, вещи смяты, раскиданы, повсюду листы испи-санной бумаги. Топилась печь, он сидел перед нею, на корточках, и не сразу обернулся – продолжал засовывать в топку скомканные листы. Она успела разглядеть, что он сжигает рукопись своей пьесы. Но вот он поднялся ей навстречу. Чужое лицо – такого она ещё не видела. На неё посыпались ужасные, оскорбительные слова – она не знала, что он способен их произно-сить. Она упала на пол – не в обморок, просто упала и разрыдалась. Он не подошёл. Когда поднялась, он, держа в руках какую-то коробочку, крикнул: «Подарки от любовников принимаешь?!» Швырнул коробочку на стол. Она доплелась до стола, опустила на стул и впала в оцепенение – не могла ни говорить, ни двигаться. Отправив в печку последние листы рукописи, он устроился за тем же столом и стал что-то писать. Не поднимая глаз, сказал:

– Я пишу письмо своей жене и ребёнку.

Мелькнуло – нарочно пугает. Мама не знала ещё Анны Романовны Из-рядновой, с которой он давно расстался. В Москве он познакомился с ней в типографии, где они оба работали, некоторое время состоял с нею, как тогда говорили, в «гражданском браке». Сыну Юрию было уже больше трех лет.

Наконец она пришла в себя. Больше того, она сумела забыть о себе, о своей обиде.

– Я не могла больше видеть его в таком состоянии, чувствовала, что должна его успокоить. Но как к нему подступиться?

Рассмотрела лежавшую на столе коробочку, и сразу стало ясно, откуда она взялась, он обнаружил её в одном из чемоданов, когда искал куски своей рукописи. Сказала ему тихо и осторожно:

– Серёжа, прошу тебя, взгляни внимательно на эту коробочку. Посмотри, здесь написано: Вологда. Где мы с тобой венчались? В Вологде. Где покупали обручальные кольца? В Вологде. Эта коробочка от одного из наших обручальных колец.

Они помирились в тот же вечер. Но они перешагнули какую-то грань,

и восстановить прежнюю идиллию было уже невозможно. В их бытность в Петрограде крупных ссор больше не было, но он, осерчав на что-то, уже мог её оскорбить. Быстро, однако, настал день, когда в ней вскипела её рабочая кровь. Вспылив, она вернула ему одно из нецензурных слов, которые сама же от него слышала. Он остолбенел, схватился за голову и протонал:

– Зиночка, моя тургеневская девушка! Что же я с тобой сделал!».

6

Случайная встреча Есенина с Лёней Каннегисером обрадовала обоих. Шумно вспоминали они время, проведённое вместе в Петрограде: подвал Кости Ляндау и гостеприимную петербургскую квартиру Каннегисеров, поездку в Константиново и вечер с Мариной Цветаевой... Читали друг другу стихи...

Они не знали... что эта их встреча – последняя... И что «Снежная церковь» – последние стихи, прочитанные Лёней Сергею.

Всего через полгода, 30 августа, когда Есенин уже будет жить в Москве, Леонид Каннегисер, потрясённый гибелью своего друга, выстрелом из револьвера убьёт председателя Петроградской ЧК М.С. Урицкого.

Марк Алданов приводит текст официального документа:

«При допросе Леонид Каннегисер заявил, что он убил Урицкого не по постановлению партии или какой-либо организации, а по собственному побуждению, желая отомстить за аресты офицеров и за расстрел своего друга Перельцвейга, с которым он был знаком около 10 лет. Из опроса арестованных и свидетелей по этому делу выяснилось, что расстрел Перельцвейга сильно подействовал на Леонида Каннегисера. После опубликования этого расстрела он уехал из дому на несколько дней – место его пребывания за эти дни установить не удалось».

«Я склонен думать, – пишет Марк Алданов, – что показания Леонида Каннегисера на допросе соответствуют правде. Убийство Урицкого было его единоличным делом. <...>

Психологическая же основа была, конечно, очень сложная. Думаю что состояла она из самых лучших, самых возвышенных чувств. Многое туда входило: и горячая любовь к России, заполняющая его дневники, и ненависть к её поработителям, и чувство еврея, желавшего перед русским народом, перед историей противопоставить своё имя именам Урицких и Зиновьевых, и дух самопожертвования – всё то же «на войне ведь не был» и жажда острых мучительных ощущений – он был рождён, чтобы стать героем Достоевского; и всего больше, думаю, жажда «всеочищающего огня страдания» – нет, не выдуманно поэтами чувство, которое прикрывает эта звонкая риторическая фигура».

«Уже здесь, в Париже, – вспоминал Георгий Иванов, – я видел последнюю фотографию Каннегисера, снятую за два или три дня до казни.

Когда родных Каннегисера выпустили, спустя несколько месяцев, из тюрьмы, даже мебель из их квартиры оказалась наполовину вывезенной. От бумаг, писем, фотографий, разумеется, ничего – если уж и рояль взяли

в качестве «вещественного доказательства». И, вернувшись, после долгих месяцев, из тюрьмы, родители Каннегисера не нашли ни одного портрета своего казнённого сына.

«Всё уничтожено», – ответили в Че-ка на просьбу вернуть хоть одну фотографию. В кабинете следователя было несколько человек. Когда отец Каннегисера был уже на улице, его окликнули. Чекист в кожаной куртке, один из бывших в кабинете. Он протягивал фотографии.

– Вот. Нам всем раздавали. Возьмите.

И, помолчав, прибавил:

– Ваш сын умер, как герой...

Два маленьких бледных отпечатка, такие, как делают для паспортов.

Особенно страшен один, в профиль. Это – Каннегисер? Тот, которого мы знали, красивый, весёлый, гордый мальчик?

Да, Каннегисер. Только ни его красоты, ни молодости, ни веселья, ни стихов, – уже нет. Осталось на этом лице только одно – гордость.

Губы крепко сжаты. Глаза смотрят спокойно и холодно. Волосы гладко причесаны и щёки выбриты. Но есть в этом лице что-то такое, от чего вздрогнет всякий, взглянувший на этот портрет, даже не зная, чей он, откуда он...

Каннегисера держали в Кронштадтской тюрьме. На допросы в Петербург его возили по морю в катере. И вот рассказ одного из возивших матросов. В середине пути разыгралась буря, и катер начало заливать. Каннегисер сказал:

– Если мы потонем, я один буду смеяться.

В том, что эти слова подлинны, не усомнится никто из знавших Каннегисера. Весь он в этой фразе. Он бы и рассмеялся наверное, если бы катер перевернуло. А везли его из тюрьмы в застенки. Позади – долгие недели в ожидании казни. Впереди – никакого просвета, никакой надежды...

Балтийское море дымилось,

И словно рвалось в закат.

Балтийское солнце садилось

За синий и дальний Кронштадт...».

«ОТЧЕЕ СЛОВО»

1

20 февраля (уже по принятому новому стилю) А. Блок записал:

«Совет Народных Комиссаров согласен подписать мир. Левые с.-р. уйдут из Совета. – В «Знамени труда» – мои «Скифы» со статьёй Иванова-Разумника. – В «Наш путь» <новый журнал левых эсеров> – Р.В. Иванов, Лундберг, Есенин. <...> – Вечер в столовой Технологического института: 9 ½ – 12 час. (меня выпили). Есенин, Ганин... барышни, моя Люба».

О вечере Блока вспоминал Пётр Кузько:

«В конце февраля 1918 года мы были с Есениным на вечере в зале Технологического института, на котором выступал А.А. Блок.

Блок был восторженно встречен многочисленной аудиторией. Он читал

любимые публикой – «Незнакомку», «На железной дороге», «Прошли года», «Соловьиный сад», «В ресторане».

Во время чтения Блок стоял, слегка прислонившись к колонне, с высоко поднятой головой, в военном френче.

Читал он спокойным голосом, выразительно, без всяких выкриков отдельных слов. Он был бледен и, по-видимому, утомлён. Сидевший рядом со мной в одном из первых рядов Есенин любовно поглядывал на Блока, иногда пытливо посматривал и на меня, желая узнать моё впечатление. Один раз он не выдержал и шепнул мне на ухо:

– Хорош Блок!..

По окончании концерта мы все вышли на улицу. Блока сопровождала большая толпа почитателей его таланта. Мы с Есениным, держась вместе, не упускали Блока из виду и понемногу к нему проталкивались. Когда мы остались втроём, Есенин познакомил меня с Александром Александровичем. Мы пошли провожать его домой».

21 февраля 1918 г. было опубликовано написанное В.И. Лениным обращение Совнаркома «Социалистическое отечество в опасности».

В этот же день А. Блок записал в дневнике:

«Немцы продолжают идти.

Барышня за стеной поёт. Сволочь подпевает ей (мой родственник). Это – слабая тень, последний отголосок ликования буржуазии.

Если так много ужасного сделал в жизни, надо хоть умереть честно и достойно.

15000 с красными знамёнами навстречу немцам под расстрел.

Ящики с бомбами и винтовками.

Есенин записался в боевую дружину...»

23 февраля Красная Гвардия остановила и разгромила немецкие войска на подступах к Петрограду – под Нарвой и Псковом.

25 февраля Блок записывает:

«Рабочих сзывал ночью Ленин. Немцы взяли Псков и в 8-часах от Петербурга. Мира, повидимому, не принимают».

Именно в эти дни, 25 февраля, в левозсеровском издательстве «Революционная мысль» был выпущен сборник стихов крестьянских поэтов «Красный звон». Есенин, Клюев, Орешин и Ширяевец впервые вышли под одной обложкой, совместно и самостоятельно. Сборник открывала вступительная статья Иванова-Разумника. Далее следовали: Николай Клюев. Красные песни: Стихи. Сергей Есенин. Стихослов: Поэмы. П. Орешин. Алый храм: Стихи. А. Ширяевец. Зори-Заряницы: Стихотворения.

2

3 марта газета «Знамя труда» напечатала рецензию Зинаиды Бухаровой на сборник «Красный звон»:

«...только что вышедший «Красный звон» отмечен особым, счастливым

знаком. Появление его значительно и радостно прежде всего уже потому, что на страницах его, впервые за всю нашу историческую жизнь, – раздаётся подлинно свободный, не ограниченный никакими цепями и преградами, голос крестьянина. И звучит в чарующих своей свежестью, правдой и простотой формах народной песни.

Другая ценность сборника – в чутком выборе авторов, заполнивших небольшую книгу. Их всего четыре. Художественно и творчески они разные, но вместе с тем внутренне едины. Едины в живой непосредственной искренности своих революционных чаяний и утверждений, в сиянии своей любви, в пламени своей ненависти.

И от этой подлинности их мироощущения, так глубоко и тонко отмеченной в предисловии – «Красный звон» тёплыми, бодрыми, праздничными звуками отдаётся в каждом чистом, бескорыстно преданном революции, сердце. Сборник открывается двумя «красными песнями» Николая Клюева. <...>

За Клюевым – «Стихослов» Сергея Есенина. Талант юного рязанского Леля, милого жаворонка родных полей, развился и вырос на наших глазах. Ещё совсем недавно, года два тому назад, рядом с мудрым, прозорливым Клюевым выступал он со своими благоуханными, звонкими песнями, изумляя их музыкальной непосредственностью городское обывательское ухо. Его слушали, как слушают весенний ручеёк, шелест берёзы, переключку косарей... Слушали и нежно вспоминали что-то бесконечно дорогое, смутное, заглушённое пустыми и праздными тревогами довлеющего дня.

В этом же номере газеты была напечатана знаменитая поэма «Двенадцать», окончательно отколовшая Блока от прежнего литературного лагеря.

Горячо и возбуждённо вспоминала об этом Зинаида Гиппиус, многие годы дружившая с Блоком:

«Прошла зима, страшнее и позорнее которой ранее никогда не было. Да, вот это забывают обыкновенно, а это надо помнить: большевики – позор России, не смываемое с неё никогда пятно, даже страданиями и кровью её праведников не смываемое.

...Но и такой, моя Россия,

Ты всех краёв дороже мне!

К счастью, Блок написал эти строчки задолго до большевизма, и «такая» – не значит (в этом стихотворении) «большевистская». Однако – чем утешаться? Сомнений не было: Блок с ними. С ними же явно был и Андрей Белый. Оба писали и работали в «Скифах» – издательстве этого переметчика – не то левого эсера, не то уж партийного большевика – Ив. Разумника...

...где только не болтались тряпки с надписью:

Мы на горе всем буржуям

Мировой пожар раздуем.

Видали мы и более смелые плакаты, из тех же «Двенадцати»:

...Эй, не трусь!

Пальнём-ка пулей в святую Русь! –

и ещё что-то вроде».

Интересно отметить, что после публикации «Двенадцати» в газете «Знамя труда» А.А. Блок вносит поправку в текст поэмы (в строке «Над старой башней тишина» слово «старой» заменено на «невской»), как он сам помечает на полях: «По совету С. Есенина».

На сборнике «Красный звон» Есенин написал Чернявскому:
«Милому Володеньке За любовь и дружбу

Любящий Сергей 1918. 7 марта».

«С наступлением революции, – вспоминал Чернявский о Есенине, – он уже по свободному почину, крупными шагами шёл навстречу большой интеллектуальной культуре, искал приобщающих к ней людей (тяга к Андрею Белому, Иванову-Разумнику, чтение, правда, очень беспорядочное, поиски теоретических основ, авторство некоторых рецензий и пр.). <...>

С Блоком в то время было у него внутреннее расхождение... В холоде, который он почувствовал к Блоку и в Блоке, замешалась, думается мне, прямая ревность к праву на голос «первого русского поэта» в период Октября, а в скифской пляеде таковым был именно Блок. Ни «Скифы», ни «Двенадцать», казалось, не тронули Сергея.

С большим уважением и любовью относился Сергей к Иванову-Разумнику, с которым неизменно встречался по делам практическим и душевным. «Иду к Разумнику, покажу Разумнику, Разумнику понравилось», – слышалось постоянно. Статьи Иванова-Разумника, принимавшего Есенина целиком, как большого поэта революции, совершенно удовлетворяли и поддерживали Сергея. Такой «отеческой щедрости» он, наверное, ни позже, ни раньше не находил ни у кого из авторитетных критиков.

...Не считаю себя вправе говорить сейчас и судить вообще о тогдашней интимной жизни Сергея. Но повторяю, что вся эта эпоха запомнилась мне как ещё очень здоровая и сравнительно счастливая. Ни о каком глубоком разочаровании и надрыве не могло быть и речи. Только изредка вспыхивали при мне в Сергее беспокойная тоска и внезапное сомнение в своей мирной удовлетворенности. Чаще всего эти маленькие срывы, эти острые углы пробивались в наших разговорах на улице, когда мы провожали куда-нибудь друг друга. Но перелом в жизни Сергея произошёл не на моих глазах: им начался предстоящий ему бурный московский период».

3

«В марте 1918 года, – вспоминал Рюрик Ивнев, – Совет Народных Комиссаров вынес решение о переезде правительства в Москву, которая была объявлена столицей Советского государства.

А. В. Луначарский по-прежнему оставался наркомом по просвещению, но не покидал Петрограда. Для связи с наркоматом Анатолий Васильевич назначил меня своим секретарём-корреспондентом в Москве, куда я и выехал 7 марта. Одновременно редакция газеты «Известия», в которой я сотрудничал, поручила мне быть её корреспондентом в Москве».

Переезжали в Москву и наркоматы.

Вместе с секретариатом Наркомпрода выехала в Москву и Зинаида Николаевна Есенина, а Сергей Александрович задержался в Петрограде на несколько дней.

В Москве служащие Наркомпрода разместились в нескольких гостиницах на Тверской улице...»

Есенина дела пока не отпускали, но всё же ему удалось на несколько дней съездить в Москву. Удалось даже побывать в Константинове. Об этом – моментальная зарисовка его закадычного друга детских и школьных лет, троюродного брата Николки Титова:

«Встреча, 5 минут. Несколько фраз. Я шёл в село Федякино на митинг по реорганизации Кузьминской волости. Навстречу Сергей с Митькой-Курлькой (дружком-односельчанином). Серый костюм и соломенная шляпа. – Ну его! (митинг), и предложил пойти выпить. Я отказался».

В газете «Новая жизнь» Горький продолжал свою борьбу с жестокостью и грубостью новой власти:

«Среди распоряжений и действий правительства, оглашённых на днях в некоторых газетах, я с величайшим изумлением прочитал громогласное заявление «Особого Собрания Моряков Красного Флота Республики» – в этом заявлении моряки оповещают:

«Мы, моряки, решили: если убийства наших лучших товарищей будут впредь продолжаться, то мы выступим с оружием в руках и за каждого нашего убитого товарища будем отвечать смертью сотен и тысяч богачей, которые живут в светлых и роскошных дворцах, организовывая контрреволюционные банды против трудящихся масс, против тех рабочих, солдат, крестьян, которые в октябре вынесли на своих плечах революцию».

Это что же – крик возмущённой справедливости?

Но тогда я, как всякий другой гражданин нашей республики, имею право спросить граждан моряков:

Какие у них данные утверждать, что Мясников и Забелло погибли от «предательской руки тиранов»? И – если таковые данные имеются – почему они не опубликованы?

Почему правительство нашло нужным включить в число своих «действий и распоряжений» грозный рёв «красы и гордости» русской революции?»

4

Роман Андрея Белого «Котик Летаев» появился в сборниках «Скифы» в 1917 году. Свою статью «Отчее слово» (По поводу романа...) Есенин опубликовал в газете «Знамя труда» 5 апреля. В ней он не столько анализировал само произведение, сколько излагал собственные мысли о жизни слова и образа в поэтической речи: «...В «Котике Летаеве» – гениальнейшем произведении нашего времени – он <Белый> зачерпнул словом то самое, о чём мы мыслили только тенями мыслей, наяву выдернул хвост у приснившегося ему во сне голубя и ясно вырисовал скрытые в нас возможности отделяться душой от тела, как от чешуи.

Речь наша есть тот песок, в котором затерялась маленькая жемчужина – «отворись». Мы бьёмся в ней, как рыбы в воде, стараясь укусить упавший на поверхность льда месяц, но просасываем этот лёд и видим, что на нём ничего нет, а то жёлтое, что казалось так близко, взметнулось ещё выше. И вот многое такое, что манит нас так, схвачено зубами Белого за самую пуповину... Истинный художник не отобразитель и не проповедник каких-либо определённых в нас чувств, он есть тот ловец, о котором так хорошо сказал Клюев:

В затонах тишины созвучьям ставит сеть.

Слово изначально было тем ковшом, которым из ничего черпают живую воду. Возглас: «Да будет!» повесил на этой воде небо и землю, и мы, созданные по подобию, рождённые, чтобы найти ту дверь, откуда звенит труба, предопределены, чтобы выловить её «отворись». «Прекрасное только то – чего нет», – говорит Руссо, но это ещё не значит, что оно не существует».

Григорий Зиновьев, возглавлявший Петроградскую Коммуну, резко враждебно относился к Максиму Горькому. 9 апреля Горький писал в «Новой жизни»:

«Г. Зиновьев сделал мне «вызов» на словесный и публичный поединок. Не могу удовлетворить желание г. Зиновьева, – я не оратор, не люблю публичных выступлений, недостаточно ловок для того, чтобы состязаться в красноречии с профессиональными демагогами.

Да и зачем необходим этот поединок? Я – пишу, всякий грамотный человек имеет возможность читать мои статьи, так же как имеет право не понимать их или делать вид, будто не понимает.

Г. Зиновьев утверждает, что, осуждая творимые народом факты жестокости, грубости и т. п., я тем самым «чешу пятки буржуазии».

Выходка грубая, не умная, но – ничего иного от г.г. Зиновьевых и нельзя ждать. Однако он напрасно умолчал пред лицом рабочих, что, осуждая некоторые их действия, я постоянно говорю – что:

рабочих развращают демагоги, подобные Зиновьеву;

что бесшабашная демагогия большевизма, возбуждая тёмные инстинкты масс, ставит рабочую интеллигенцию в трагическое положение чужих людей в родной среде;

и что советская политика – предательская политика по отношению к рабочему классу.

Вот о чём должен бы рассказать г. Зиновьев рабочим».

Остаётся лишь добавить, что газета «Новая жизнь», обязанная своим появлением Февральской революции, соредактором которой был Горький, будет закрыта правительством большевиков уже в июне 1918 г.

5

«Брестский мир» Германия ратифицировала 17 марта, а уже в конце месяца немцы заняли Полтаву, затем Харьков, 18 апреля взяли Перекоп и

вторглись в Крым. 5 апреля высадила десант во Владивостоке Япония, английская интервенция угрожала Мурманску и Архангельску.

О Петрограде этих дней запись Блока от 21 апреля:

«Набережная Невы запружена людьми, а Нева загромождена военными кораблями, начиная с дредноутов, кончая миноносцами и подводными лодками. Посередине стоит яхта «Штандарт» <бывшая яхта Николая II>. Магазины ломаются от провизии и цветов, недоступных по цене».

Дни Есенина, оставшиеся до переезда в Москву, были заполнены издательскими делами: в Петрограде в следующем месяце выходил его второй после «Радуницы» сборник стихов «Голубень». Написал он и о первой книге Орешина «Зарево», сдав свой отзыв в журнал «Наш путь»:

«Кто любит родину?

Ветер-бродяга ответил Господу:

– Кто плачет осенью

Над нивой скошенной и снова радостно

Под вешним солнцем

В поле босой и без шапки

Идёт за сохой –

Он, Господи, больше всех любит родину.

Вот такими простыми и тёплыми словами, похожая на сельское озеро, где отражается и месяц, и церковь, и хаты, наполнена книга Петра Орешина. В наши дни, когда «Бог смешал все языки», когда все вчерашние патриоты готовы отречься и проклясть всё то, что искони составляло «родину», книга эта как-то особенно становится радостной».

Георгий Иванов довольно верно отобразил в своих воспоминаниях вехи литературного и жизненного пути Есенина в эпоху революций:

«...Сразу же после октябрьского переворота Есенин оказался не в партии, – членом ВКП он никогда так и не стал, – но в непосредственной близости к «советским верхам». Ничего странного в этом не было. Было бы, напротив, удивительно, если бы этого не случилось.

Представить себе Есенина у Деникина, Колчака или тем более в эмиграции психологически невозможно. От происхождения до душевного склада – всё располагало его отвернуться от «керенской России» и не за страх, а за совесть поддержать «рабоче-крестьянскую».

Прежде всего для Есенина сближение с большевиками не имело неизбежного для любого русского интеллигента зловещего оттенка измены. Наоборот, по его тогдашним понятиям, это Временное правительство изменило царю и народу, а Ленин, отняв у Керенского власть, выполнил народную волю. Так, по-мужицки интуитивно рассуждал он сам. Так думали и его тогдашние друзья: Клюев, Пимен Карпов, Клычков.

Напротив, кадетско-эсеровские круги, в которых Есенин вращался до революции, ставшие «февральской властью», были ему органически чужды. Там его в своё время любили и баловали, а он позволял себя баловать

и любить. Этим и исчерпывались отношения. Уже случай с императрицей вскрыл глубину взаимного непонимания между Есениным и его интеллигентными покровителями. Для Ленина и К^о «ужасный поступок» Есенина был просто «забавным пустяком». Ну, пробрался парень с заднего крыльца к царице в расчёте поживиться! Экая, подумаешь, важность! Раз теперь он с нами, да к тому же, как человек талантливый, нам нужен, и дело с концом. Ты за кого? За нас или против? Если «против» – к стенке. Если «за», иди к нам и работай. – Эти слова Ленина, сказанные ещё в 1905 году, оставались в 1918 в полной силе. Есенин был «за». И ценность этого «за» вдобавок увеличивалась его искренностью.

Да, искренностью. Среди примкнувших к большевикам интеллигентов большинство были проходимцами и авантюристами. Есенин примкнул к ним, так сказать, «идейно». Он не был проходимцем и не продавал себя. В Смольный его привели те же надежды, с которыми полтора года тому назад он входил в царскосельский дворец. От Ленина он, вероятно, ждал приблизительно того же, что и от царицы. Ждал осуществления мечты, истинно русской, проросшей сквозь века в народную душу, мечты о справедливом, идеальном, святом мужицком царстве, осуществиться которому не дают «господа».

Клюев, повлиявший на Есенина больше, чем кто-нибудь другой, называл эту мечту то «Новым Градом», то «Лесной Правдой». Есенин назвал её «Инонией». Поэма под таким названием, написанная в 1918 году, – ключ к пониманию Есенина эпохи «военного коммунизма». Как стихи – это, вероятно, самое совершенное, что он создал за всю свою жизнь. Как документ – яркое свидетельство искренности его безбожных и революционных увлечений...».

Есенин возвращался в Москву. Его трёхлетний «роман» с Петроградом подошёл к концу. Но город этот ещё не однажды напомним ему о себе, а через семь лет призовет в последний раз... уже навсегда...

Содержание

Часть первая. С лёгкой блоковской руки

ГЛАВА ПЕРВАЯ	
Встречи	4
Смотрины	17
Признание	31
ГЛАВА ВТОРАЯ	
В Константинове	41
«Я странник улогой...»	49
«Приезжай немедля...»	58

Часть вторая. «Чую радуницу божью...»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ	
Николай Клюев	65
Общество «Страда»	78
Народные поэты	88
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ	
В Москве	100
«Радуница»	108
«Дружище Миша...»	119

Часть третья. На службе царской

ГЛАВА ПЯТАЯ	
Военно-санитарный поезд	127
«Приветствует мой стих молодых царевен...»	137
Фёдоровский городок	146
ГЛАВА ШЕСТАЯ	
«Аромат храмины государевой...»	155
Императорские часы	161
Рядовой санитарной роты	170

Часть четвёртая. Вихри революций

ГЛАВА СЕДЬМАЯ	
«В мужичьих яслях родилось пламя...»	185
«Здравствуй, обновлённый отчарь мой, мужик!»	195
«Я, брат, жену люблю!»	205
ГЛАВА ВОСЬМАЯ	
«Облаки лают, ревёт златозубая вьсь...»	217
«Дар поэта – ласкать и карябать...»	225
«Отчее слово»	232

Вадим Сергеевич Баранов
СЕРГЕЙ ЕСЕНИН. РОМАН С ПЕТРОГРАДОМ

Роман-хроника в документах и воспоминаниях

Самарская областная писательская организация
искренне благодарит за поддержку и помощь
в реализации проекта
«Народная библиотека Самарской губернии»
Ольгу Васильевну Рыбакову,
Лидию Алексеевну Анохину

Книга издана за счёт средств бюджета Самарской области

Руководитель проекта
«Народная библиотека Самарской губернии»
Александр Громов

Издание подготовлено издательством
«Русское эхо»
Самарской областной писательской организации
Адрес: 443001, г. Самара, ул. Самарская, 179,
телефон (846) 333-48-01

Подписано в печать 14.07.20079 Формат издания 60x90/₁₆.
Объём 15 печ.л. Гарнитура Times New Roman. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Тираж 500 экз.

Отпечатано в типографии Издательства ООО «Книга»
г. Самара, ул. Песчаная, 1, офис 404, телефон (846) 267-36-82